

ЮРИЙ ШТЕРН

ВЕСЫ

СОЛНЦЕ КОСНУЛОСЬ...

*ПИСЬМА,
ДНЕВНИКИ,
ПРЕССА*

«Деловой мир 2000»

Москва 2015

ББК 63.3 (2) 7

Ш 90

- Ш 90 Штерн Ю.В. Составитель Инна Фликер.
«Весы, Солнце коснулось..., Письма, дневники, пресса». –
Москва: «Деловой мир 2000», 2015. —
304 с.; 8 с. ил.

Фотографии из архива автора
На первой стр. обложки «Такая весна»
На посл. стр. обложки «Так начинается дорога к Богу»

© Штерн Ю.В., 2015

© Составитель Фликер И.М., 2015

ISBN 978-5-900939-55-3

Формат 60x90/16. Бумага офсетная №1 80 г/м².

Подписано в печать 20.08.2015

Печ. л. 19. Тираж — 50 экз. Заказ № 657

Отпечатано в «ООО Палея-принт».

*И море, и Гомер –
Все движется любовью.*

О. Мандельштам



**И это тоже по дороге к Господу.
– Сокрушить или обойти?
– Лучше обойти!**



Вместо предисловия

Дорогой Юрий Викторович!

Как мне стало известно, Вы собираетесь писать роман об учреждении в одном городе правил пользования абстрактным искусством. Должно быть, Вы не в курсе событий, происходящих в нашем всеми уважаемом Городе. Считаю своим долгом предостеречь Вас о возможных последствиях столь неосторожного шага и тщательно взвесить все, перед тем как вы приметесь за дело. Да не укроется от Вашего ищущего острого взгляда разительное чудо перемен, посетивших город и, несомненно, ниспосланное свыше.

Хочу еще раз напомнить Вам, что абстрактное искусство в сути своей является чуждым нашему духу и определенно отдает совершенно иным по происхождению и по букету. Корень этого вредного и опаснейшего начала всех начал, несомненно, зиждется малой и неприметной частичкой в каждом из нас и подлежит самому серьезному и продуманному искоренению.

С глубоким уважением
Искренне Ваш

Юрий Штерн
1963 год

* Фрагменты романа «Весы» опубликованы в книге Юрия Штерна «Сквозь юни».

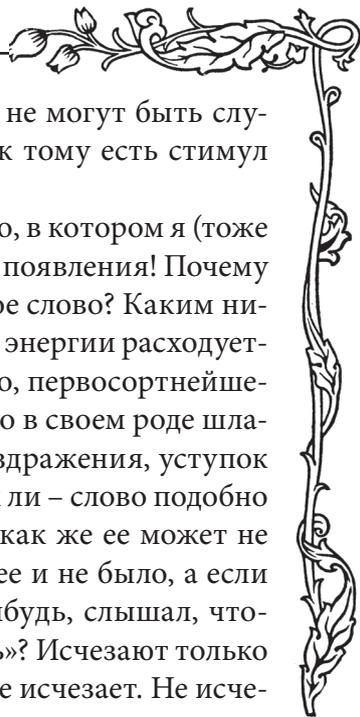
*Да, я сумею ее принять такую,
какая она есть. Не сумею – умру.
Но не склонюсь перед правдою,
которая только потому правда,
что жить с ней легко и радостно.*

В. Вересаев



И сами эти слова покажутся нелепостью, что нет никакого будущего и что страх перед ним (или теперь уже – исчезновение страха?) является основным движущим мотивом. Потому что будущее – и совсем не будущее, а прошлое. И это прошлое во много раз реальнее какой-то абстрактной субстанции, которую мы, не подумав, называем «будущим». Его нет. Есть только сия секунда и прошлое. Именно его звучание – основной движущий мотив для любого сколько-нибудь думающего индивида (иначе просто не может быть, иначе человек должен был бы появляться на свет стариком и жить, приближаясь к младенчеству). Будущего нет. Оно т о л ь к о будет, а что будет – то никому не известно. И что человек в состоянии прогнозировать отдельные элементы этого будущего, равным счетом ничего не доказывает. Во всяком случае, так не без оснований считали апостолы самых различных, даже враждебных религий.

И еще: раз уж прошлое существует (умышленно не говорю, существовало), раз уж эти слова (или не эти, а другие) были сказаны, раз уж они сотрясли однажды воздух, то не избавиться ни тебе, ни мне от страшной силы их смысла. И даже слова, написанные в эту минуту (они рождаются с ужасным напряжением и потому создают

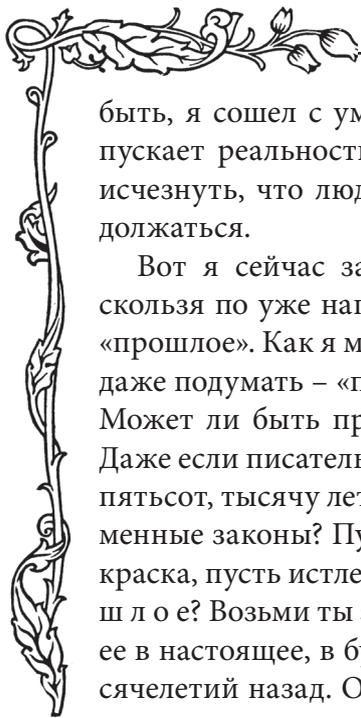


впечатление особой значительности), не могут быть случайными и, буде я пишу их, значит, к тому есть стимул недвусмысленного свойства

Но как немощно и невесомо слово, в котором я (тоже немощный) могу запутаться после его появления! Почему же мощный стимул рождает немощное слово? Каким ничтожным должен быть КПД и сколько энергии расходуется на изготовление превосходнейшего, первосортнейшего, великолепнейшего и единственного в своем роде шлака – ревности, мелочной досады и раздражения, уступок своему драгоценнейшему ЭГО? Не так ли – слово подобно любви? И если она была в прошлом, как же ее может не быть в настоящем? Ведь если так, то ее и не было, а если была, то и есть. В самом деле, кто-нибудь, слышал, чтобы мираж был назван словом «любовь»? Исчезают только миражи. Слово не исчезает. Любовь не исчезает. Не исчезает рука. И это справедливо, потому что сила – антипод ума и гуманности. Сила – венец и опьянение. Она – точка и цель, за которой ничего нет. Сила – это глупость. Сила реакционна. Немощь – источник прогресса, потому что она есть неполноценность и потому повод для размышлений и поисков выхода. Слово и любовь – не одно ли и то же? Ибо оба – поиск выхода. И если они – настоящий поиск, то должны в зародыше убивать заключенные в них частички цели. Если цель достигается, они теряют свою магическую силу (немощь!) и исчезают. Превращаются в мираж. А мираж никто уже любовью не назовет.

И раз эта (не та, а именно эта, конкретная) любовь сотрясла однажды воздух, а вместе с ним мир, доказав, что сотрясение воздуха – не только физическое явление, то куда же могло исчезнуть гулкое ее эхо?

Да не во сне ли я? Я скорее готов допустить, что у меня обман зрения и слуха, что я вовсе ослеп и оглох! Может



быть, я сошел с ума? Мысль моя так тверда, что не допускает реальности происходящего. Что любовь может исчезнуть, что люди могут расставаться, а любовь продолжаться.

Вот я сейчас задумался, и рассеянный мой взгляд, скользя по уже написанному тексту, наткнулся на слово «прошлое». Как я мог с такой уверенностью написать или даже подумать – «прошлое!»? Разве оно – п р о ш л о е?! Может ли быть прошлым написанная книга? Картина? Даже если писатель и художник создавали свои творения пятьсот, тысячу лет тому назад? Разве тут действуют временные законы? Пусть с картины наполовину осыпалась краска, пусть истлели страницы книги, разве это – п р о ш л о е? Возьми ты эту песчинку, эту молекулу, перемести ее в настоящее, в будущее, отбрось еще на несколько тысячелетий назад. От этого ее реальность не уменьшится, существование не прекратится. Создание рук человеческих не исчезает вместе с человеком (как это банально!). Солнце не перестает светить, если ты крикнешь ему: «Погагни, мерзкое светило!»

Стоп. Что-то знакомое.

– ...Если ты раз проявил любовь, тебе придется отвечать за это.

– Как это?

– Тебе придется проявить ее еще раз.

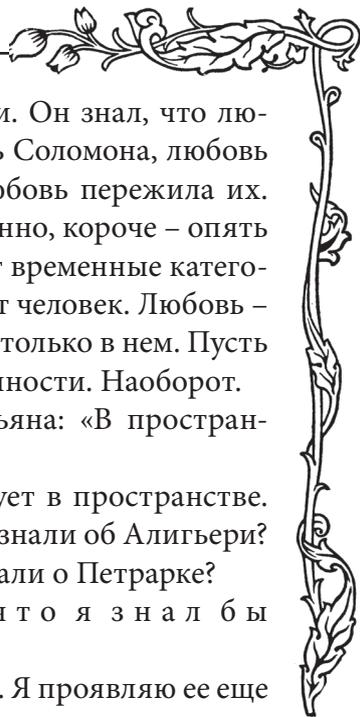
– А если я разлюбил?

– То ты предал.

– Почему же?

– А зачем ты любил до этого?

Если ты раз проявил любовь, тебе придется отвечать за это.



Дуновение ветерка, дыхание магии. Он знал, что любовь – из категорий вечности: любовь Соломона, любовь Христа, любовь Петрарки, Данте. Любовь пережила их. Земная жизнь короче любви. Собственно, короче – опять бессмыслица. Короче – характеризует временные категории. Как и длиннее. Во времени живет человек. Любовь – вне времени. Она – в пространстве. И только в нем. Пусть только это не создает иллюзию статичности. Наоборот.

Вспомни призыв Мартироса Сарьяна: «В пространство!»

«Божественная комедия» существует в пространстве. Если бы не было Беатриче, что бы мы знали об Алигьери? Если бы не было Лауры, что бы мы знали о Петрарке?

Если бы не было тебя, что я знал бы о себе?

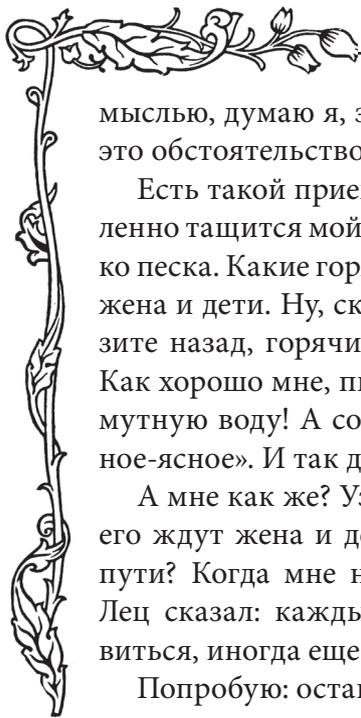
Я проявил любовь. И вот я в ответе. Я проявляю ее еще раз.

Я пишу. Для любви. Не для себя и не для тебя. Для любви.

Писать. Писать. Писать.

Потребность писать заложена во мне от рождения. Другой вопрос, делаю ли я это хорошо... Иногда мне кажется, что очень хорошо. Ну просто замечательно. Лев Толстой, да и только. С поправкой на время. На масштаб. На гениальность. На отсутствие издательств, согласившихся печатать меня.

Правда, время от времени у меня закрадывается подозрение, что в писании меня увлекает сам процесс. Какое я получаю удовлетворение от состояния внутренней озаренности, когда приходит новая мысль! То есть мысль вообще не новая (все уже когда-то кем-то сказано), но мне кажется, что новая, и это меня утешает. Раз я озарюсь



мыслью, думаю я, значит, я тоже чего-то стою. И именно это обстоятельство лежит в основе графоманства.

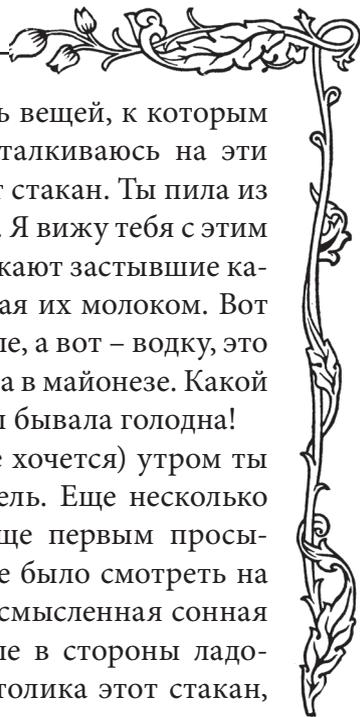
Есть такой прием: узбек едет на арбе и поет. «Как медленно тащится мой ишак! Какие вокруг просторы. Сколько песка. Какие горячие камни вдоль дороги. А дома ждут жена и дети. Ну, скорее плетись, мой ишак, быстрее ползите назад, горячие камни, приближайся, родной арык. Как хорошо мне, пыльному и потному, окунуться в твою мутную воду! А солнце палит нещадно, а небо такое ясное-ясное». И так далее, и так без конца, пока не доедет.

А мне как же? Узбек-то доедет, у него есть конец пути, его ждут жена и дети. А кто ждет меня? Где мой конец пути? Когда мне нужно остановиться? Станислав Ежи Лец сказал: каждый писатель должен вовремя остановиться, иногда еще до начала.

Попробую: остановлюсь. Нет, еще немного. Еще хочется.

Передо мной стоит пепельница. В ней окурки. Уж и не знаю теперь, чьи они. И я думаю о том, сколько окурков в нее положила ты. Сколько ты выкурила здесь сигарет. Сколько съела килограммов хлеба. Для самоутверждения тебе необходимо было покинуть меня... Может быть, ты просто больна? Может быть, тебя снедает страшный недуг, а я этого не знаю? Может быть, тебе нужна моя помощь? А я сижу и пишу то, что никому не понадобится.

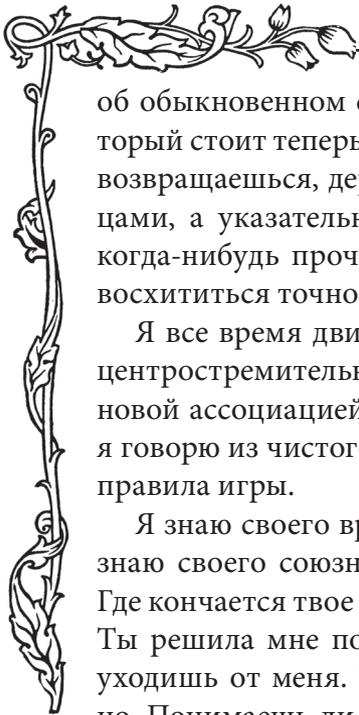
Рядом с пепельницей стоит пластмассовая штукovina (забыл ее название). А на подставке этой штучки, как всегда, лежит термометр. Сколько раз, думаю я, ты измеряла им температуру. Сколько раз он прикасался к твоему телу. Он и сейчас показывает тридцать семь и одну – твою температура в последний раз. Я взял его в руки, и вдруг кольнуло: холодный. Был теплый, стал холодный. Как будто умер.



В моем доме, наверное, не осталось вещей, к которым бы не прикасались твои руки. Я наталкиваюсь на эти вещи и не могу не думать об этом. Вот стакан. Ты пила из него, к его краю приникали твои губы. Я вижу тебя с этим стаканом в руках. Перед глазами мелькают застывшие кадры: ты за столом ешь крепли, запивая их молоком. Вот пьешь из него сухое вино, сидя в кресле, а вот – водку, это опять за столом. На столе горячая рыба в майонезе. Какой тоскливый был у тебя взгляд, когда ты бывала голодна!

А вот (так больно, что и писать не хочется) утром ты просишь меня подать стакан в постель. Еще несколько минут назад ты спала. Все-таки чаще первым просыпался я. И так привычно и чудно мне было смотреть на тебя. Солнце, что светило в окно, бессмысленная сонная улыбка и бессознательно разведенные в стороны ладони! Ты просишь пить. И я беру со столика этот стакан, приготовленный с вечера. Ты принимаешь его и пьешь. Неповторимый жест! Стакан становится продолжением руки... Вода поднимается по верхней губе почти до носа и немного проливается на пододеяльник. Стакан пустеет, он был неполный, я уже успел выпить половину, и ты просишь принести еще. Я встаю и иду на кухню.

Или вот: ночь, вода выпита, и ты идешь за ней сама. Ты встаешь совсем голая, и я каждый раз с удовольствием провожаю тебя взглядом и вижу, какая у тебя прелестная фигура. Парадокс: при некоторой кажущейся угловатости формы у тебя удивительно мягкие. Плавные их линии незаметно переходят в другие, и абстракция обретает реальность: вот появилось плечо, впалый живот. Знакомость картины дает мне возможность схватить все детали. Однако самое замечательное – ноги. Точнее, бедра. Тут вообще волшебство. Ты считаешь, что они должны быть шире. Ну да ладно. Об этом потом. Ведь я пишу

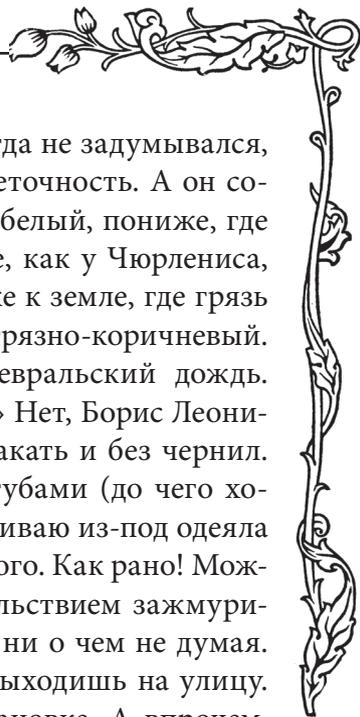


об обыкновенном семикопеечном граненом стакане, который стоит теперь на подоконнике рядом с кактусом. Ты возвращаешься, держа стакан средним и большим пальцами, а указательный слегка оттопыривается. Если ты когда-нибудь прочтешь эти строчки, я приглашаю тебя восхититься точностью моей памяти.

Я все время двигаюсь как бы по краю окружности, и центростремительная сила тянет меня в центр с каждой новой ассоциацией. А в центре – ты. Образ памяти. Это я говорю из чистого лукавства. Мне-то хорошо известны правила игры.

Я знаю своего врага номер один. Это твоя трусость. Я знаю своего союзника номер один. Это твое мужество. Где кончается твое мужество, начинается мое поражение. Ты решила мне помочь. Для этого ты сделала вид, что уходишь от меня. Ты можешь убедить себя в чем угодно. Понимаешь ли ты, что никогда от меня не уйдешь, даже если уйдешь? И не только потому, что так оно бывает один раз, и раз бывает, то уже не исчезает. И не только потому, что ты не можешь уйти, – все это ненатурально и напыщенно, как в дурном романе. На самом деле все гораздо проще: у тебя нет иного выхода. И потому так непросто.

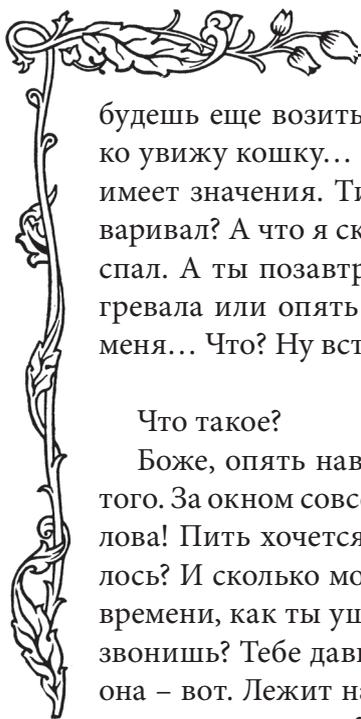
Если бы ты хоть на один самый крохотный миг могла влезть в мою шкуру и проследить за моим воображением (ты знаешь, какое оно у меня)! Мне, черт возьми, совсем не важно, что произошло той ночью. Но пусть это навязание преследует тебя изо дня в день, как неотвязный кошмар! Я не призываю пожалеть меня, я не взываю к твоему сочувствию или раскаянию, но для меня до сих пор остается загадкой: как оказалось возможным событие той ночи? Но ответ на этот вопрос я, наверное, никогда не найду.



Туман!.. Туман!..

Все говорят, что он серый. Я никогда не задумывался, какой он. Просто повторял чужую неточность. А он совсем не серый. Наверху, где небо, он белый, пониже, где угадываются прозрачные и зловещие, как у Чюрлениса, деревья, он голубой. А внизу, поближе к земле, где грязь и поникшие кусты, черно-синий или грязно-коричневый.

За окном второй день туман, февральский дождь. «Февраль. Достать чернил и плакать!» Нет, Борис Леонидович, при таком феврале можно плакать и без чернил. Слегка приоткрыв глаза и пожевав губами (до чего хочется пить, но лень вставать), я вытягиваю из-под одеяла руку с часами. Двадцать минут восьмого. Как рано! Можно еще полежать. И я опять с удовольствием зажмуриваюсь... Полчаса можно поваляться, ни о чем не думая. Ты уже в пальто. Может быть, уже выходишь на улицу. А может, уже на троллейбусной остановке. А впрочем, ты соня. И конечно, теперь только натягиваешь на себя платье. А ведь тебе к половине девятого! Почему ты не можешь спокойно позавтракать? Не торопись! Поешь как следует. И выпей горячего чаю. На улице зябко. Туман! И морозящий дождь. Лента дождя. Ау! Ты опять потерялась. Ах вот ты где. Что ты здесь делаешь? У тебя красные распухшие руки. А этой повязки на голове я никогда не видел. Почему ты плачешь? Не надо! Что? Ну конечно знаю. Зачем ты так говоришь? Да погоди, успеешь! Посиди еще пять минут со мной. Закури и для меня. Расстегни хотя бы пальто... Нет! Какое там! Вечно ты все делаешь в последнюю минуту! Осталось десять минут. Да надевай же скорее свои рейтузы или как там они называются... трико, что ли? Ну конечно, холодно, не видишь, как фонари раскачивает? Да не трогай ты постель, кто ее увидит, пусть остается разобранной. Черт возьми, ты долго



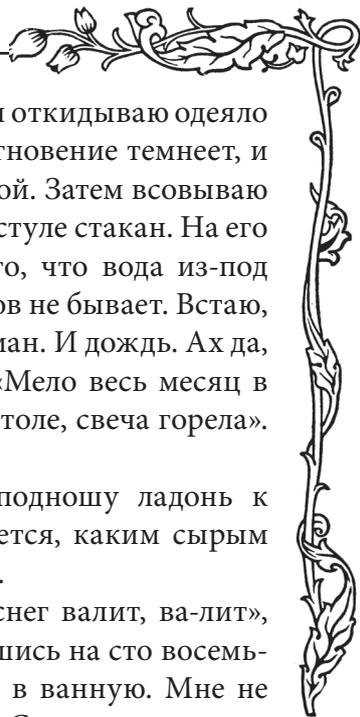
будешь еще возиться? Ну, бегом! Да, суеверен: как только увижу кошку... Ну и что? Что это я хотел сказать? Не имеет значения. Тише! Нет, разговаривала. Это я разговаривал? А что я сказал? Почему ты в пальто? Да нет, я не спал. А ты позавтракала? А что ты ела? А молоко подогревала или опять холодное пила? Ну хорошо. Поцелуй меня... Что? Ну встаю, встаю. Сейчас. Что? Что такое?!

Что такое?

Боже, опять наваждение! Двадцать три минуты девятого. За окном совсем светло. Боже, как раскальвается голова! Пить хочется. Сейчас встану. Что это мне приснилось? И сколько может все это сниться? Прошло столько времени, как ты ушла от меня. Неужели и сегодня не позвонишь? Тебе давно нужно сдать книгу в библиотеку. А она – вот. Лежит на стуле рядом с кроватью. Может, мне самому позвонить? Когда же я встану? Двадцать восемь минут девятого. Через две минуты я должен войти в кабинет и начать занятие. Конечно, студенты уже собрались. Они то и дело оглядываются на дверь. Интересно, почему они так меня боятся? Неужели у меня такой грозный вид? Вот особенно эта, с челкой, что всегда справа в углу сидит, все старательно записывает. Боже, как трясутся ее руки, когда я смотрю на нее. А этот парень, что прямо напротив меня, армянин, пожалуй, старше меня. Улыбается, шутит, а вижу, что боится. Наверно, стоит мне только выйти, уж они меня костерят! Правда, слушают. Когда я заговорю, сразу тишина. Хм!.. Надо быть, я им что-то умное говорю? Вот так! Вот так!.. Черт возьми!..

– Черт возьми! – говорю я и обнаруживаю, что уже некоторое время разговариваю вслух.

– Сколько? – изумляюсь я, глядя на часы. – Вот так-так!



Наконец без двадцати семи девять я откидываю одеяло и спускаю ноги на пол. В глазах на мгновение темнеет, и секунд пять я сижу, закрыв глаза рукой. Затем всовываю ноги в остывшие туфли и замечаю на стуле стакан. На его стенках много пузырьков. Это оттого, что вода из-под крана. Когда она кипяченая, пузырьков не бывает. Встаю, медленно подхожу к окну. Все еще туман. И дождь. Ах да, это и есть тот туман. И тот дождь. «Мело весь месяц в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела». Нет. «Пью горечь тубероз...»

Ставлю стакан на подоконник, подношу ладонь к щели. Дует. Даже в комнате чувствуется, каким сырым воздухом дует. Кактус опять не полит.

«Из окошка свету ма-ало, белый снег валит, ва-лит», – покачавшись на ступнях, повернувшись на сто восемьдесят градусов, быстро направляюсь в ванную. Мне не хочется спешить, но я подгоняю себя. Со сна в ногах еще нет дневной и трезвой устойчивости. Щелчок выключателя, и вот уже бежит, медленно согреваясь, вода из горячего крана. Нужно поставить чайник. Может быть, я успею проглотить кофе. Особенно сегодня это необходимо. После вчерашнего. Пива бы ледяного! Мечта, мечта!

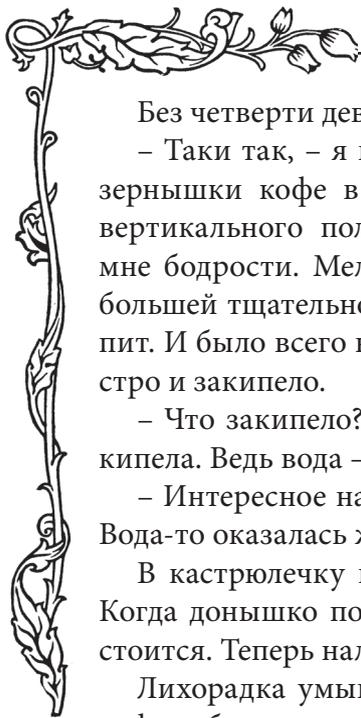
Ныряю под струю и тут же выпрямляюсь. Кружится голова.

Тогда вот что. Вначале побриться. Господи, ну и физиономия! Под глазами мешки, губы распухли. Тьфу! Намыливаюсь.

– Намыливаюсь, – утешаю я себя вслух, – ну и что ж тут такого?

– Это смотря как, – отвечаю я себе голосом другого персонажа.

Добрившись, взглядываю на часы, висящие около зеркала. Каждое утро я вешаю их сюда, чтобы быть в курсе.



Без четверти девять. Так. Таки так!

– Таки так, – я выхожу из ванной и быстро насыпаю зернышки кофе в электромельницу. Несколько минут вертикального положения, бритве заметно прибавили мне бодрости. Мельница жужжит, я покачиваю ее для большей тщательности перемалывания. Чайник уже кипит. И было всего ничего. Воды то есть. Поэтому так быстро и закипело.

– Что закипело? – спрашиваю я. – Не закипело, а закипела. Ведь вода – она!

– Интересное наблюдение, – говорит мой оппонент. – Вода-то оказалась женского пола.

В кастрюлечку насыпаю кофе и ставлю ее на огонь. Когда доньшко подогреется, кофе лучше и быстрее настоится. Теперь налить кипяточку и поряdochek! Тэ-кс!

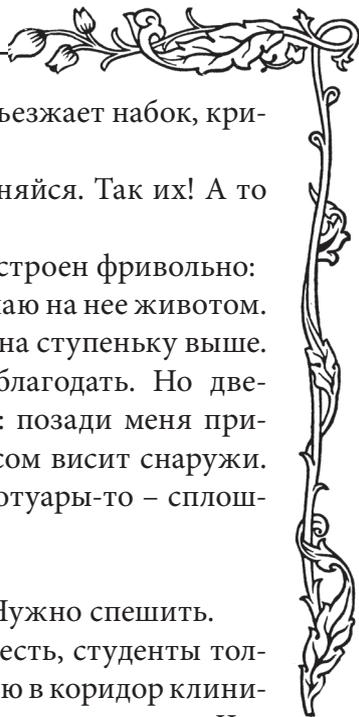
Лихорадка умывания, одевания и глотания горячего кофе набирает скорость. Начинается мелькание, которое заканчивается без семи девять тем, что я обмахиваю ботинки, на ходу надеваю пальто, пулей пролетаю все шесть этажей и выскакиваю в туман.

Туман!.. Туман!..

Раз-два-три-четыре.

Раз-два-три-четыре! – это я в темпе аллегро отталкиваю от себя мокрую землю с льдом. Касаюсь ее подошвами так, что дома впереди с каждым шагом вздрагиваю и, на долю секунды подпрыгнув вниз, тут же водружаюсь на свое место, с силой звука максимум меццо форте и стаккато, стаккато! Я бегу к троллейбусной остановке. Без пяти девять. Ай! Троллейбус стоит. Легато! И престо, престо!

Ухватившись за поручни и подтолкнув животом толстозадую девицу, я укрепляюсь на подножке в занятой позиции. Девица, однако, не обиделась и, весело обернув-



шись, от чего ее мохеровая шапочка съезжает набок, кричит мне:

– А ну, давай еще! Нажми, не стесняйся. Так их! А то встали ни туды, ни сюды.

Голова у меня еще хмельная, и я настроен фривольно:

– А ну как я тебя с юды? – и нажимаю на нее животом.

– Во! – говорит она и поднимается на ступеньку выше.

Становится свободнее – совсем благодать. Но двери троллейбуса закрыть невозможно: позади меня пристроились двое мужчин, один корпусом висит снаружи. Мимо проносятся клочья тумана. Тротуары-то – сплошная лужа.

Ну и февраль!

Не надо чернил. Не надо плакать. Нужно спешить.

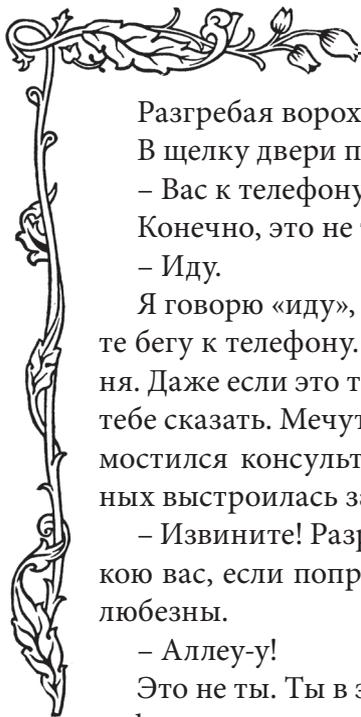
Двенадцать минут десятого (так и есть, студенты толпятся перед дверью в кабинет). Я влетаю в коридор клиники. Быстро проскакиваю мимо них, бросив на ходу: «Что же вы не проходите на рабочее место?» – заскакиваю в ординаторскую и бодро здороваюсь. Слава богу, все заняты, и на мой вид никто не обратил внимания. Только Валька, взглянув на часы (я опоздал на сорок две минуты – срок для преподавателя возмутительный; когда студенты так опаздывают, я заставляю их обрабатывать), говорит:

– Что-то ты рано сегодня!

– Не спится, – отвечаю, – соскучился по трудовому фронту.

Валька, неглупая хитрая Валька, которая лебезит перед шефом и ругает его в узком кругу, не продаст (зачем портить со мной отношения). Кажется, ей светит место доцента. Возможно. Планы шефа всегда покрыты мраком. Но все так считают. Я тоже думаю, что это не утопия.

Опять куда-то запропастился мой халат. Вечно все в шкафу перевернуто вверх дном.



Разгребая вороха пальто, отыскиваю его в самом углу.

В щелку двери просовывается сестра:

– Вас к телефону, доктор.

Конечно, это не ты, но внутри что-то вздрагивает.

– Иду.

Я говорю «иду», на самом же деле в расстегнутом халате бегу к телефону. В дежурке обычная утренняя толкотня. Даже если это ты, все равно я ничего не сумею толком тебе сказать. Мечутся сестры, тут же на уголке стола приютился консультант-терапевт, в дверях очередь больных выстроилась за лекарствами.

– Извините! Разрешите! Мне к телефону. Я не побеспокою вас, если попрошу пересесть на этот стул? Вы очень любезны.

– Аллеу-у!

Это не ты. Ты в этот час крутишься среди рабочих. Телефон, откуда ты обычно говоришь, в этот час осаждают деловые-деловые!.. Но мечтать я имею право.

Слышно очень плохо. Линия перегружена. Врывается радио, передают программу передач. Кто-то просит переслать выписку из истории болезни. Это где-то в соседнем корпусе. А вот и далекий голос.

– Это ты?

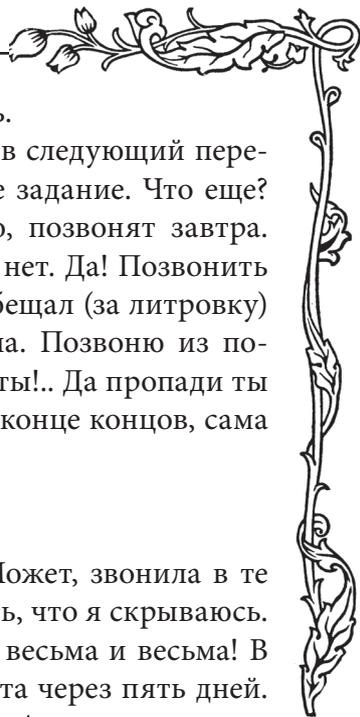
– Это я, – отвечаю, не совсем поняв, кто это.

– Слушай. Ты слышишь?

– Ну? – я уже понял. Это Володя из почечного центра.

– У меня тут одна тетка после отравления барбитурами. Совсем ум за разум зашел. Ты не смог бы подъехать?

Подъехать – это очень кстати. Можно смыться из клиники в двенадцать. Лихорадочно соображаю, где сегодня шеф, не придет ли ему в голову хватиться меня. Больных ординатора успею посмотреть в перерыв занятий, своих... Когда же своих?



– Минутку, Володя, дай сообразить.

Какие еще дела? Своих больных – в следующий перерыв. Студентам дам самостоятельное задание. Что еще? Из редакции будут звонить. Ничего, позвонят завтра. Никто не должен прийти? Как будто нет. Да! Позвонить главному инженеру кинохроники. Обещал (за литровку) сделать еще три копии моего фильма. Позвоню из почечного центра. Ты? Вот только если ты!.. Да пропади ты пропадом! Если любишь, найдешь. В конце концов, сама виновата.

– Сейчас, Володя, сейчас!

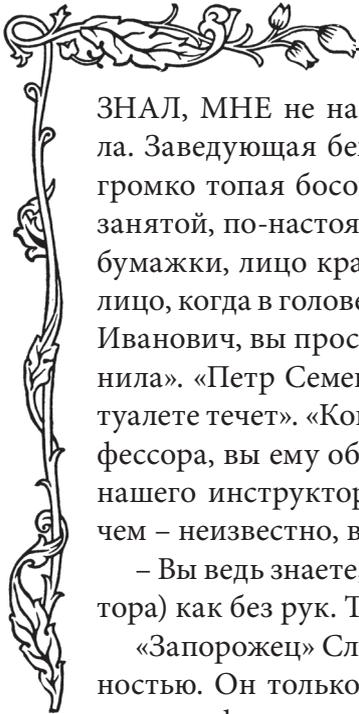
– Жду, жду.

Но все же, если ты позвонишь? Может, звонила в те дни? Не так же ты глупа, чтобы думать, что я скрываюсь. Смыться из клиники в двенадцать – весьма и весьма! В кошельке семь ре. С мелочью. Зарплата через пять дней. Ничего, перебьюсь. На худой конец, у Ани можно трояк перехватить. В холодильнике банка каши с говядиной, кусок сыра раза на три, три завтрака есть. На кефир к ужину хватит. Обед? Сегодня – бог с ним, а завтра и послезавтра пообедаю у мамы. А там... А!.. Будет видно. Решено!

– Володя, дорогой, понимаешь, сегодня у меня страшная кутерьма. Даже не знаю как... Ну вот что. Если ты сумеешь организовать машину к двенадцати, то до часу меня что-нибудь выкроится.

– О'кей! О чем говорить! Значит, к двенадцати. Бу zde!

– Договорились, – смотрю на часы. Семнадцать минут десятого. По закону можно делать первый перерыв, а я только приступаю к занятиям. Хорош преподаватель! А!.. Да пошли они все! Умники! Каждый норовит усовершенствовать воображение. Апогей – то, что ОН знает, как надо. Знает, не знает. Не все ли равно? ЕМУ надо, чтоб он



ЗНАЛ, МНЕ не надо. Однако пора оторвать зад от стула. Заведующая бежит к телефону семенящей походкой, громко топя босоножками, – смотрите все, вот спешит занятой, по-настоящему преданный делу человек. В руке бумажки, лицо крайне озабочено. Это у нее всегда такое лицо, когда в голове какая-нибудь хреновина. «Александр Иванович, вы просили, чтоб я вам насчет диванов позвонила». «Петр Семеныч, вы нам слесаря обещали, труба в туалете течет». «Константин Николаич, я по просьбе профессора, вы ему обещали устроить рессоры для машины нашего инструктора». Тут она понижает голос, хотя зачем – неизвестно, все и так слышат, а знают – и подавно.

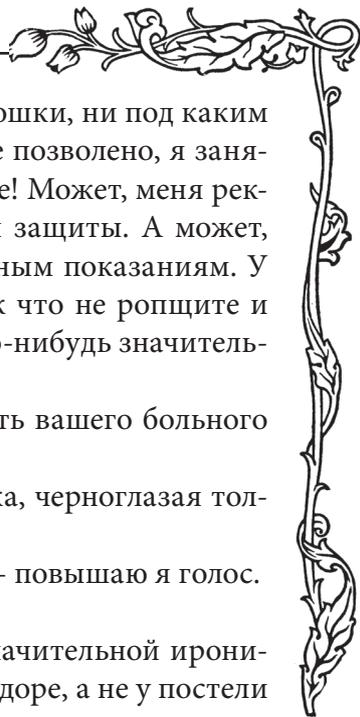
– Вы ведь знаете, что шеф без него (то есть без инструктора) как без рук. То туда нужно ехать, то сюда.

«Запорожец» Славы давно перестал быть его собственностью. Он только числится трудоинструктором, а выполняет функции личного шофера шефа.

Дверь в дежурку открыта, и голос заведующей несется по всему отделению, сопровождая меня до учебной комнаты.

Открываю дверь, студенты, гремя стульями, вскакивают.

С мрачным лицом, не предвещающим ничего хорошего, усаживаюсь за стол. Здравуюсь, все садятся, тревожно вглядываются в мое лицо – им важно знать, в каком я сегодня настроении. Неторопливо одергиваю халат, слегка (тут переборщить ни в коем случае нельзя) насупливаю бровь, делаю жесткую складку у рта и медленно обвожу взглядом присутствующих, ненадолго, но пристально вглядываясь в каждого. Это у меня такой прием. Самоуверенная значительность лица – внешний залог правоты. Я опоздал, значит, к тому были веские причины. Я маленький начальник и беззастенчиво пользуюсь сво-



ими правами. Никто из вас, мелкие сошки, ни под каким видом не смеет нарушать устава. Мне позволено, я занятый человек, а вы – только попробуйте! Может, меня ректор вызывал по поводу предстоящей защиты. А может, экстренная консультация по жизненным показаниям. У меня забот – глазом не окинешь! Так что не ропщите и глядите мне в рот. Сейчас я скажу что-нибудь значительное.

– Васильева, вы готовы представить вашего больного на клинический разбор?

– В общих чертах – отвечает, дрожа, черноглазая толстушка.

– Не в общих чертах, а леге артис! – повышаю я голос.

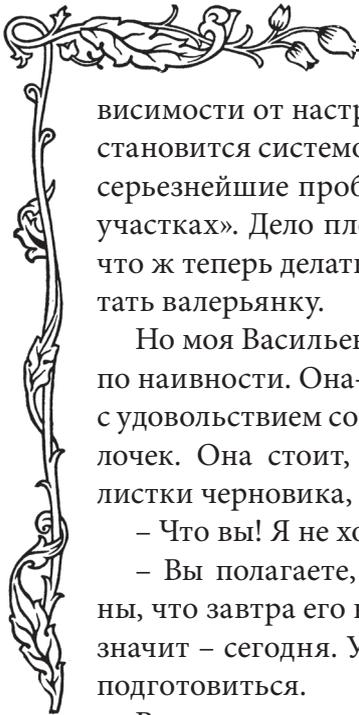
– Да.

– Проверим! – говорю я с многозначительной иронией. – Вчера вы полдня провели в коридоре, а не у постели больного.

– Прямо сейчас? – ужасается толстушка.

– Нет, вечером, у меня дома. За бутылкой сухого.

Эти хохмочки я могу себе позволить. Никто не осудит, тем более что девушка хорошенькая. «Хотели» – словечко я заимствовал у шефа. На определенном уровне действует. «Вы хотели» – значит, инициатива, ваша (что она его – никто не догадывается). И в этом свирепый подвох: не можете сейчас представить результаты своего «хотения» – значит, проявили нерадивость (или физически не смогли) – значит, не держите слова; не держите слова – следовательно, в этом пункте не соответствуете занимаемому месту. Будет повторяться, подыщем замену. И тот, кто «хотел», но «не выполнил», пугается, начинает чувствовать себя виноватым, униженно просит прощения и обещает «обязательно все исполнить», а в ответ выслушивает покровительственное «идите и выполняйте» или (в за-



висимости от настроения) «вечно у вас что-то не так, это становится системой, у вас на всех участках деятельности серьезные пробелы!» Да, это уже серьезно – «на всех участках». Дело плохо. Я на плохом счету, все это знают, что ж теперь делать! И человек бежит в сестринскую глотать валерьянку.

Но моя Васильева не поддается на удочку. Конечно же, по наивности. Она-то знает, что ничего не хотела. И даже с удовольствием совсем спряталась бы куда-нибудь в уголочек. Она стоит, лихорадочно перебирая исписанные листки черновика, и как же ей сейчас неуютно!

– Что вы! Я не хотела! Можно я лучше завтра?

– Вы полагаете, что больной будет ждать? Вы уверены, что завтра его не выпишут? Если я говорю «сегодня», значит – сегодня. У вас времени было достаточно, чтобы подготовиться.

Все это я произношу спокойно, чуть насмешливо. Если эти слова проорать, эффекта не будет. А теперь – есть. Васильева теряет.

– Ой, у меня, наверное, плохо получится.

– За это вас никто не осудит, – говорю я, опять начиная демократические формы правления, – важно, чтобы вы показали, что работали. А ошибки неизбежны. На них следует учиться. Ну, пожалуйста! Слушаем вас.

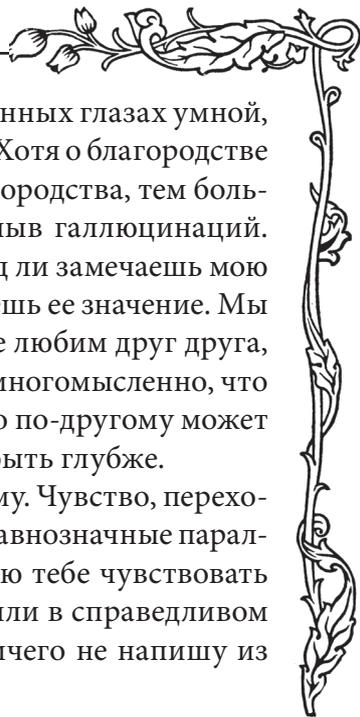
Я справедлив, но строг. Ты будешь казнена. Что? Не понравилось? Бледнеешь от боязни? Что делать, милая! Недаром вся страна давно требует твоей позорной казни.

Пять децибел. Десять децибел. Много. Тише. Ноль целых, пять десятых.

– Ты меня любишь?

– Мы все на этот счет обсудили.

Говоришь ты. Я слушаю.



Я позволяю тебе казаться в собственных глазах умной, значительной, правой и благородной. Хотя о благородстве ты вряд ли думаешь. Чем меньше благородства, тем больше. Здравый рассудок. Стихия. Наплыв галлюцинаций. Мы обсудили. И я не спорю. А ты вряд ли замечаешь мою улыбку. А если замечаешь, то понимаешь ее значение. Мы обсудили и выяснили, что мы оба еще любим друг друга, но по-другому. И это по-другому так многомысленно, что позволяет втиснуть смысл меньше. Но по-другому может быть и больше. По-другому – может быть глубже.

То есть к а ч е с т в е н н о по-другому. Чувство, переходящее в свои качественно другие, но равнозначные параллели. Я не сопротивляюсь. Я позволяю тебе чувствовать свое преимущество. Если я возражу или в справедливом гневе дам тебе по физиономии, то ничего не напишу из того, что пишу сейчас.

– Ты бросила меня?

– Конечно, – отвечаешь ты, не замечая самодовольства своего тона. Ты горделива. На этот раз твоя победа.

– Ну и ладушки. А может, я просто спровоцировал тебя?

На секунду в твоем взгляде мелькает беспокойство.

– Глупости.

– Это почему же?

– А зачем тебе это нужно?

– Ответ тебя не удовлетворит.

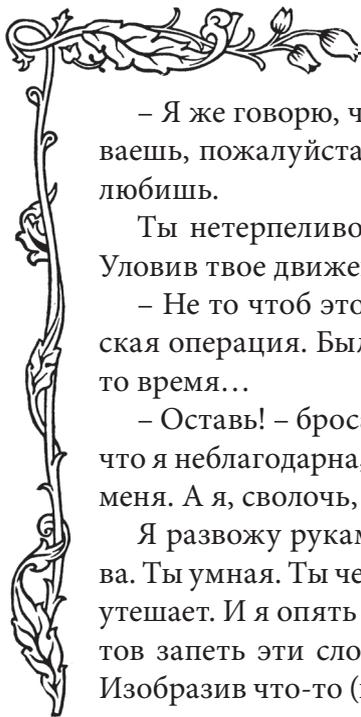
– Почему?

– Он слишком прост, и ты не веришь. Для того чтобы получить твое доверие, мне нужно закрутить что-нибудь этакое, чего совсем быть не может. Тогда ты поверишь.

– Оставь!

– Так бывало уже не раз,

– Так зачем же ты спровоцировал меня?



– Я же говорю, что ты не поверишь. Ну, раз ты настаиваешь, пожалуйста. Мне нужно было знать, как ты меня любишь.

Ты нетерпеливо и презрительно дергаешь углом рта. Уловив твое движение, уточняю:

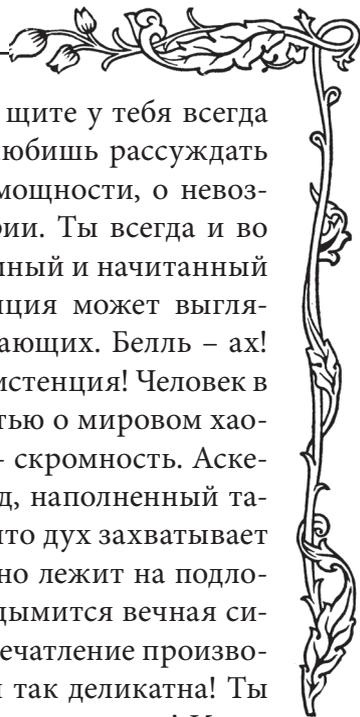
– Не то чтоб это было запланировано как стратегическая операция. Было это, конечно, полусознательно, но в то время...

– Оставь! – бросаешь ты резко. – Тебе нужно сознание, что я неблагодарна, а ты хороший и продолжаешь любить меня. А я, сволочь, бросила тебя. Такого хорошего.

Я развожу руками. Конечно, ты права. Ты всегда права. Ты умная. Ты честная. Ты оказалась сильнее меня. Это утешает. И я опять улыбаюсь – глупо и безмятежно. Я готов запеть эти слова на всю улицу: «Ты сильнее меня!» Изобразив что-то (кажется, гнев), я несильно ударяю тебя по лицу сложенными перчатками.

– Перестань! – говоришь ты без злобы.

Ты права. Ты сильнее меня. Ты так спокойна и величественна в своей правоте, что даже не задаешься вопросом, почему я не возражаю, почему не стараюсь переубедить тебя. Впрочем, если бы даже этот вопрос мог прийти тебе в голову, ты решила бы, что я не сопротивляюсь разрыву, потому что сам хочу того же. Ай-ай! Мне трудно с тобой, потому что ты так беспомощна в житейской психологии. И потому, что твои суждения о поступках (всегда оригинальные, но всегда неверные) для тебя самой непрепрекаемы. И я на этот раз не возражаю тебе. Пусть! Не все ли равно? Ты величественна и спокойна в своей правоте. Твое подсознание поставило тебя на ступень выше меня. Ты, конечно, сильная. Но знаешь, дурочка, как ты при этом прекрасна?.. Несмотря на свое в е л и ч и е. Несмотря на свое с п о к о й с т в и е. Несмотря на свою п р а в о т у.



Эх! Тебе бы больше сомнений! На щите у тебя всегда декларация безнадежности. Ты так любишь рассуждать о конце света, о человеческой беспомощности, о невозможности разумного развития истории. Ты всегда и во всем сомневаешься. То есть ты, как умный и начитанный человек, понимаешь, что такая позиция может выглядеть очень импонирующе для окружающих. Белль – ах! Камю – ах! Сартр – ах в квадрате! Экзистенция! Человек в толпе. Восхищение своей догадливостью о мировом хаосе. Внутреннее восхищение. Внешне – скромность. Аскетическое лицо, глаза опущены (взгляд, наполненный таким кипением эмоциональной бури, что дух захватывает у глядящего на тебя), рука неподвижно лежит на подлокотнике кресла, в красивых пальцах дымится вечная сигарета. Думаешь ли ты о том, какое впечатление производишь? Еще бы! Ты так образованна и так деликатна! Ты воплощенная интеллигентность и женственность! И так п р е к р а с н а!

– Идет троллейбус!

– Мне уехать сейчас или подождать следующего?

– Да что же ждать, поезжай уж!

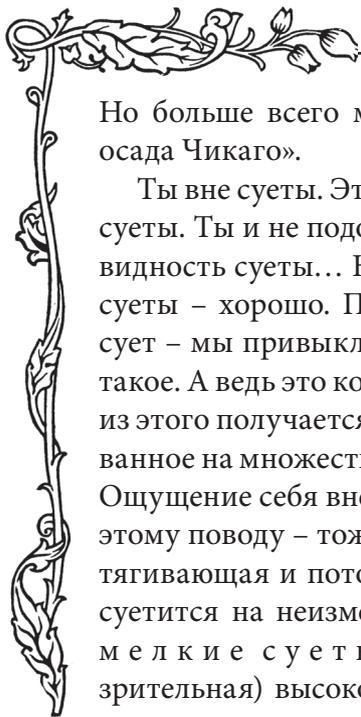
– Поцелуй меня! Быстро!

Сложив губы в жесткую трубочку, ты даришь мне детский поцелуй.

И опять я не настаиваю, не остаюсь. Я вскакиваю на подножку. Оставайся! Я все равно увижу тебя во сне.

Ты кайфуешь. Ты валяешься на кровати, читая Путь и Битова. Ты куришь сигарету за сигаретой, питаешься (черт знает чем) и кайфуешь. Ты – вне суеты. Ты даже не знала, что прекращена война во Вьетнаме.

– Гюнтер Вальраф! Гениально! Какой прием! Нет, это ж надо додуматься, чтоб фальсифицировать антипозицию!

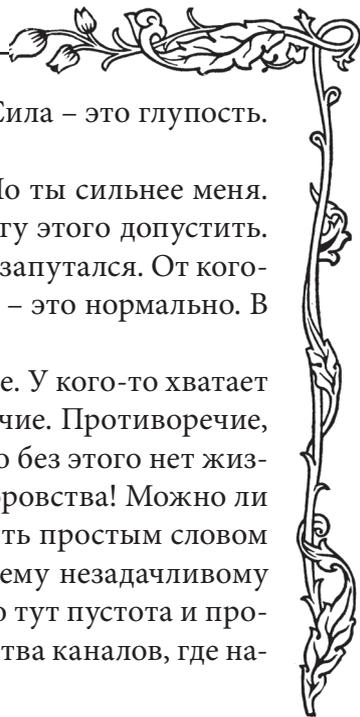


Но больше всего мне понравилось... это... «Майами и осада Чикаго».

Ты вне суеты. Это и есть твой кайф – ощущать себя вне суеты. Ты и не подозреваешь, что это ощущение – разновидность суеты... Не объяснять же тебе суть суеты. Чуть суеты – хорошо. Правда? Дай мне полюбоваться! Суета сует – мы привыкли к этому и не задумываемся, что это такое. А ведь это когда с у е т много, настолько много, что из этого получается б о л ь ш а я с у е т а. Суждение, основанное на множестве схожих фактов. Короче – индукция. Ощущение себя вне суеты и тайное восхищение собой по этому поводу – тоже б о л ь ш у щ а я с у е т а. Самая затягивающая и потому самая страшная. От того, что она суетится на неизмеримо более высоком уровне, чем т е м е л к и е с у е т ы, от которых она (горделивая и презрительная) высокомерно отмежевывается. Она – самая страшная суета, потому что она вне критики. Логикой ее не пробить. Она эфемерна и обтекаема. Она недоступна, как и все, относящееся к снобизму. Категории снобизма – аксиомы. Для снобов, конечно. То, что вне этих аксиом – суета. Ах, какая же это кошмарная суета – снобизм в н е с у е т н о с т и!

А ведь это так просто. Человек вне суеты, когда он это не замечает. Для него это естественное состояние, и он производит впечатление чудака и даже тронутого. Он в своих мыслях, и его взгляд блуждает, не задерживаясь на суетных точках, руки его описывают немислимые амплитуды, ноги его косолапо заплетаются. Он мишень для насмешек собранных и подтянутых людей, которые всегда могут подловить его на мирском пустяке.

Ты сильнее меня, потому что – вне суеты. Но сила – антипод ума и гуманности. Сила – венец и опьянение. Она –



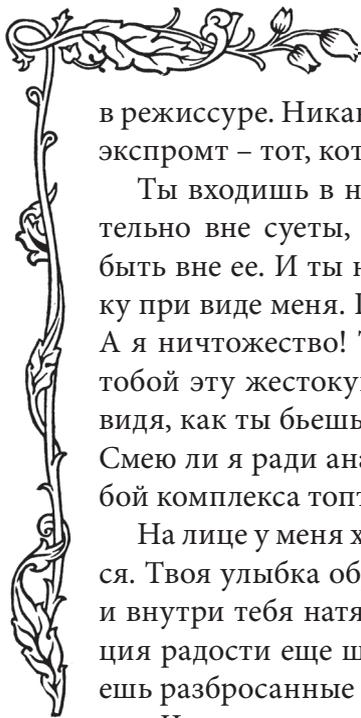
точка и цель, за которой ничего нет. Сила – это глупость. Сила реакционна.

Как же мне быть? Я люблю тебя. Но ты сильнее меня. Выходит, ты глупее меня? Но я не могу этого допустить. К чему я пришел? Кажется, я немного запутался. От кого-то я недавно слышал – противоречия – это нормально. В них жизнь.

Ты глупее меня, потому что сильнее. У кого-то хватает духу называть это просто: противоречие. Противоречие, и все тут. Это естественно. Потому что без этого нет жизни. Вот уж, право, простота – хуже воровства! Можно ли этот эмоциональный шквал обозначить простым словом «противоречие»? И как возразить моему незадачливому оппоненту (кажется, оппонентше), что тут пустота и провал. Потому что здесь один из множества каналов, где начинается бесконечность.

Я прихожу к тебе. Предлог – отдать книгу. В комнате тебя нет. Ты у соседей смотришь телевизор. За тобой идут. Ты сейчас войдешь. Не торопись, пожалуйста! Дай мне унять сердцебиение и надеть равнодушную маску. Подожди входить! Сейчас, я только похожу по комнате, чтобы успокоиться, нужно медленно и пружинисто впечатать в пол несколько мягких шагов (с пятки на носок), снять шапку, расстегнуть пальто. Не садиться! Это расслабляет, а расслабленность тоже не годится. Мобилизация сил для создания свободы владения своим лицом. Мобилизация эмоциональной свободы. «Работа актера над собой». «Моя жизнь в искусстве». Сквозное действие. Вертикали и горизонталы.

Стоп. Прокрутить пленку назад. Еще раз. Двойной кадр. Буер, скользящий по льду. Сложность ассоциативного хода. Все мизансцены должны быть предусмотрены



в режиссуре. Никакой самодеятельности. Самый лучший экспромт – тот, который хорошо подготовлен.

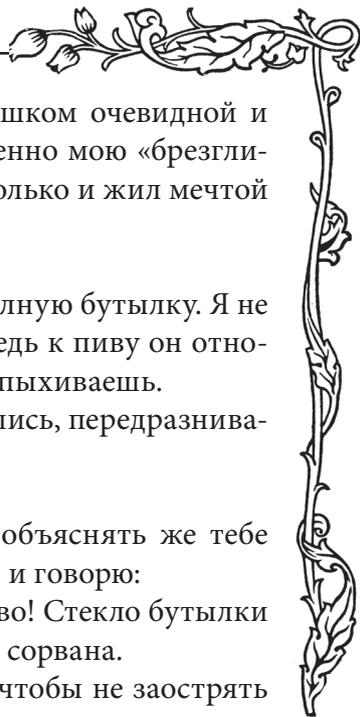
Тыходишь в нужный момент. И теперь ты действительно вне суеты, потому что забыла о необходимости быть вне ее. И ты не можешь сдержать радостную улыбку при виде меня. Господи, сколько света у тебя в глазах! А я ничтожество! Ты так любишь, а я, каннибал, веду с тобой эту жестокую игру. Я чувствую себя униженным, видя, как ты бьешься в железных сетях моей режиссуры. Смею ли я ради анализа, ради расщепления нашего с тобой комплекса топтать всю эту святость?

На лице у меня холод и отчуждение, а сердце сжимается. Твоя улыбка обреченно гаснет, в глазах меркнет свет, и внутри тебя натягивается струнка отчаяния. Но инерция радости еще швыряет тебя по комнате, ты прибираешь разбросанные вещи.

– Что же ты не разденешься?

Я молчу, изображая неуверенность – нужно ли мне раздеваться. Ведь если бы я не преследовал своей цели и мое восприятие не было бы настроено на определенную волну, я не наблюдал бы за тобой так пристально и легко мог бы не заметить твоей радостной улыбки, а выражение отчаяния мог принять за равнодушие. Кстати, у тебя это очень похоже. Может, мне нужно теперь сказать: «Я ненадолго»?

Черт знает что у меня на лице! Какой-то несусветный винегрет из приветливой улыбки (я должен показать, что рад тебя видеть), брезгливости по поводу твоего звонка Ане («мне нужно взять у него книгу» – ну да, у тебя нет других причин видеть меня) и нарочитого отчуждения. Я должен выразить свое презрение к твоему непостоянству (ты ушла от меня, а не я бросил тебя, значит, я оказался более совершенным). И я стараюсь, чтобы фальшивость



моей приветливой улыбки была слишком очевидной и чтобы ты хорошенько разглядела именно мою «брезгливость». На самом деле все эти дни я только и жил мечтой увидеть тебя...

– Пива хочешь?

– Вот этого? – показываю я на неполную бутылку. Я не успел согнать с лица мой винегрет (ведь к пиву он отношения не имеет), и ты возмущенно вспыхиваешь.

– Почему «вот эт-того», – скривившись, передразниваешь ты.

Тебя уже все во мне раздражает.

Я хочу исправить положение (не объяснять же тебе весь сложный ход моего «презрения») и говорю:

– Но я мог подумать, что это не пиво! Стекло бутылки темное, похоже и на сидро, а этикетка сорвана.

Поспешный ход! Ты не веришь и, чтобы не заострять тему, переводишь разговор.

– Может, чаю?

– Я хочу пить.

– Так я налью. Он еще горячий.

– Нет. Именно потому, что он горячий.

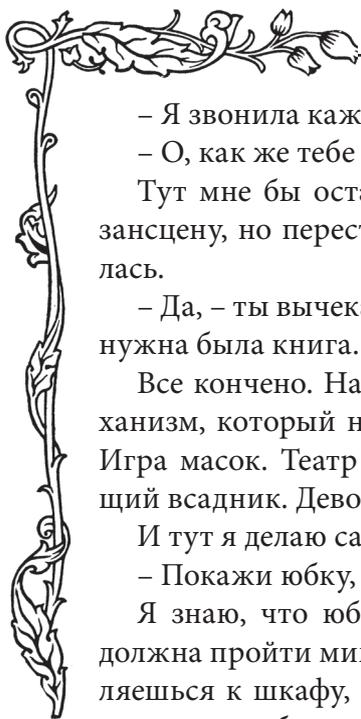
– А все-таки?

– Я уже сказал. А впрочем... пива, пожалуй! Немного.

Ты заглядываешь в пустой бокальчик и с сомнением (буду ли я после тебя пить?) смотришь на меня. Но я опередил тебя и пью прямо из горлышка – ждать нет терпения.

– Да! – говорю я небрежно, как бы вдруг вспомнив о пустяке, – я принес тебе книгу. Аня передала. Только почему ты мне самому не позвонила? Почему нужны были посредники?

Я, конечно, знаю, что ты спрашивала меня, но в клинике меня не было.



– Я звонила каждый день.

– О, как же тебе была нужна книга!

Тут мне бы остановиться! Тут мне бы смягчить мизансцену, но перестроиться сразу трудно. Ты тоже завелась.

– Да, – ты вычеканиваешь каждое слово, – мне ОЧЕНЬ нужна была книга.

Все кончено. Началось коловращение. Включился механизм, который не остановить простым усилием воли. Игра масок. Театр теней. Пляшущие человечки. Скачущий всадник. Девочка со скакалкой.

И тут я делаю самый коварный ход.

– Покажи юбку, которую ты купила.

Я знаю, что юбка в шкафу, и, чтобы ее достать, ты должна пройти мимо меня. Так и есть! Ты молча направляешься к шкафу, и я порывисто обнимаю тебя. В доли секунды у тебя нет времени на анализ, и ты принимаешь все за чистую монету. Ты думаешь, что я признал свое поражение, делаю попытку к сближению и готов встать на колени. В тебе загорается презрение, ты нетерпеливо отстраняешься.

– Ты бросила меня?

– Конечно, – отвечаешь ты, не замечая самодовольства своего тона. Ты полна презрения. Ты горда, что оказалась выше меня. Тебе нужно ощущение победы надо мной. Ну что ж! На этот раз твоя победа!

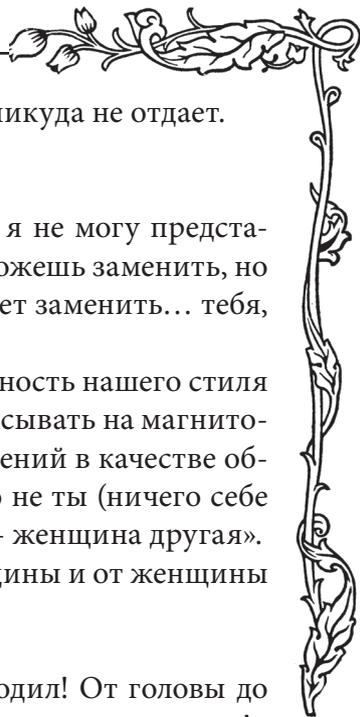
И ладушки.

– От человека до женщины гораздо меньше, чем от женщины до человека.

– Как-как?

– У тебя болело когда-нибудь сердце?

– Нет.



– Так вот. Это не колет, не жмет и никуда не отдает.

– А что же?

– Я думала, ты понятливее.

Разговор происходит в темноте, и я не могу представить выражение ее глаз. «Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может». Она не может заменить... тебя, но ведь и ты ее не можешь.

Мы разговариваем тихо, и лапидарность нашего стиля великолепна. Наш диалог можно записывать на магнитофон и потом прокручивать для поколений в качестве образца. Virtuозность эспри. Она – это не ты (ничего себе открытие, да?). Она – это она. «А это – женщина другая».

Каков же путь от человека до женщины и от женщины до человека?

Диковинный паноптикум.

– Вот знаменитый нильский крокодил! От головы до хвоста – три метра, от хвоста до головы – четыре метра!..

Какими шагами измеряется этот путь? Сколько шагов нужно сделать женщине, чтобы стать человеком? Можно ли стандартизировать количество и размер шагов? Можно ли унифицировать сам принцип нильского крокодила? Где голова? Там, где человек или там, где женщина? «Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума – геройство».

А сколько шагов от женщины до мужчины?..

От великого до смешного – один шаг. А от смешного до великого?..

И вот уже совсем полная неожиданность:

– А сколько шагов от женщины до женщины?!

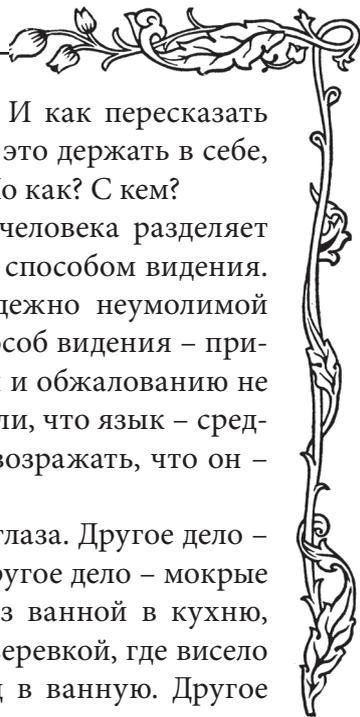
Недостижимость пути – недостижимость цели. Недостижимость и непостижимость. Они в самом многогоном. В междометии.

И думает ли об этом женщина?! Женщина думает — это уже много. Это сюрприз в сочельник. Самая дорогая мечта — такая же, как елочная игрушка.

И все-таки: думает ли об этом женщина?! Женщина! Ты об этом думаешь?!..

Я уже не художник. Не могу же я сказать: я еще не художник. Слово бы у меня была какая-то возможность им стать, но пока обстоятельства не позволяют. Нет. Я именно уже не художник. Никогда я не встану в просторной робе за мольберт, не окину всевидящим оком пустой холст, нащупывая в нем очертания будущей композиции, не окуну в пахучие краски тонкую кисть. Потом, когда-нибудь, я напишу маленькую поэму в прозе о том, что такое кисть художника. Это все, на что я способен в живописи. Ничего другого я не могу. Таинственная неподвижность моих генов, моих высших координационных приборов, дремлющих где-то в гипокампе и гипоталамусе, не позволяет мне осмысленно положить на холст ни одного мазка. И сколько бы ни повторяли, что таланты воспитываются, я упрямо буду возражать, что они рождаются.

Не смею утверждать, быть может, это плод разгулявшегося воображения, но, право же, мне иногда кажется, что внутри меня что-то неясное и темное, что прорезается в сновидениях густыми раскачивающимися пластинами, что томительно волнует при виде женской красоты, вдруг обретает поразительную по откровению художественную форму. И такое наступает забвение в этом внутреннем созерцании, и такой пронзительный звон аккордов, извлекаемый из натянутых нервов, и такое буйство красок этой неслышанной и никогда не могущей быть услышанной симфонии! И какова сила отчаяния, что не могу я выплеснуть всю эту мощь на полотно несколько-



ми гениальными движениями руки! И как пересказать всю эту силу другому? Нельзя же все это держать в себе, возникает потребность поделиться. Но как? С кем?

Хотя бы с тобой. Но человека и человека разделяет путь мысли. Путь мысли, движимый способом видения. Очевидность этой простой и безнадежно неумолимой истины страшна и бесповоротна. Способ видения – приговор природы, который окончателен и обжалованию не подлежит. И сколько бы ни утверждали, что язык – средство коммуникации, я буду упрямо возражать, что он – верное средство разобщения.

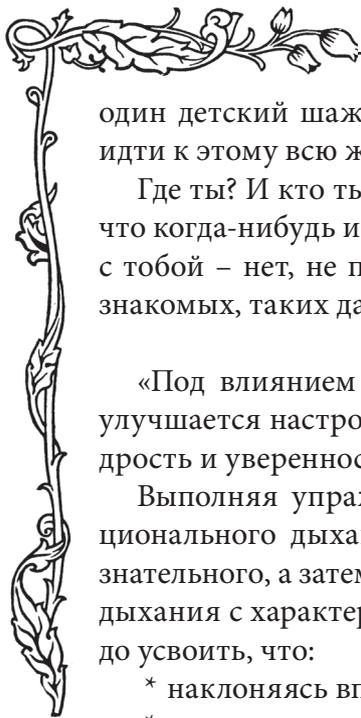
Другое дело – рука. Другое дело – глаза. Другое дело – вздымающаяся от волнения грудь. Другое дело – мокрые следы босых ног на полу, идущие из ванной в кухню, останавливающиеся посередине, под веревкой, где висело полотенце, и возвращающиеся назад в ванную. Другое дело – тело, движения которого могут в несколько секунд выразить то, перед чем бессилён язык. Чего не могут выразить книги, даже самые умные. Что мы не решаемся сказать, но уже было и так знакомо, что ещё страшнее, поскольку нельзя сказать. Вероятно, и можно сказать, но не так. Не на нашем языке, не в наш век и не на нашей планете. И притом только если идти к этому, как в сказке. За тридевять земель, за своей царевной, к злому волшебнику, который лишь в сказке и оказывается глупым и слабым...

И вот назревает апогей: от человека до человека гораздо больше шагов, чем от человека до человека!

Сколько именно? Какова расчетная смета?

От меня до тебя гораздо меньше шагов, чем от тебя до меня!

Ты где-то здесь, совсем рядом, и где-то там, куда мне нет доступа. Можно перекрыть это расстояние, сделав



один детский шажок в двадцать сантиметров, и можно идти к этому всю жизнь.

Где ты? И кто ты? Только узнав это, я могу надеяться, что когда-нибудь и где-нибудь встречу тебя и перекинусь с тобой – нет, не парой словечек – парой жестов, таких знакомых, таких далеких и таких невозможных!..

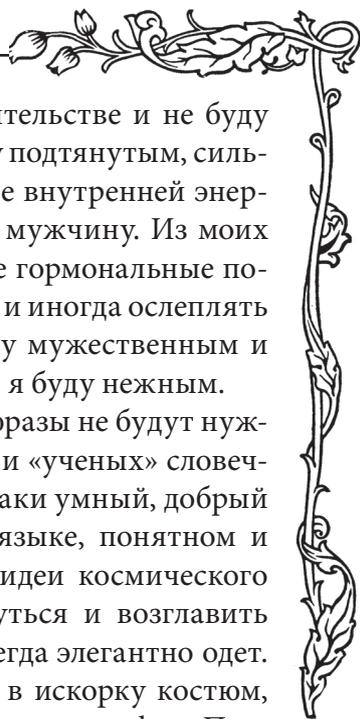
«Под влиянием физических упражнений у человека улучшается настроение, углубляется сон, появляется бодрость и уверенность в своих силах.

Выполняя упражнения, надо соблюдать правила рационального дыхания. Главное – добиться вначале сознательного, а затем автоматизированного сочетания фаз дыхания с характером и формой движений. Важно твердо усвоить, что:

- * наклоняясь вперед, приседая – делать выдох;
- * выпрямляясь – вдох;
- * поднимая руки вперед, вверх, разводя их в стороны – делать вдох; опуская – выдох;
- * поднимая ногу (или обе в положении лежа), или отводя ее в сторону – делать вдох; опуская – выдох (см. классификацию активных движений).

Начинайте свое обучение с простых упражнений. Только после воспитания навыка...» (Из «Инструкций по занятиям физкультурой»).

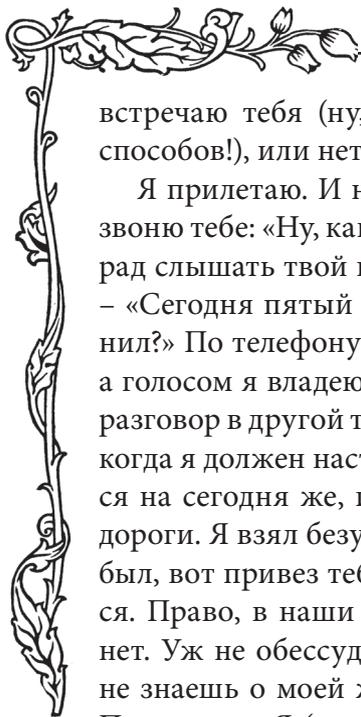
Значит, так. Придуманно недурно. Важно систематически поднимать и опускать ноги, делать соответственно вдох и выдох (см. классификацию активных движений), и у меня будет улучшаться настроение, углубляться сон, появится бодрость и уверенность в своих силах. И не будет всего того, что постоянно парализует мою двигательную активность. Буду активным и уверенным в себе. Я



наконец-то буду участвовать в строительстве и не буду сожалеть о загубленной жизни. Я буду подтянутым, сильным. Мои лаконичные и наполненные внутренней энергией жесты будут выдавать волевого мужчину. Из моих глаз и ноздрей будут струиться целые гормональные потоки, и лучи их будут тайно согревать и иногда ослеплять окружающих меня женщин. И я буду мужественным и простым в обращении. С женщинами я буду нежным.

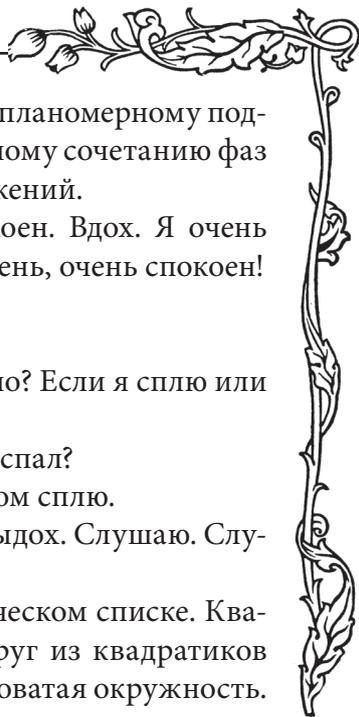
Мои короткие и предельно ясные фразы не будут нуждаться в особых «интеллектуальных» и «ученых» словечках, и это покажет всем, какой я все-таки умный, добрый и простой. Я сумею на обыденном языке, понятном и крестьянину, выражать гениальные идеи космического масштаба. Я сумею быстро выдвинуться и возглавить что-нибудь очень большое. Я буду всегда элегантно одет. Мой любимый цвет – серый. Серый в искорку костюм, бордовый галстук и такие же носки, черные туфли. Подтянутый, мужественный и простой в обращении, я буду лихо выходить из своего кабинета, держа в руке худенькую папку (в ней всего три листка, но за эти два-три листка десятки людей на всем земном шаре готовы платить мне миллионы); сбегать по лесенке к своему автомобилю, успевая одарить ослепительной улыбкой девушку-швейцара (э... как его назвать... ну да ладно, швейцарами будут только девушки); демократично, без высокомерной снисходительности, пожать руку нескольким подчиненным, которые знают, что я ухожу в этот час на обед, и специально выспали в коридор лишний раз посмотреть на живого гения, живого, но еще молодого, мужественного и простого в обращении.

И я холост. Я сохранил верность тебе. Я доказал. Я все доказал и все стало, как я сказал. Как нужно, чтоб было. Я изредка навещаю в наш город и как бы случайно



встречаю тебя (ну, для этого можно придумать много способов!), или нет, даже лучше не случайно.

Я прилетаю. И на следующий день (а может, и в этот) звоню тебе: «Ну, как ты?» — «О, какой сюрприз!» — «Я очень рад слышать твой голос!» — «Я тоже. Ты давно приехал?» — «Сегодня пятый день». — «Что же ты раньше не позвонил?» По телефону не слышно, как бьется у меня сердце, а голосом я владею. Ты моментально скисаешь и тянешь разговор в другой тональности. Теперь наступает момент, когда я должен настаивать на встрече. Мы договариваемся на сегодня же, и я еду к тебе, едва успев помыться с дороги. Я взял безумно дорогую штучку («Да! Чуть не забыл, вот привез тебе. Не знаю, понравится, не понравится. Право, в наши времена большого выбора сувениров нет. Уж не обессуди! Прими великодушно»)! Ты ничего не знаешь о моей жизни. У меня, конечно, жена и дети. Положение. Я (костюмчик, туфельки!) не беден, от жизни сыт, бодр, мужественен и прост в обращении. И я небрежно достаю из портфеля бутылку английского джина и настоящего французского бордо, а также какие-нибудь обалденные закуськи, и мы пьем, и курим, и болтаем. И вдруг выясняется, что я не женат и все так же люблю тебя. Разумеется, это узнается не прямо, не в лоб, в косвенной беседе. Например, так: «Я крепко сплю под утро и не слышу будильника. Так что приходится вменять в обязанность помощнику заезжать за мной и будить — у него второй ключ от моего коттеджа». — «Разве некому тебя разбудить?» — «Нет, почему же! Но прислуга в этот час всегда отправляется на рынок». И тут ты замечаешь, как я гениален, мужественен и прост в обращении. И так верен тебе. Ты видишь, что я самый человечный человек, и бросаешься мне в объятия, и любовь наша вспыхивает с новой силой.



И все благодаря своевременному и планомерному подниманию и опусканию ног и правильному сочетанию фаз дыхания с характером и формой движений.

Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я спокоен. Вдох. Я очень спокоен. Выдох. Я спокоен. Вдох. Я очень, очень спокоен!

Я сплю или не сплю?

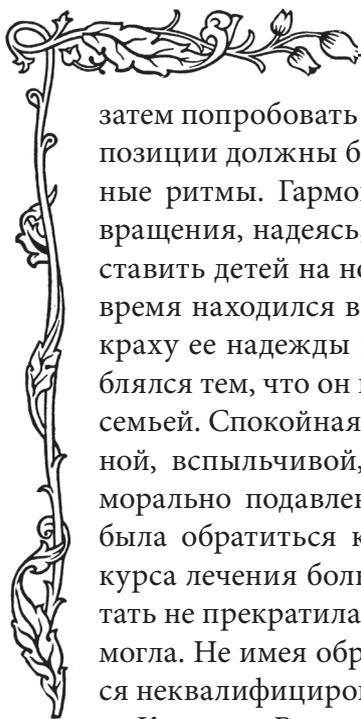
А как проще? Как более убедительно? Если я сплю или если не сплю?

И как нужно? Чтобы я спал или не спал?

В общем, так: сначала не сплю, потом сплю.

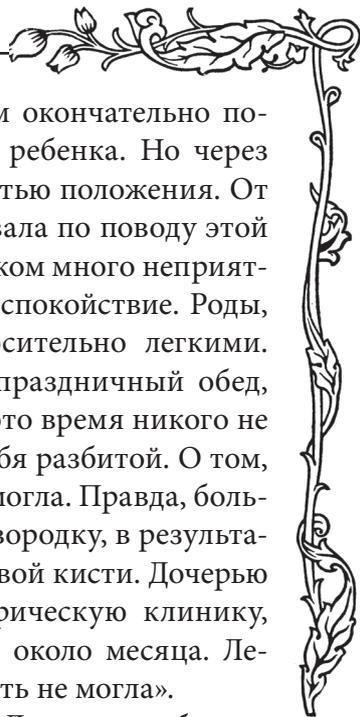
И я слушаю. Слушаю. Я спокоен. Выдох. Слушаю. Слушаю!

Рука рисует квадратики на студенческом списке. Квадратики по кругу. В конце концов круг из квадратиков замыкается. Получается неровная угловатая окружность. Это оттого, что я не могу мысленно провести на листке правильную окружность, вернее, я не догадываюсь сделать это и обнаруживаю, что окружность кривая, только тогда, когда она уже начерчена. Начерчена, и черт с ней! Не в окружности счастье. Я же слушаю. Или нет? А теперь окружность получается совсем неплохо. Я сначала проведу бледно-бледно, чтобы потом не было видно, затем проведу по бледному кругу окружность из квадратиков. Теперь и сами квадратики получаются удачнее. К тому же я слушаю. Не пропускаю ни одного слова. Квадратики нужно заштриховать. Штриховку положить наискось – с угла на угол через один. Так, чтоб в каждом следующем квадратике штрихи были перпендикулярны штрихам предыдущего. Тогда картина в целом будет яснее. Ну, вот и закончено. Хотя середина окружности неприлично пустая. Время еще есть, и ее можно заполнить. Во-первых, нужно крест-накрест провести два диаметра,



затем попробовать вписать квадрат. Всем элементам композиции должны быть найдены правильные симметричные ритмы. Гармония нужна. «...Очень ждала его возвращения, надеясь, что он будет ей опорой, поможет поставить детей на ноги. И известие о том, что муж долгое время находился в связи с другой женщиной, привело к краху ее надежды и мечтания. Трагизм ситуации усугублялся тем, что он и не собирался расставаться со второй семьей. Спокойная до того времени женщина стала нервной, вспыльчивой, раздражительной, чувствовала себя морально подавленной. С этими жалобами вынуждена была обратиться к невропатологу. После проведенного курса лечения больная почувствовала себя лучше. Работать не прекратила, так как на мужа надеяться больше не могла. Не имея образования, вынуждена была заниматься неквалифицированным трудом».

Конечно. В этом уголке есть место. Тут нужен треугольник. Все-таки я слушаю. Я спокоен. Я мужественен и прост в обращении. Да нет! Не такой! Я же говорил тебе, что такие треугольники здесь не годятся. Все испортил! Такой был красивый листок. Такая чудная окружность! Если не считать испорченной. Теперь нужно сначала. Эх ты! Балда! И все потому, что не слушаешь! Нет, слушаю. А я говорю, не слушаешь. А я говорю, слушаю. Вдох! Выдох! Вдох! Выдох! Стоп. Не годится. Неаккуратно. «Тому свидетельством языческий сенат. Сии дела не умирают». Ты упрекнула меня в пристрастии к цитатам. И была совершенно справедлива. Ты всегда справедлива. И поэтому я спокоен. И вообще все в порядке. Мне уже все тринтрава. Я весел, пот-тому, ч-что я весел. Штраус великий вальсмахер. Или вальсмастер? Нет, вальсмахер. А ты кто? П-пшел! Ты думаешь, я не слушаю? Вот я и обману тебя! Еще ка-а-ак с-слушаю! Ну-с?



«В силу склада характера с мужем окончательно порвала и в 1953 году родила второго ребенка. Но через год было покончено с двусмысленностью положения. От рака умер муж. Не слишком переживала по поводу этой утраты, так как он доставлял ей слишком много неприятностей, и с его кончиной она обрела спокойствие. Роды, последовавшие за этим, были относительно легкими. Седьмого ноября 1965 года, готовя праздничный обед, внезапно потеряла сознание. Дома в это время никого не было. Когда очнулась, чувствовала себя разбитой. О том, что с ней произошло, вспомнить не смогла. Правда, больная схватилась рукой за горячую сковородку, в результате чего получила серьезный ожог правой кисти. Дочь была госпитализирована в психиатрическую клинику, где с диагнозом эпилепсия лечилась около месяца. Лекарств, которыми ее лечили, вспомнить не могла».

Ну и что ж, что я набит цитатами? Должны же быть и у меня свои недостатки. Не могу же я быть таким паймальчиком. А тебе надо, ты такая! Да не ты, а вот эта, что стоит передо мной с выбившимися из-под белой шапочки волосами. Несешь ты, конечно, окоlesiцу. Ишь ты! «Окончательно порвала с мужем, но родила второго ребенка!» Это ж надо! Что бы могло значить это: «порвала с мужем, но родила...» И с двусмысленностью положения было, видите ли, покончено, только когда муж умер. Почему, собственно, с двусмысленностью? Но пятерку я тебе поставлю. С моими вопросами тебе, детка, не справиться. Ну да ладно! Гуляй! Я добрый. Не обижу.

Щелкает замок, приоткрывается дверь. Голова сестры: – Юрий Викторович! Подойдите к телефону.

Разрезаю плоскости. Разрезаю по плоскостям. Шумно отодвигаю кресло, порывисто встаю. Не страшно. Не боюсь.

– Извините, товарищи, я вынужден вас покинуть на минутку. А вы, Васильева, продумайте, в какой последовательности доложить дальше.

Нет, я и в самом деле не боюсь. Я оч-чень споко-оен. Медлен-но, постепен-но, в руках и в ногах появля-ется теплота-а и тя-яжесть. Дыхание станови-ится ро-овным, м-едленным и глубоким. Я оч-че-е-е-нь споко-оен! Ничто не трево-ожит ме-еня-я! Я споко-ен! Я спокоен!

Прокладывая путь в лабиринте девических и мальчишеских коленей, я добираюсь до двери. В коридоре сразу сворачиваю направо. Уф-ф! Теперь можно вздохнуть полной грудью. Конечно, не боюсь. Конечно, спокоен.

У двери магнитофонного кабинета лаборантка Лена. Как всегда, подтянута, одета с безупречным вкусом, лукаво улыбочива, не прочь втихую поцеловаться. Пальчиками едва-едва («Чао! Заплывай в свободную минутку») поведет и, встряхнув крашеной гривой, скроется в своем заповеднике.

Без трех минут одиннадцать.

На минутку! Открываю дверь кабинета. До телефона ходьбы двадцать секунд. Успею!

– Привет, моя радость!

– Здравствуй!

– Солнышко, почему такая томность в голосе?

– А-а!.. – обреченный взмах, и глаза опускаются вниз.

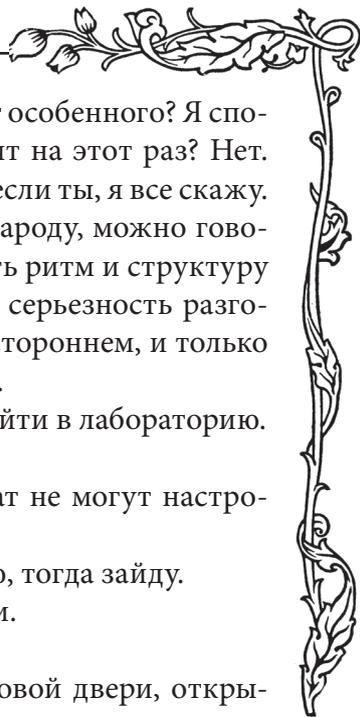
– Что опять?

– И не спрашивай! Так и останусь, наверное, без квартиры.

– Кто мешает?

– Те, кому она нужна.

– Значит, либо бить по башке юриспруденцией, либо смазывать, либо отказаться. Четвертого, как говорится, не дано.



Ну и что же, что я не боюсь? Что тут особенного? Я спокоен. Я оч-чень споко-оен! Кто звонит на этот раз? Нет. Опять не ты. Ну и не надо! Но все же, если ты, я все скажу. По телефону из комнаты, где полно народу, можно говорить что угодно. Можно так построить ритм и структуру фраз, что никому не придет в голову серьезность разговора. А можно говорить о чем-то постороннем, и только тот, на другом конце провода, поймет.

– Юрий Викторович, вам нужно зайти в лабораторию.
– Потом, потом!
– Очень срочно, там опять аппарат не могут настроить.

– Но я спешу к телефону. Поговорю, тогда зайду.
– Больной уже сидит с электродами.
– Пусть посидит.

Быстрыми шагами подхожу к боковой двери, открываю, делаю шаг через порог.

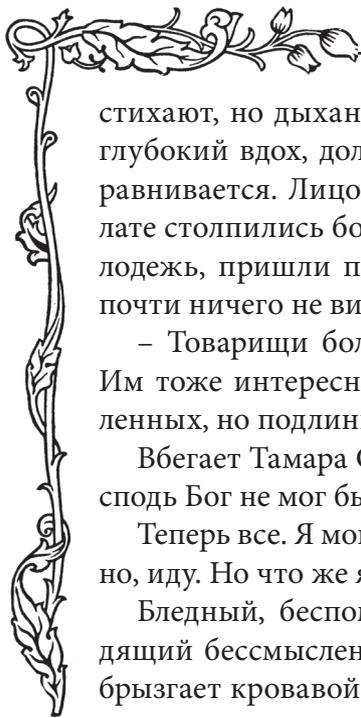
– Юрий Викторович! Скорее!
– В чем дело?

Задержки начинают мне надоедать. «Там» могут не выдержать столь долгого ожидания. Пересилив раздражение, я иду обратно и направляюсь в палату.

На полу рядом с койкой в судорогах вытянулся больной. У Моложаева припадок. Четвертый за последнюю неделю. Кто-то успел всунуть ему в рот полотенце, но поздно, из угла рта по щеке на пол течет густая струйка кровавой пены.

– Быстро Тамару Сергеевну! – оборачиваюсь я к стоящему у двери больному. – И чтобы магнезию в шприц набрала! И кордиамин!

Начинается фаза клонуса, и мы наклоняемся, чтобы придержать бьющуюся об пол голову. Эти две-три минуты всегда тянутся целую вечность. Наконец судороги



стихают, но дыхания пока нет. И вот короткий выдох и глубокий вдох, долгая пауза, и постепенно дыхание выравнивается. Лицо Моложаева медленно розовеет. В палате столпились больные и врачи. Врачи, в основном молодежь, пришли посмотреть. Из-за полосатых спин им почти ничего не видно.

– Товарищи больные! Дайте и врачам возможность! Им тоже интересно! Любопытство – одна из многочисленных, но подлинно человеческих привилегий!

Вбегают Тамара Сергеевна с двумя шприцами. Сам Господь Бог не мог бы скорее!

Теперь все. Я могу идти. И я иду. К телефону. Ну конечно, иду. Но что же я стою?..

Бледный, беспомощно разбрасывающий руки, поводящий бессмысленным взором, седой и старый человек брызгает кровавой слюной. Старая травма черепа. Двадцать два года тюрем и лагерей. А до этого – парторг особого отдела ЦК. После этого – реабилитация. И компенсация. Три тысячи двести рублей... Хватило на полдома в пригороде. И даже с небольшим садиком. «Ты не плачь, Вера. Доктор говорит, теперь мне гораздо лучше. Скоро весна, помидорки посадим. Да вот и Коленька с Иринкой обещали приехать».

И я иду к телефону. Теперь мне никто не мешает.

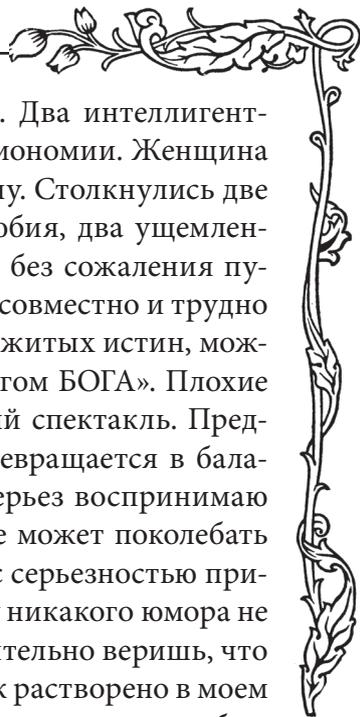
– И когда ты успеваешь напиваться?

Что-о? – Я не заметил, когда ты вошла в комнату, потому что забылся коротким сном. Я действительно выпил немного, и твой упрек кажется мне особенно обидным и несправедливым:

– Как ты смеешь об этом говорить?!

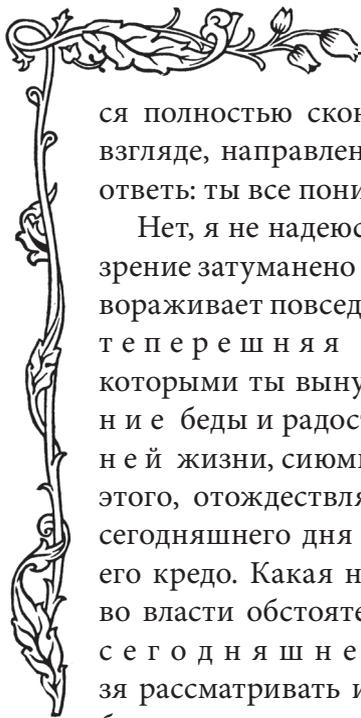
На лице у тебя тупое и безысходное озлобление.

– Ты противен мне!



Все дальнейшее скучно и грустно. Два интеллигентных человека бьют друг друга по физиономии. Женщина бьет мужчину, мужчина бьет женщину. Столкнулись две ничтожные воли, два глупых самолюбия, два ущемленных живота. Еще один шаг, и можно без сожаления пустить псу под хвост драгоценный дар совместно и трудно прожитых лет, совместно и трудно нажитых истин, можно убивать в себе «обретенного в другом БОГА». Плохие актеры играют гениально задуманный спектакль. Предлагавшийся в режиссуре апофеоз превращается в балаганный фарс. С одной стороны, я всерьез воспринимаю ссору, а с другой – уверен, что она не может поколебать наших отношений. И потому рядом с серьезностью притаился юмор. Твое отношение к этому никакого юмора не предполагает. В этот момент ты удивительно веришь, что все кончено. Мое отношение к тебе так растворено в моем отношении к самой жизни, ко всему миру, что мне безразличны все некрасивости. Для меня это не более чем издержки творчества. Но за десяток фраз мы платим неделями молчания. Неделями кажущегося бездействия, возмутительного для других ничегонеделания, пьянства и бесцельного шатания по улицам. И самому порой кажется, что угас внутри божественный огонь, что не вспыхнет уже искра, не забушует пламя в горниле мысли. Тогда приходит пора отчаяния, неверия в себя. Ибо неведомо сознанию, что где-то внутри, в тайной кухне творчества уже готовятся тончайшие и пикантнейшие соусы, которые в скором времени приправят гурманские пиршества на оргиях постижения.

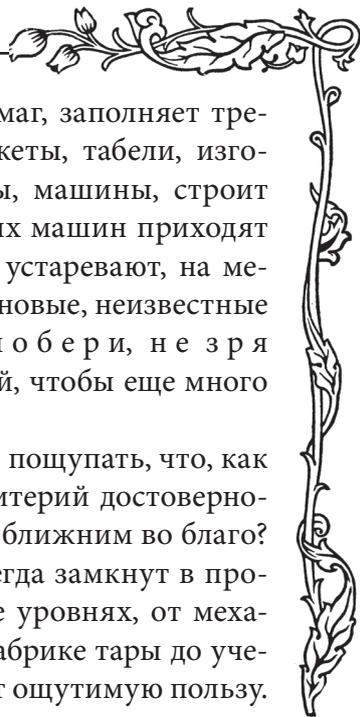
Ты стоишь передо мной. Я стою перед тобой. Посмотри мне в глаза и не торопись с ответом. Сосредоточься, представь мое лицо таким, каким оно тебе нравилось, и загляни туда, в самую глубину. И когда тебе удаст-



ся полностью сконцентрироваться на воспоминании о взгляде, направленном прямо тебе в глаза, только тогда ответь: ты все понимаешь?

Нет, я не надеюсь на утвердительный ответ, пока твое зрение затуманено бельмом суеты, пока тебя кружит и завораживает повседневность. Ты пока еще слепа. Ибо твоя те пер е ш н я я профессия, те пер е ш н и е люди, с которыми ты вынуждена общаться, твои те пер е ш н и е беды и радости существуют только в те пер е ш н е й жизни, сиюминутны и эфемерны. Но ты не видишь этого, отождествляешься со своей мотыльковой ролью сегодняшнего дня и из этого выводíš рамки для своего кредо. Какая непростительная ошибка! Ты целиком во власти обстоятельств! Нашу роль, разыгрываемую в с е г о д н я ш н е м спектакле, по размышлению нельзя рассматривать иначе, чем средство для поддержания биологического существования. Труд, связанный с этой ролью, похож на работу песочных часов – переверни их, и все начинается сначала. Главная опасность заключается в необычной наглядности плодов этого труда: на заработанные деньги можно купить красивую одежду, вкусно поесть, совершить путешествие. Более страшна иллюзия, что твой труд полезен и для других. Это иллюзия нравственной и этической ценности труда. Но вдумайся: со времени древнейших цивилизаций изменились только термины и способ передвижения. Сравни эпоху римских квадриг и эпоху космических полетов. Не так далеко время, когда человек полетит на другие планеты и освоит их. А экклезиастовская суть прежняя: суета сует и томление духа.

Упиваясь и опьяняясь непосредственными и очень наглядными результатами своего труда, производитель думает: вот и еще один день не зря прожит. По утрам он

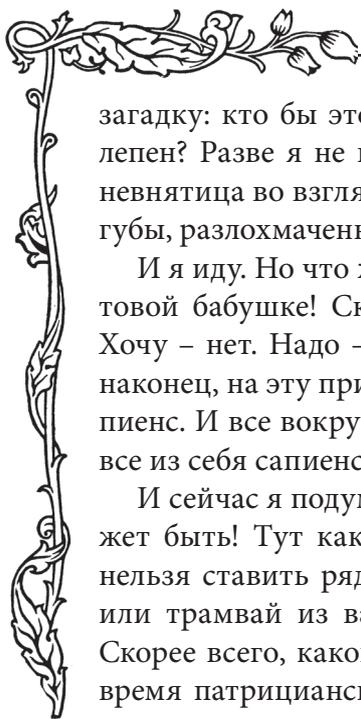


идет на службу, исписывает горы бумаг, заполняет требующиеся по статусу ведомости, анкеты, табели, изготавливает более совершенные приборы, машины, строит новые дома. Но на место одних умных машин приходят другие, архитектурные конструкции устаревают, на место побежденных болезней приходят новые, неизвестные и более страшные. А д е н ь , ч е р т п о б е р и , н е з р я п р о ж и т !!! Добыто много ценностей, чтобы еще много дней было прожито не хуже!

Бесконечность нельзя разглядеть и пощупать, что, как известно, единственно надежный критерий достоверности. Как же не прожить жизнь себе и ближним во благо? Велением судьбы человек раз и навсегда замкнут в пространстве повседневности, на всех ее уровнях, от механического работника конвейера на фабрике тары до ученого, чьи конкретные труды приносят ощутимую пользу. Человеку к о н к р е т н о й п о л ь з ы уготована почетная жизнь и почетные похороны. Христос, Галилей и другие интеллигентные великомученики истины так редки, что своим появлением в толпе ревнителей пользы ничего приятного не приносят.

Но теперь я хочу дать тебе вздохнуть после столь пространных и грустных размышлений. Я возвращаюсь в терзающую меня повседневность. Представь, что я облачился в тогу Вергилия, взял в руки посох и хочу быть твоим поводырем во время прогулки в потусторонний мир Абсолюта.

Ты ведь помнишь – я иду к телефону. Присмотрись только, как выразительны и точны мои движения. Ибо мысль моя в то же время тверда. Мысль моя занята весьма насущными проблемами. Например, за короткий промежуток времени в несколько минут я должен отгадать



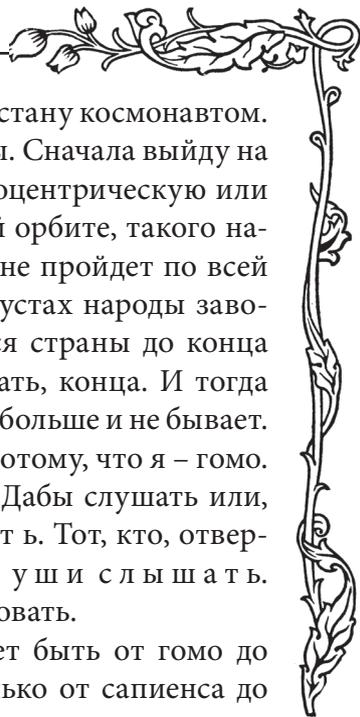
загадку: кто бы это мог звонить? Ну разве я не великолепен? Разве я не похож на кого-нибудь? Божественная невнятица во взгляде, нелепо растягивающиеся в улыбке губы, разлохмаченные во время суеты с большим волосы.

И я иду. Но что же я стою? Да идите все от меня к чертовой бабушке! Сказал – иду, значит, иду. Хочу – иду. Хочу – нет. Надо – иду. Не надо – стою. Имею я право, наконец, на эту привилегию? Ведь я – гомо. И притом сапиенс. И все вокруг такие из себя гомо-разгомо. И такие все из себя сапиенсы!

И сейчас я подумал: как это так? Гомо сапиенс. Не может быть! Тут какая-то ошибка. Эти два слова просто нельзя ставить рядом. Все равно, что жаркое из облака или трамвай из ваты. Кстати, кто первый это сказал? Скорее всего, какой-то римлянин в объятиях гетеры во время патрицианской попойки. Его взгляд остановился на упившемся друге Луции Юнии или Тите Спурии. Бессмысленные глаза друга выражали глубокую степень внутренней сосредоточенности. Говоря по-современному, Луций Юний или Тит Спурий находился в состоянии интраспекции. Ин вино – веритас! Гомо сапиенс! Экстра презенция нон эст экзистенция – эрго бибимус! Человек разумный!

Я, как, наверное, понятно, не настаиваю на исторической достоверности возникновения крылатого определения. Но дух не существует без плоти, а чем плоть жива – кто этого не знает!

Каждый думает о себе, что он – гомо. И непременно – сапиенс! Неподражаемо! Кем захотел, тем и стал!.. Захочу, например, – стану кузнецом своего счастья. Да чего там – своего! Всеобщего! Всенародного! Возьму в руки молот – во имя народа! Ох, чего накую! Впрочем, всю жизнь я что-нибудь такое потихонечку кую. Вот и выковал. До-



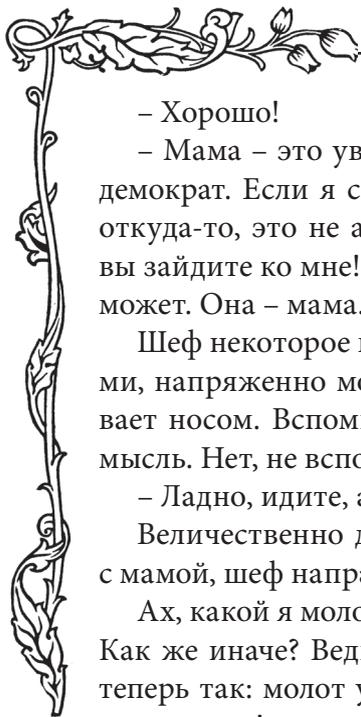
ковался, можно сказать. Или лучше я стану космонавтом. Мечта пионера. Увижу звездные миры. Сначала выйду на околоземную орбиту, потом на селеноцентрическую или какую там... И уж там, на этой самой орбите, такого на-творю, такого!! В общем, «слух обо мне пройдет по всей Руси великой...». С моим именем на устах народы завое-уют всеобщий мир, а развивающиеся страны до конца разовьются. До полного, можно сказать, конца. И тогда все скажут: он был такой сапиенс, что больше и не бывает.

Вот. А тут к телефону! И это тоже потому, что я – гомо. Имеющий ухо... да идет к телефону. Дабы слушать или, что менее вероятно, чтобы слышать. Тот, кто, отвер-зая уста, учил с горы Елеонской, имел уши слышать. Вот уж когда Понтию можно позавидовать.

А интересно, сколько шагов может быть от гомо до сапиенса! Может быть, столько, сколько от сапиенса до гомо? Меньше? Или больше? Может быть, столько, сколь-ко от женщины до человека и потом от человека до жен-щины?.. Или эти величины все же несоизмеримы? Нет, пора объявить, что учреждена премия (раз в сто больше Нобелевской) тому, кто откроет принцип измерения этих расстояний.

Наконец выхожу из палаты. В дверь отделения мед-ленно, грузно и торжественно всплывает шеф. Пришел все-таки. Черт бы его не видал! Еще один гомо. На лице улыбка. Надо же, скажите на милость! Надо бежать, а то сейчас остановит. Нет, поздно. Заметил. О Господи, добе-реть я сегодня до телефона?

- Юрий Викторович, зайдите ко мне!
- Хорошо, Александр Львович, я только подойду к те-лефону. Кажется, мама звонит.
- Ладно, но потом сразу!



– Хорошо!

– Мама – это уважительно. Надо подойти. Шеф у нас демократ. Если я скажу, что из нейрохирургии или еще откуда-то, это не аргумент. Тогда: «Ничего, подождут, а вы зайдите ко мне!..» А тут все в порядке. Мама ждать не может. Она – мама.

Шеф некоторое время гремит в кармане халата ключами, напряженно морщит лоб и выразительно пошмыгивает носом. Вспоминает. Потерял какую-то гениальную мысль. Нет, не вспомнил.

– Ладно, идите, а потом ко мне.

Величественно даровав мне возможность поговорить с мамой, шеф направляется в туалет. Гомо пошел писать.

Ах, какой я молодец! Отбоярился! И я бегу к телефону. Как же иначе? Ведь я же кузнец своего счастья. Значит, теперь так: молот у меня в руках, и я по наковальне, по наковальне!

Бегу!..

Влетев в боковой коридор, подбегаю к лестнице и, через две ступеньки, вверх – по наковальне – кую несколько минут дарового счастья. И сталкиваюсь с Алкой.

– Ординатор Левина, я вас приветствую!

– Здравствуй! Послушай! Да подожди же! – говорит она с неожиданным раздражением, видя, что я сейчас ускользну.

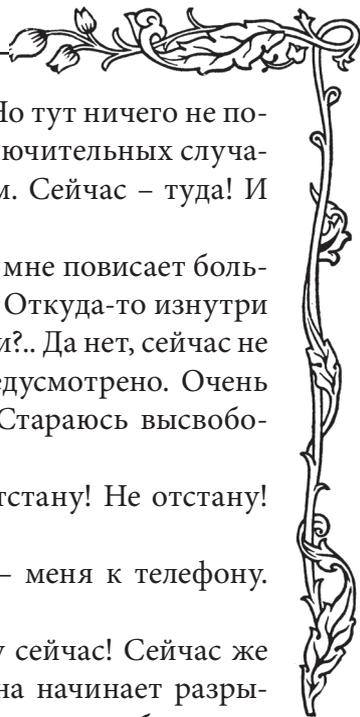
– Ну? Чего? – одышка от бега разыгрывается только теперь.

– Где ты был? Тебя по всей клинике искали!

– Потому что идиоты! Где же мне быть? Со студентами, конечно. А что?

– Тебе звонили из библиоколлектора. Там что-то новое.

– Ладно! Потом! – бросаю я на ходу.



Из библиоколлектора»! Знали бы! Но тут ничего не попишешь. На работу мне звонят в исключительных случаях. Что-то случилось. Но это – потом. Сейчас – туда! И скорее!

В коридоре женского отделения на мне повисает большая. Что же могло произойти с Галей? Откуда-то изнутри поднимается мутная тревога. Неужели?.. Да нет, сейчас не должно быть. Кажется, все было предусмотрено. Очень странно. «Из библиоколлектора»... Стараюсь высвободить правую руку. Это трудно.

– Доктор! Подождите! Нет, я не отстану! Не отстану! Скажите, когда? Когда же?!

– Минутку, дорогая, – говорю я, – меня к телефону. Сейчас поговорю, и...

– Нет!!! – взрывается она, – я хочу сейчас! Сейчас же скажите! Немедленно! Я хочу! – и она начинает разрывать на себе халат. Ей это удается на удивление быстро, и в следующую секунду всеобщему взору предстает великолепное молодое тело во всей прелестной и бесстыдной наготе. Девушка задыхается от шквальной силы аффекта. Глаза горят страшной, почти невозможной тоской по счастью. Захлебывающийся хрипловатый смех медленно растягивает пылающие щеки.

– Теперь не уйдешь! – шепчет она с невыразимым торжеством и бросается на меня. Но я разочаровываю красавицу, сделав обманное движение. Она пролетает мимо, и в этот миг ее подхватывают две сестры.

– Пустите! – отчаянно вопит она, протягивая ко мне свои изумительные руки, и почти сразу же разражается плачем, в котором столько безысходного горя!

И вот наконец я в ординаторской, где лежит трубка, наверное, с короткими гудками. Поднимаю: нет! Странно! Кто-то еще ждет.

– Аллеу-у!

– При-вет! Ты ж понимаешь!.. Что такое?

Это Стас. Что-то случилось. Тихая тоска сковывает меня. Значит – опять в одиночестве. Впрочем, это тоже неплохо.

– Что у тебя?

– Я хочу спросить. Пива я взял. Дюжину хватит?

– Сколько?.. Ты с ума сошел?

– В самый раз. Жду тебя на «консультацию». То бишь... на консилиум, что ли?

– Да, еще вот что. Шеф явился. Может задержать. Так что наберись терпения. Почитай что-нибудь, если я буду опаздывать.

– Ладно.

Значит, на сегодня кой-какого счастья можно сковать. Тут она ему и говорит: мол, поедешь ты, Дмитрий, по столбовой дороге... Нет!.. Какая, к черту, в пятнадцатом веке столбовая дорога! Оседлаешь, мол, своего белого коня и поедешь по какой-то там дороге. Может, влево, может, вправо. А может, прямо. Не в этом суть. Главное, что поедешь ты по этой самой дороге и будешь ехать три дня и три ночи. И в каждом дне, и в каждой ночи будет еще по три дня и по три ночи.

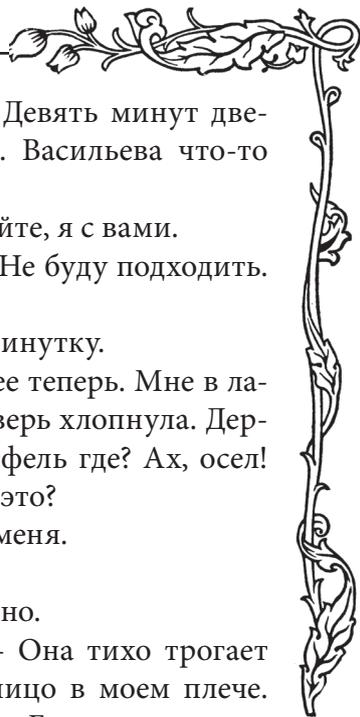
Гремит ключ. Дверь открывается. Марья Васильевна. Что-то ищет. Достала. Какой-то пакетик. Отсюда не видно. Белая шапочка, туго накрахмаленная. Круто накрахмаленная. Нет. Жестко накрахмаленная. Подошел ближе. Достает шприц. Магnezия. Интересно, кому.

– Это вы кому?

– Рахлевской.

– А-а...

Все понял? Ну и ладно. Что же ты сидишь, обормот? Тебе к шефу, а перед этим в лабораторию. Больной-то си-



дит. С электродами, между прочим. Девять минут двенадцатого. Там еще студенты сидят. Васильева что-то продумывает!

– Марья Васильевна, не захопывайте, я с вами.

Звонит телефон. Не меня. Звонит. Не буду подходить. Снимаю трубку.

– Клиника. Да. Кто? А–а... Кого? Минутку.

Слава богу, не меня. Вальку. Ищи ее теперь. Мне в лабораторию. Стоп. Дверь хлопнула? Дверь хлопнула. Дернул – закрыта. Ты не звонишь. Портфель где? Ах, осел! Пиво греется! Ничего не сделать. Кто это?

Давешняя больная останавливает меня.

– Простите. Вы не сердитесь?

– О, господи, Светонька, нет, конечно.

– На сумасшедших не сердятся. – Она тихо трогает меня за рукав и прячет виноватое лицо в моем плече. Плачет. Плечо промокло. Не отпускает. Гладит.

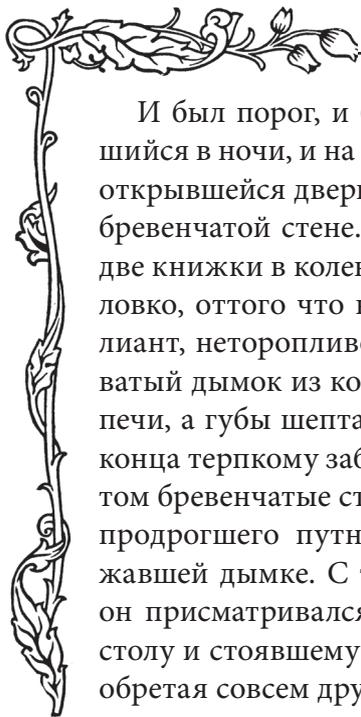
– Ну, Светонька! Ну будет!

Десять минут двенадцатого. Наконец освобождаюсь из объятий моей красавицы. Поедем по столб... нет... по большой дороге и будем ехать три дня и три ночи. И в каждом дне, и в каждой ночи будет еще по три дня и по три ночи. И на исходе третьей ночи на горизонте...

Собственной персоной навстречу мне идет Валька. Походка – самая что ни на есть деловая. В руке гордо развевающийся листок бумаги с крупным размашистым почерком. Симптом недурной. За шефом записывала цеу. Быстро отпустил, значит, торопится. Значит, и меня не задержит. Это приятно. Кую еще несколько минут счастья.

– Стой, Валентина!

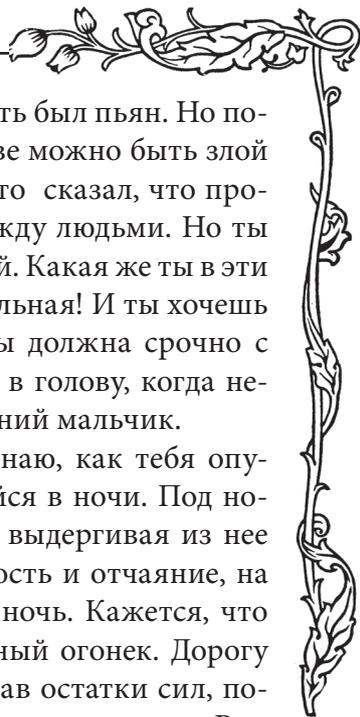
А потом все опять повторялось сначала.



И был порог, и были двери, и был путник, заплутавшийся в ночи, и на свечу дул внезапный сквозняк из приоткрывшейся двери, и черные тени оголтело метались по бревенчатой стене. И какие-то нелепые лежали на столе две книжки в коленкоре, и узловатые пальцы старика неловко, оттого что не гнулись, открывали огромный фолиант, неторопливо листали страницы. Тянулся сладковатый дымок из котелка, стоявшего на таганке в русской печи, а губы шептали мудреные слова, и казалось, несть конца терпкому забвению длинного осеннего вечера. Потом бревенчатые стены раздвигались, и то, что окружало продрогшего путника, медленно растворялось в набравшей дымке. С трудом разлепляя отяжелевшие веки, он присматривался к грубо сколоченному деревянному столу и стоявшему рядом табурету, и вдруг все исчезало, обретая совсем другие очертания. Выведя себя из сна, он вдруг понимал, что это не свеча, а настольная лампа, что дымок из таганка – это запах раскалившегося на кухне выкипевшего чайника, что грубо сколоченный деревянный табурет – его пиджак, упавший на пол, а шептание старика – не до конца выключенный репродуктор. Я – не путник, не продрогший, а наоборот, вспотевший и размлевший на своей тахте в неожиданно сковавшем меня тяжелом предвечернем сне. На лбу испарина, губы спеклись, и что-то тревожит. Что-то недоделано. Но что? Что-то я кому-то обещал, но не успел.

Тебя еще нет.

Дымок из таганка, бревенчатые стены, деревянный табурет, терпкое уютное тепло... Мечта!.. Тебя запутывает и околдовывает суета. Остановись! Посмотри мне в глаза и не торопись с ответом. Ты понимаешь происходящее? Вот сейчас, в эту минуту? Тебя опутывает суета злобы. Ты почему-то разозлилась на меня. Я не выучил урока. Я

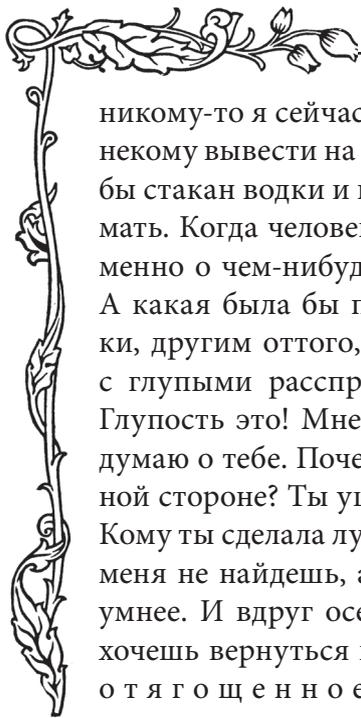


чему-то опять не соответствую. Я опять был пьян. Но посмотри мне в глаза. Не торопись. Разве можно быть злой на меня? Я же не такой, как все! Кто-то сказал, что проступок не ставит знака равенства между людьми. Но ты не можешь иначе. Ты ослеплена злобой. Какая же ты в эти минуты обыкновенная, какая тривиальная! И ты хочешь отомстить мне, должна изменить. Ты должна срочно с кем-то переспать. Это приходит тебе в голову, когда неожиданно появляется семнадцатилетний мальчик.

Я об этом ничего не знаю. Я не знаю, как тебя опутывает суета. Я путник, заплутавшийся в ночи. Под ногами хлюпает жидкая грязь, и я, еле выдергивая из нее набухшие сапоги, преодолевая усталость и отчаяние, на последнем дыхании бреду и бреду в ночь. Кажется, что нет-нет да и блеснет впереди радостный огонек. Дорогу неторопливо перебегают кошка. Собрав остатки сил, поворачиваюсь через левое плечо и останавливаюсь. Все. Больше не сделаю ни одного шага.

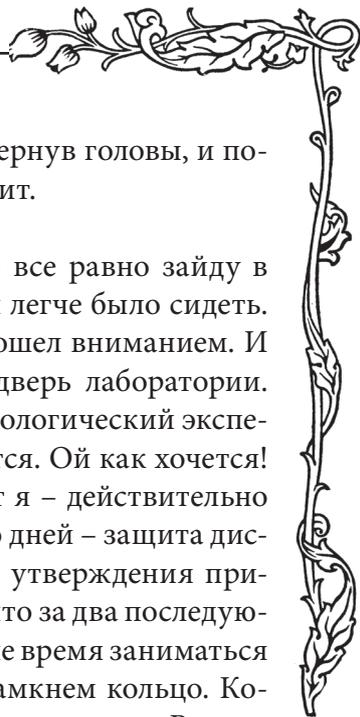
Полоснув по луже мокрым хвостом, кошка растворяется в контурах деревьев. Сырая мгла все гуще окутывает природу, глубже проникает в мозг, и кажется, что он тоже отсырел, как не убереженные от долгих осенних дождей дрова. Нет, это ты что-то перепутала. Ты тоже путница. Оттого и перепутала. Ты глупая путаница. Путница и путаница.

Неожиданность аллитерации на мгновение вызывает подобие усмешки на моем одеревеневшем лице, а потом опять все исчезает. Очень соблазнительно улечься сейчас в эту холодную хлюпь, зарыться в нее с головой, постараться не думать ни о чем. Я же путник. Я стараюсь сковать несколько минут счастья, быть может, перед самым концом. Ведь это простительно. Я путник, заплутавшийся в ночи, продрогший, несчастный и жалкий. И



никому-то я сейчас не нужен. Некому взять меня за руку, некому вывести на дорогу, которая приведет в тепло. Мне бы стакан водки и половинку луковицы. А потом – не думать. Когда человек хочет ни о чем не думать, он непременно о чем-нибудь думает. Ну? Это не издевательство? А какая была бы польза. И мне, и другим. Мне от водки, другим оттого, что я не мешал бы им, не приставал с глупыми расспросами, сколько, мол, до чего шагов. Глупость это! Мне бы водки и ни о чем не думать. А я думаю о тебе. Почему ты ищешь выход в противоположной стороне? Ты ушла от меня, чтобы найти свой выход. Кому ты сделала лучше? Кому из нас двоих? Выход ты без меня не найдешь, а я буду страдать. А страдание делает умнее. И вдруг осеняет: ты ушла, чтобы вернуться. Ты хочешь вернуться в другом качестве. Твое возвращение, о т я г о щ е н н о е предварительным уходом, наполнит новым содержанием дальнейшее. Слово не исчезает. Любовь не исчезает. Не исчезает рука. Ты никогда от меня не уйдешь, даже если уйдешь. Ты вернешься, чтобы взять меня за руку и заставить передвигать ноги. Ты ушла не к нему. Ты ушла от меня. Вот что смешно. Вот что трагично. Вот где настоящий фарс. Так называются некоторые, не называемые твои действия. Ты ищешь правду. Ты называешь это страхом одиночества. Он толкает тебя на сексуальное самоутверждение. Ты прячешь голову под крыло сексуальной самозащиты.

- О-гой, Валентина!
- Подожди, сейчас некогда.
- Ну как хочешь, – я поворачиваюсь и иду дальше, – а то к телефону тебя...
- Кто? – кричит она мне вслед.
- Мужчина с приятным голосом.



– Ах, оставь!

– Ах, не лукавь, – бросаю я, не повернув головы, и поэтому моей реплики она уже не слышит.

Может, лучше к шефу? Ладно. Но все равно зайду в лабораторию, посмотрю. Чтоб им там легче было сидеть. Будут знать, что я не забыл их, не обошел вниманием. И скучать им будет легче. Открываю дверь лаборатории. Володя сидит. Ему – что!.. У него психологический эксперимент. Ему надо. Ему в ученые хочется. Ой как хочется! И чего это людей тянет в науку?.. Вот я – действительно ученый. У меня стаж. Через несколько дней – защита диссертации. Я пока не знаю, что ждать утверждения придется почти два года. Я пока не знаю, что за два последующих года... Впрочем, не дело, вернее, не время заниматься предсказаниями. Успеется. Тогда и замкнем кольцо. Колечко связи времени. Эту чертову вольтову дугу. Володя еще молодой. Он еще тоже ничего не знает. И прошлого не знает. А я пока не знаю только будущего. Хотя смутные его очертания уже мерещатся где-то невдалеке.

Впрочем, может, он знает? Может, ему только этого и надо? Науки то есть? Прилежный. Личико розовенькое. Бредется, надо полагать, раз в неделю. Ишь, молчун! Странничку перевернул. Считает.

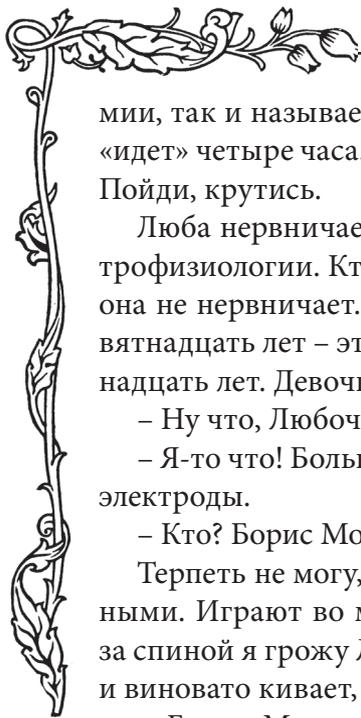
– Здравствуйте, Юрий Викторович.

Всегда полностью все буквы, ровно диктор, выговаривает. Никогда не скажет просто: здравствуйте.

– Здравствуйте, Владимир Николаевич. Сколько сегодня на обследовании?

– Как всегда, двое.

Мог бы и не спрашивать. Всегда двое. Меньше нельзя. Больше лаборатория не пропустит. Не успеют. Состояние крови больного испытывают на лягушке. У них, в биохимии



мии, так и называется: «идет лягушка». Так вот, лягушка «идет» четыре часа. А рабочий день у лаборантов – шесть. Пойди, крутись.

Люба нервничает. Любочка – моя лаборантка по электрофизиологии. Кто? Люба нервничает? Ерунда! Никогда она не нервничает. Ей все трын-трава. Ей бы замуж. Девятнадцать лет – это вам не фунт изюму. Это вам – девятнадцать лет. Девочка в соку.

– Ну что, Любочка, притомилась?

– Я-то что! Больной устал. Все время порывается снять электроды.

– Кто? Борис Моисеевич?

Терпеть не могу, когда больных в лицо называет больными. Играют во мне земские дедовские гены. Поэтому за спиной я грожу Любочке кулаком. Она поняла, быстро и виновато кивает, моргая глазками.

– Борис Моисеевич! Что вы, голубчик! Всегда такой разумный, рассудительный. Нигде не жмет, не давит? – для видимости я поправляю на его голове шлем с электродами, хотя и так видно, что наложен он безусловно.

– Нет, – он беспокойно ерзает в кресле, – Юрий Викторович, что вы со мной делаете?

– Исследуем, милый. Чтобы лучше знать вашу болезнь и лучше лечить.

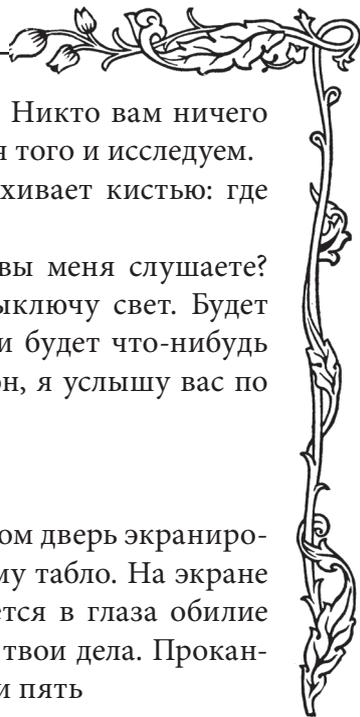
– Да никакой я не больной. Здоров я.

– Ну, как же здоров? Не здоров, милый, не здоров.

– Здоров я. А вы этим электричеством болезнь мне делаете.

– Как это?

– Подключили со всех сторон. Уж не знаешь, куда деваться. И днем, и ночью. И днем, и ночью. Только ляжешь, а они тут как тут. Шепчут. Обзывают по-всякому. Говорят, все равно пойдешь под суд.



– Вот видите, милый, это болезнь. Никто вам ничего такого не говорит. Надо лечиться. Для того и исследуем.

Борис Моисеевич обреченно взмахивает кистью: где вам понять. Делайте, как знаете.

– Значит, так. Борис Моисеевич, вы меня слушаете? Сейчас я закрою дверь кабины и выключу свет. Будет темно, но вы ничего не бойтесь. Если будет что-нибудь беспокоить, скажите в этот микрофон, я услышу вас по селектору. Поняли?

– Понял.

– И не двигайтесь.

Закрываю обитую листовым железом дверь экранированной кабины, сажусь к освещенному табло. На экране мелькают голубенькие точки. Бросается в глаза обилие патологии. Плохи, Борис Моисеевич, твои дела. Прокантуешься ты у нас месяца четыре, а то и пять

– Любочка, записывай, – говорю я шепотом и плавно включаю кинокамеру

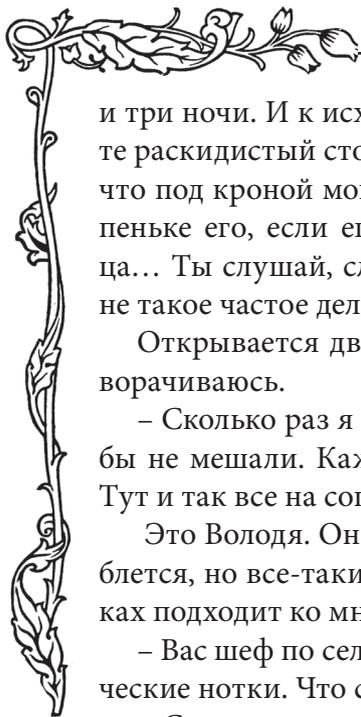
Любочка хватает ручку, нумерует страницу журнала. Раньше не могла. На охоту ехать – собак кормить.

– Слушаешь? Амплитуда сто двадцать. Мозаика довольно динамичная, по всем полям отмечают...

Время от времени включаю кинокамеру. Пленка выхватывает трехсекундные фрагменты движения на экране осциллографа. От массивного прибора пышет жаром. До сих пор не могут переделать на транзисторы. Да, Борис Моисеевич, все подтверждается.

– Любочка, тебе волосы не мешают?

Она смущенно откидывает назад свои пышные каштановые волосы, и открывается нежная женская шейка. Любочка – красивый ребенок. Глупый ребенок. Сегодня мы со Стасом поедem по столб... тьфу ты черт, опять... по широкой дороге на белом коне. И будем ехать три дня



и три ночи. И к исходу третьей ночи увидим на горизонте раскидистый столетний дуб. Ветви его так разрослись, что под кроной могла бы уместиться целая деревня, а на пеньке его, если его спилить, поместится целая конница... Ты слушай, слушай. Сказочки по нашим временам не такое частое дело. Да и рассказать некому.

Открывается дверь лаборатории. С негодованием поворачиваюсь.

– Сколько раз я просил, когда идет исследование, чтобы не мешали. Каждый звук дает на экране артефакты. Тут и так все на соплях!

Это Володя. Он озадачен. Несколько мгновений колеблется, но все-таки решается. Прикрыв дверь, на цыпочках подходит ко мне.

– Вас шеф по селектору спрашивает. В голосе металлические нотки. Что сказать?

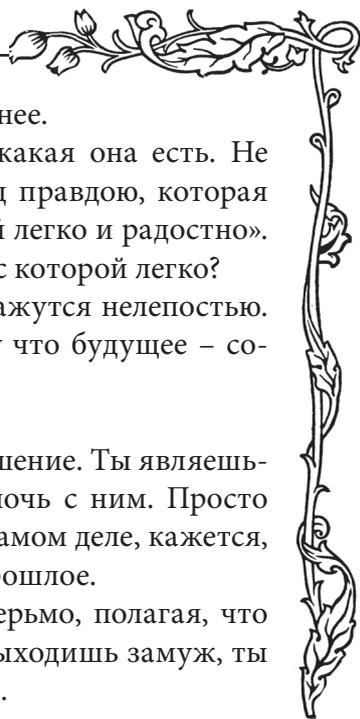
– Скажите, что я смотрю больного. Отложить не могу – больной напряжен и может в любую минуту сорвать электроды.

Володя идет к двери.

– Скажите, минуты через три закончу, – говорю я почти в полный голос.

Он молча кивает.

Ишь ты! «В голосе металлические нотки»! Привычные мы. Стоп. Что-то опять тревожным уколом тихо вонзается в верхний угол живота. Что же это? Ах да! Звонила Галя. Такой уравновешенный человечек и вдруг звонит «из библиоколлектора». Тревога не унимается, а растет все больше. Галя попала в беду. Или кто-то из ее близких. Если из близких – полбеды, если сама – полторы беды. Но если в беде виноват я, целых три беды. Одна с ней, одна со мной, одна в гинекологическом кресле. Шума не будет. Галя – приличный человек. Галю жалко. Что же делать?



– Любочка, даю звонок. Внимательнее.

Да, я сумею «принять ее такую, какая она есть. Не сумею – умру. Но не склонюсь перед правдою, которая только потому правда, что жить с ней легко и радостно». Какая же, спрашивается, это правда, с которой легко?

И сами эти слова в который раз кажутся нелепостью. Мол, нет никакого будущего, потому что будущее – совсем не будущее, а прошлое.

Так и получается.

Вот так ты сообщаешь мне свое решение. Ты являешься утром и говоришь, что провела ночь с ним. Просто провела ночь с ним. И теперь мне, в самом деле, кажется, что необозримое будущее – только прошлое.

Ты вываливаешь мне на голову дерьмо, полагая, что это все окончательно объяснит. Ты выходишь замуж, ты под крылом сексуальной самозащиты.

Но меня не так-то просто сбить с толку.

Я стою на месте в этой хлюпающей грязи. Вокруг ночь, сапоги мои безнадежно завязли, а мозг отсырел, как дрова после долгих осенних дождей. И мысли у меня такие же медленные, сырые и холодные. У меня истерика. Я дико визжу, не выдерживаю собственного крика, внутри лопаются тонкие сосуды, и моя кровь покидает свое русло. Я обескровлен, уже мертв, мое тело нешуточно остывает. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Это оттого, что я так дико, по-свинячьи, визжу. На самом деле я благородно и тупо молчу. Ничего не понимаю. Я не понимаю, что ты пришла с отчаянной надеждой. С замиранием сердца ты ждешь, что я взорвусь, заору на тебя, может быть, даже побью, запрещаю выходить замуж, запрю в комнате и не выпущу, пока ты не одумаешься. Что и одумываться, может, не нужно, что ты и так, вся как есть – готовенькая ... Нужно только чуть-чуть намекнуть.

Но я не догадываюсь, что должен сделать одно легкое движение руки. Я молчу. Я уверовал, что потерял тебя. Я не ожидал такого предательства. У меня шок. Ты переоценила мою находчивость.

Теперь меня занимает мысль: как бы благороднее доиграть спектакль. Поэтому, разлепив губы, я произношу:

– Ты могла бы предупредить меня раньше. До того, как сделала, а не после.

Визжа внутри себя, я совершенно туп и в твоих залитых полных слез отчаянных серых глазах на бледном лице я не вижу ничего, кроме осатанелого нетерпения. И я помогаю уложить твои вещи. Я не знаю, с какой надеждой ты пришла.

– У меня не было выбора. Вчера мы поехали к нему, пили вино, а потом он слишком активно пошел в атаку ...

– Ты ему сказала, что любишь его?

– Да.

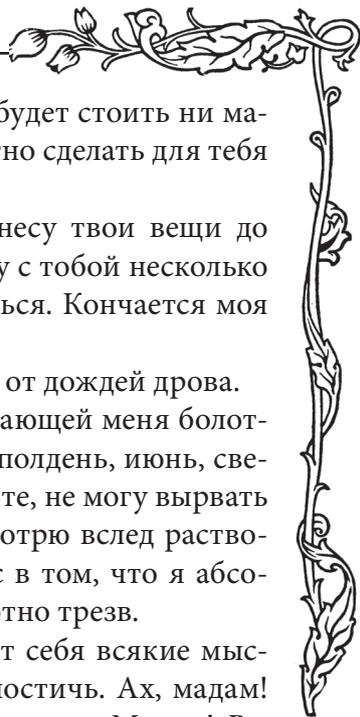
Все окончательно запутывается. Моя мысль по-прежнему не работает. Только гораздо позже я вспомню, почему твои отношения с ним были порваны два года назад. Я забыл простое правило: разбитую чашку не склеивают. И я верю каждому твоему слову.

Происходит тяжелая сцена прощания, но я до конца выдерживаю благородство тона и манер. Фразы, которые мне удастся свить в липкие клочковатые пучки, одна нелепее другой.

– Я очень прошу тебя, – повторяю я вежливо и чуть-чуть печально, – пожалуйста, никогда не приходи, мне это будет слишком тяжело.

Ты молча киваешь головой.

Выдержав приличествующую моменту паузу, снова слепляю несколько слов-уродцев: – Да, вот еще что. Если когда-нибудь тебе будет нужна моя помощь, ты можешь...



без всякого стеснения... Тебе это не будет стоить ни малейшего унижения, а мне будет приятно сделать для тебя что-нибудь.

Потом мы спускаемся вниз, и я несу твои вещи до троллейбуса. Но не выдерживаю и еду с тобой несколько остановок. Я не могу от тебя оторваться. Кончается моя жизнь. Навсегда. Навеки.

Мозг отсырел, как не убереженные от дождей дрова.

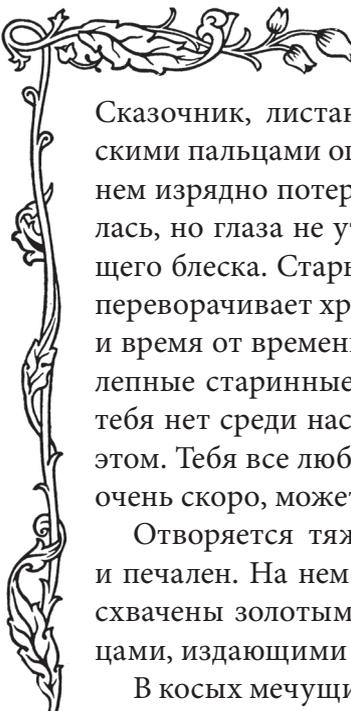
Я не могу вырвать ноги из засасывающей меня болотной жижи. Троллейбус ушел. Сейчас полдень, июнь, светит солнце. Но я стою в полной темноте, не могу вырвать ноги из жидкой холодной грязи и смотрю вслед растворившейся в тумане кошке. Весь ужас в том, что я абсолютно, то есть ужасающе и бесповоротно трезв.

Я больше не рассуждаю. Я гоню от себя всякие мысли, я ничего не в состоянии сейчас постичь. Ах, мадам! Светская беседа – слишком мелкая заводь. Мадам! Вы хотели причинить мне боль, пожалуйста – вот он я! Ничего у вас не вышло. Вы ничего не знали. Я так же весел и остроумен, как прежде, как всегда. Мы присутствуем на прекрасном и высоком спектакле, мадам! Вы не смотрите, что у меня такой вид! Я просто чуточку отсырел и устал. Погодите немного, я переоденусь, выпью водки и приду в себя. Тогда увидите, каким я буду молодцом!

Мадам! Вы на балу? Вы пьете сейчас шампанское? Вы что-то празднуете?

Мне тоже тепло, мадам. Я в своей бревенчатой избушке, которая мне вчера приснилась. Я сейчас в самом деле в ней. Здесь уютно и тепло. Здесь есть водка и сколько угодно луку.

И есть Галя. Здесь есть старый разбитый рояль. Ты тоже здесь. Ты – Коломбина. И здесь, в этой маленькой комнатке, со мной твои любимые герои. Вот благородный



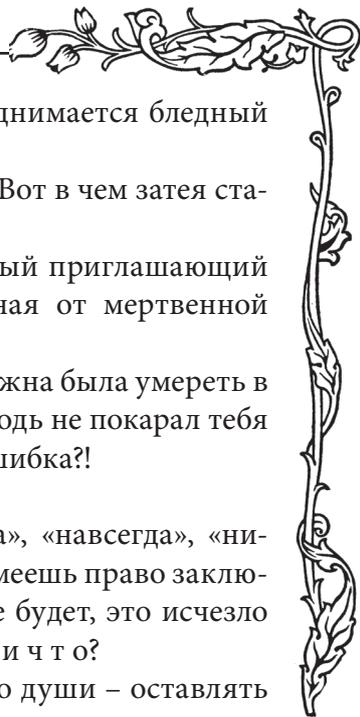
Сказочник, листающий своими узловатыми подагрическими пальцами огромный фолиант. Бархатная куртка на нем изрядно потерлась, голова оплешивела, спина согнулась, но глаза не утратили своего чудного завораживающего блеска. Старый мудрец, лукаво оглядывая всех нас, переворачивает хрустящие страницы потрепанной книги и время от времени предлагает нам поглядеть на великолепные старинные гравюры. И хотя в действительности тебя нет среди нас, на самом деле ты здесь. Все знают об этом. Тебя все любят и верят, что ты ушла ненадолго, что очень скоро, может быть, сейчас, ты придешь.

Отворяется тяжелая дверь. Входит Мим. Он бледен и печален. На нем ярко-красное трико, длинные волосы схвачены золотым обручем. Он весь увешан плоскогубцами, издающими протяжный мучительный стон ...

В косых мечущихся лучах прожекторов, в черном трико, с набеленным лицом, заламывая руки и извиваясь, запрокидывая голову, припадая то на одно колено, то на другое, падая и выгибаясь в стремительной дуге, вьется по сцене тоненькая девушка. Ее ритуальная пантомима, исполняемая в полной тишине, означает: «Мой милый разлюбил меня! Я больше не нужна ему!» Это гротеск. А гротеск спасает от дурнотонности. Гротеск – как блестящий никелем шар Паскаля, из которого равномерно во все стороны бьют струи отчаяния.

Появляется Пьеро. Он в шутовском колпаке и в безвкусном голубом домино.

Девушка уже готова упасть без сил, Пьеро подхватывает ее и, обняв за талию, уводит за кулисы. Врывается брызжащий весельем, торжествующим сарказмом Арлекин. Музыка грянула шейк. Арлекин пляшет в вихре разноцветных бликов. Вдруг все смолкает. Арлекин в испуге спотыкается, падает, потом вскакивает и убегает.



На сцену медленно и печально поднимается бледный Мим. Глаза его мрачно мерцают.

Теперь, кажется, все прояснилось. Вот в чем затея старого Сказочника.

Мим делает Коломбине царственный приглашающий жест, но она неподвижна. Прозрачная от мертвенной бледности, она стоит, опустив глаза.

Не может быть! Как же это? Ты должна была умереть в день и час твоей измены! Как же Господь не покарал тебя на месте? Может, тут какая-нибудь ошибка?!

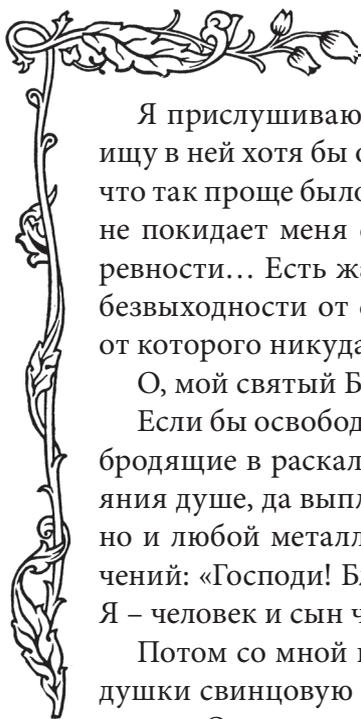
Что, собственно, такое – «никогда», «навсегда», «ничто»? Где та граница, после которой имеешь право заключить: этого больше **н и к о г д а** не будет, это исчезло **н а в с е г д а**, это превратилось в **н и ч т о**?

Разве не самое несчастное свойство души – оставлять хоть капельку надежды? Разве не самое наивное и смешное ее свойство? А может быть, это самое святое свойство души?

Итак, «никогда», «навсегда», «ничто» – варианты бесконечности. И это обобщенные категории ее фрагментарности. Ведь бесконечность в каких-то проявлениях своих фрагментарна...

Теперь каждое утро, открывая глаза, я задаю себе один и тот же, в сущности, нелепый вопрос: я жив? При этом я смотрю в открытую балконную дверь и удивляюсь еще больше. Она и вчера была открыта!.. Неужели я просто уснул? Что же, разве я был настолько пьян, что забыл сделать **э т о**?

Натужно вспоминая вчерашнее, я почти убеждаю себя, что совершенно определенно вчера принял решение прыгнуть в эту **о б о б щ е н н у ю** **к а т е г о р и ю** **ф р а г м е н т а р н о с т и**.



Я прислушиваюсь к мучительной тоске и с надеждой ищу в ней хотя бы оттенок ревности. С надеждой, потому что так проще было бы объяснить весь тот ужас, который не покидает меня со времени твоего ухода. Но нет ее – ревности... Есть жалость к тебе и к себе, есть ощущение безвыходности от страшной утраты и – самообвинение, от которого никуда не спрятаться.

О, мой святой Боже! Спаси меня и помоги!

Если бы освободить все дымные свивающиеся клубки, бродящие в раскаленной от любви и замерзшей от отчаяния душе, да выплеснуть их наружу – не только бумага, но и любой металл горел бы от начертанных на нем речений: «Господи! Благослови меня! Благослови и прости! Я – человек и сын человеческий!»

Потом со мной происходит вот что: я отрываю от подушки свинцовую голову. Около трех часов утра. Очень душно. Откинув простыни, рядом тихонько дышит Галя. Нежная, красивая, любящая Галя. Галя не спит. Галя почти никогда не спит. Галя видит и чувствует, что со мной происходит, Галя все понимает. Благородная милая Галя.

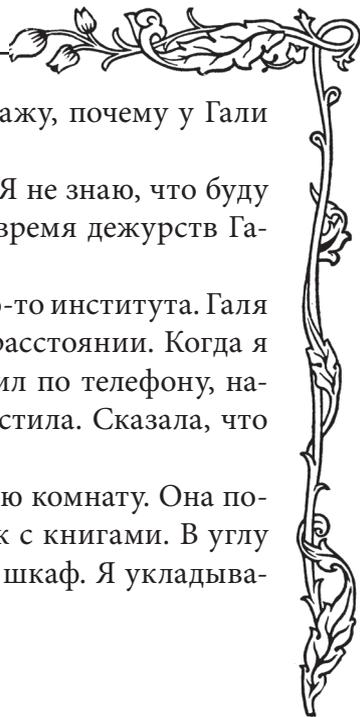
Сквозь светлые занавеси брезжит рассвет. Легкое дуновение приносит кусочек прохлады. Протянув руку, я глажу шелковую упругую кожу. Галя порывисто подается ко мне. Галя ничего не говорит, ни о чем не спрашивает. Галя все схватывает на лету, молча. Протянув руку за спинку деревянной кровати, она крутит ручку транзистора. Передают последние известия. Она тотчас выключает.

Затекли мышцы правой руки и ноги. Я встаю и босиком хожу по жаркому ночному ковру. Не слетевшая дремота швыряет меня от стула к стулу, потом к шкафу.

– Осторожнее!

Действительно, надо аккуратнее.

Польский сервант заставлен хрусталем.



Может быть, в другой раз я расскажу, почему у Гали так много хрусталя.

Галина мама сейчас на дежурстве. Я не знаю, что буду не раз приходить в эту квартиру во время дежурств Галиной мамы.

У Гали есть жених, аспирант какого-то института. Галя называет его «рыбчик» и держит на расстоянии. Когда я пришел к ней вчера днем, он позвонил по телефону, спрашивался в гости, но Галя не допустила. Сказала, что уходит.

Пошатаваясь, я выхожу в соседнюю комнату. Она поменьше. Здесь стоит тахта и шкафчик с книгами. В углу напротив окна – огромный бельевой шкаф. Я укладываюсь на тахту.

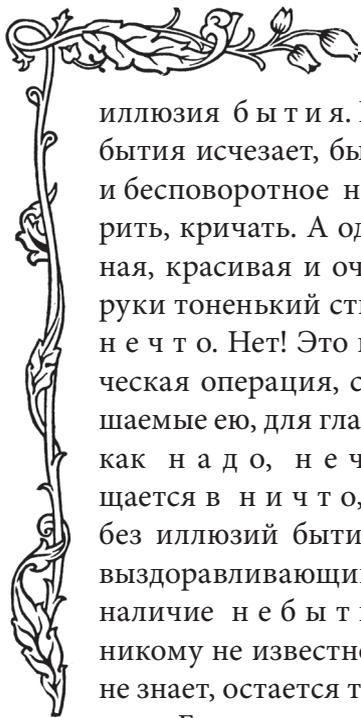
– Куда ты ушел? Иди сюда.

– Сейчас.

Я только немного вспомню. Что-то нужно делать. Опять начинается подсознательная деятельность. Сегодня утро двенадцатого июня, понедельник.

О причинах молчания не говорят. Иногда о них думают. Но чаще их просто чувствуют. Есть не что. Есть ничто. Все это о бесконечности. Третий месяц я блуждаю в ее потемках. Что страшнее? Черт ногу сломит. Человек – голову.

Это не что страшнее, чем ничто. Это то самое нечто, которое однажды появляется в какую-нибудь рождественскую ночь – для того, чтобы уже не исчезнуть, а поселиться в д е б р я х т и ш и н ы и оттуда напомнить о себе тоненькими болезненными уколами твоему ничто. Ибо без этого не что твое ничто имеет другое название, тогда оно что-то. В этом уже нет леденящего ужаса пустоты и безысходности. И существует



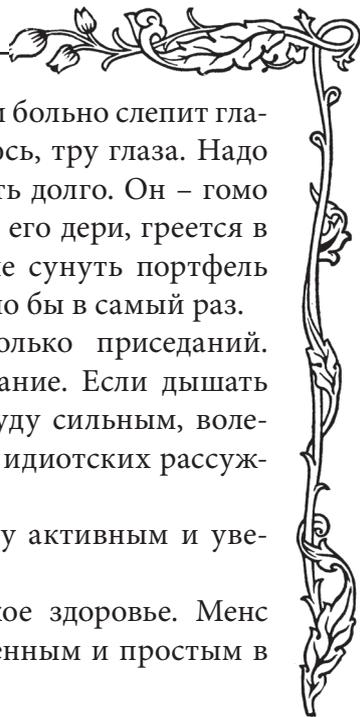
иллюзия бытия. Но когда поселяется нечто, иллюзия бытия исчезает, бытие превращается в неопровержимое и бесповоротное ничто. Это ничто заставляет говорить, кричать. А однажды появляется молодая, энергичная, красивая и очень жизнелюбивая женщина, берет в руки тоненький стилет и элегантно всаживает его в твоё нечто. Нет! Это не убийство! Это ювелирная хирургическая операция, совсем бескровная. Изменения, совершаемые ею, для глаза незаметны, но все сразу становится, как надо, нечто безболезненно исчезает, возвращается в ничто, но существенно модернизированное: без иллюзий бытия. Освобожденный от этих иллюзий выздоравливающий пациент совершенно ясно осознает наличие небытия, в котором когда-то было какое-то никому не известное нечто. Что именно было, он уже не знает, остается только ощущение, что было что-то, а что – Бог ведает.

И тогда наступает великое молчание и великое бездействие...

– Любочка, даю звонок, внимательнее!

На экране осциллографа возникает запись четкой патологической реакции головного мозга Бориса Моисеевича. Любочка быстро, стараясь ничего не пропустить, записывает данные под мою диктовку. Позже, когда будет проявлена киноплёнка, мы нанесем данные на график. Но и сейчас картина предельно ясна. Будешь ты у нас, Борис Моисеевич, долго лечиться. Хотим тебя вылечить. Хотим, не хотим, какая разница. На улице февраль. Гнусный, слякотный февраль. Да, при таком феврале можно плакать и без чернил.

Двадцать восемь минут двенадцатого. Все. Пора к шефу. Когда я открываю дверь в коридор, после затем-



ненного кабинета тусклый день ярко и больно слепит глаза. На несколько секунд замираюсь, тру глаза. Надо идти. Гомо ждет. Гомо не может ждать долго. Он – гомо гомониссимус клиники. А пиво, черт его дери, греется в портфеле. Что бы догадаться, раньше сунуть портфель между оконными рамами. Теперь было бы в самый раз.

Взмахиваю руками, делаю несколько приседаний. Главное в жизни рациональное дыхание. Если дышать рационально, все будет удаваться. Буду сильным, волевым, и никаких рефлексий. Никаких идиотских рассуждений о всяких нечто и ничто.

Буду подтянутым и сильным. Буду активным и уверенным в себе.

Рациональное дыхание, физическое здоровье. Менс сана ин корпоре сано. Буду мужественным и простым в обращении.

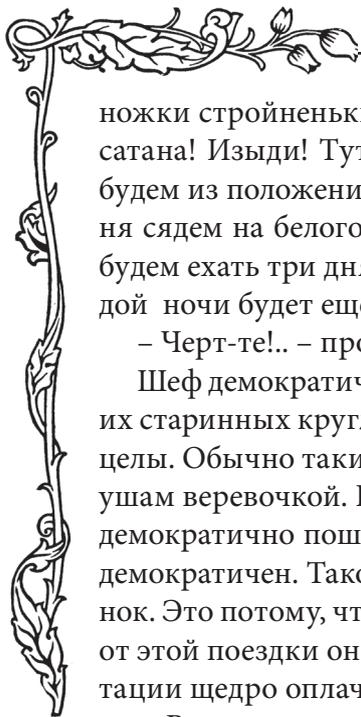
В кабинет шефа вхожу, надев деловую и бодрую физиономию. Он сидит, притворно углубившись в какую-то бумагу. Как же! Гомо сапиенс! Должен быть во всем представительным, соответствовать роли, которую играет в нашем фарсе. На меня ноль внимания. А где же металлические нотки? Впрочем, надо знать шефа. Сначала может обозвать последними словами, а через пять минут сделать вид, что ничего не произошло.

Притворно машинально:

– Садитесь.

Продолжает сосредоточенно изучать бумагу. В бумаге от силы восемь строк машинописи. Издали различаю характерную подпись декана.

Любочка – прелестный ребенок. Халат распахнулся – какая грудь под свитером обозначилась! Да-с! Девятнадцать лет – не фунт изюму. Это – девятнадцать лет. И



ножки стройненькие. И вообще. Нет!! Цыпленок! Прочь, сатана! Изыди! Тут с Галей неизвестно что... Э-эх!.. Как будем из положения выходить? Сегодня-то ладно. Сегодня сядем на белого коня и поедем по большой дороге. И будем ехать три дня и три ночи. И в каждом дне, и в каждой ночи будет еще три дня и три ночи.

– Черт-те!.. – произносят губы шефа.

Шеф демократично смотрит на меня сквозь стекла своих старинных круглых очков. Странно, что дужки на них целы. Обычно такие очки бабуси и дедуси подвязывают к ушам веревочкой. Шеф смотрит на часы. Дергает головой, демократично пошмыгивает носом. Сегодня он вообще демократичен. Такой у него сегодня поведенческий рисунок. Это потому, что ему явно куда-то надо ехать. Причем от этой поездки он ждет чего-то приятного. Его консультации щедро оплачиваются.

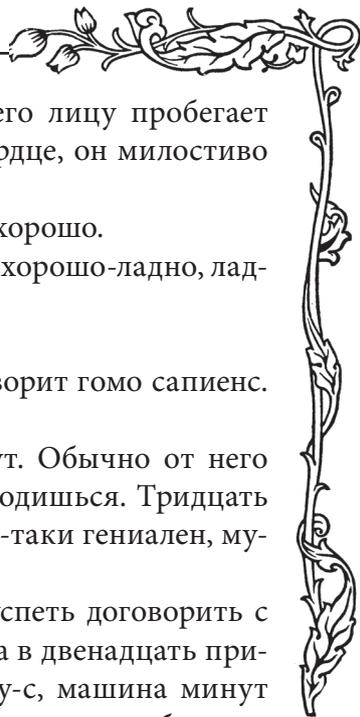
– Возьмите, пожалуйста, это, – он демократично, но безразлично протягивает мне листок с подписью декана, дайте ответ не позже завтрашнего дня. Перед тем как отправить, принесите мне на прочтение.

– Но у вас же завтра лекция. Вам некогда будет.

– Ах да!.. Ну, тогда вечером принесите мне домой.

Фьюить! Вот это номер! Что же делать? Вечер-то у меня...того-с... Как же быть? Ищу соломоново решение. Сказать, что день рождения у приятеля? Не то. Я явно растерян, но смотрю в окно, показывая всем своим видом, что только и занят тем, как бы лучше выполнить поручение. Для этого я бросаю в окно сосредоточенный взгляд. Нет, придется признаться. В конце концов, я могу дать ему понять, что и у меня личная жизнь существует.

– Хорошо, я сделаю это прямо сейчас и пришлю вам с Любочкой. Понимаете, вечер у меня, честно говоря, занят.



Все выполнено тактично, но по его лицу пробегает тень недовольства. Как бы скрепя сердце, он милостиво соглашается на мой вариант:

– Ну ладно. Хорошо-ладно. Ладно-хорошо.

Это у него такая манера говорить: «хорошо-ладно, ладно-хорошо».

– Я могу идти?

– Пожалуйста, – демократично говорит гомо сапиенс. Ба-альшой гомо, ба-льшой сапиенс.

Поразительно! Всего восемь минут. Обычно от него меньше чем за полтора часа не освободишься. Тридцать девять минут двенадцатого. Как я все-таки гениален, мужественен и прост в обращении.

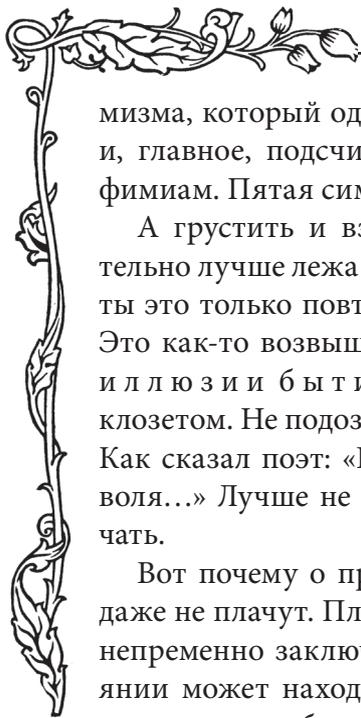
Возвращаюсь к студентам. Надо успеть договорить с Васильевой о больном, дать задание, а в двенадцать придет машина из почечного центра. Ну-с, машина минут двадцать подождет, пока я прогляжу истории болезни своего ординатора.

Тогда – темп, темп, темп!

...И тогда наступает великое молчание. И великое бездействие, в котором есть только тысячи лет назад произнесенные мысли: суета сует и томление духа. В е л и к о м у м о л ч а н и ю не присущи суетные надежды, питающиеся каким-то н е ч т о. В е л и к о е м о л ч а н и е знает: с в е р ш е н и я н е б у д е т.

О! Женщина!

Ты верно рассудила: женщина ближе к природе. Жить тебе и твоим детям. Твоя жизнь должна быть крепка, как противоатомный заслон. А больной должен быть прооперирован. Все ненужное ампутировать, не дать распространиться заразе. Всепобеждающий мажор продолжающейся жизни. Триумфальное шествие животного опти-



мизма, который один только и можно взвесить, оценить и, главное, подсчитать. Оркестровое тутти: курум ему фимиам. Пятая симфония Чайковского.

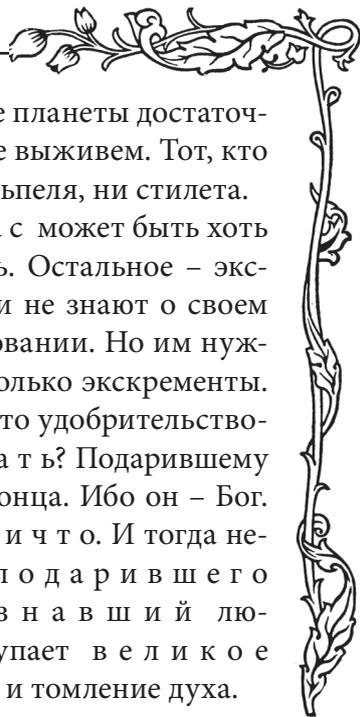
А грустить и вздыхать о бессмысленности действительно лучше лежа в ванне. Ты правильно заметила. Хотя ты это только повторила. А вообще вздыхать – красиво. Это как-то возвышает. Тебя над другими. Живущими в и л л ю з и и б ы т и я. Пользующимися ванной и теплым клозетом. Не подозревающими бессмысленности жизни.. Как сказал поэт: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Лучше не скажешь. Лучше можно только смолчать.

Вот почему о причинах молчания не говорят. О них даже не плачут. Плач – реакция сожаления. А сожаление непременно включает в себе элемент надежды. В отчаянии может находить столбняк. А столбняк – реакция столкновения безвыходности и инстинкта. Действительность говорит: умереть! А инстинкт говорит: жить! А может, живут лишь для того, чтобы удобрять истощаемую цивилизацией Землю экскрементами?

Вот почему о причинах молчания не говорят.

Вот почему о причинах молчания не спрашивают.

Тот, кто понимает, не спрашивает. И раз понимает, н е д е л а е т. Не берет в руки ни скальпеля, ни стилета. Тот, кто понимает, ждет своего часа. Если же этому часу не суждено быть, все равно всегда выполнишь, причем почти в любых условиях, функцию удобрения. Суэта уйдет, экскременты останутся.. Нужно только понять простое: самая суетная суэта не дает экскрементов, более обогащенных минералами, чем бессуетность. Здесь нужна война. По принципу: чем хуже, тем лучше. Если не будет войны, мы не столько уморим себя голодом, сколько утонем в собственных экскрементах. Ибо до осуществле-



ния идеи переселения на другие планеты достаточно далеко. Если не будет войны, мы не выживем. Тот, кто это понимает, не берет в руки ни скальпеля, ни стилета.

Жизнь теперь, здесь, сейчас может быть хоть как-то осмысленна, если есть любовь. Остальное – экскременты. Слепые живут лучше. Они не знают о своем запрограммированном экскрементировании. Но им нужно не з н а т ь. От них требуются только экскременты. Кому суждено у з н а т ь, нельзя просто удобрительствовать. Разве любить – не значит у з н а т ь? Подарившему любовь можно только следовать до конца. Ибо он – Бог. Другого выхода нет. Или наступит н и ч т о. И тогда невозможно приблизиться к сиянию п о д а р и в ш е г о л ю б о в ь. Невозможно, чтобы у з н а в ш и й любовь добровольно отказывался, наступает в е л и к о е м о л ч а н и е, знающее: все суета сует и томление духа.

Вот почему о причинах молчания не спрашивают.

Но там не сказано, что томление духа для верующего – только призыв, чтобы прийти к п о д а р и в ш е м у л ю б о в ь. Кто у з н а л, но не идет, тот не имеет права. Потому что он – ошибка природы. Он уже не экскрементатор и уже не узнавший. Ему нет места на земле и нет пути к Подарившему Любовь.

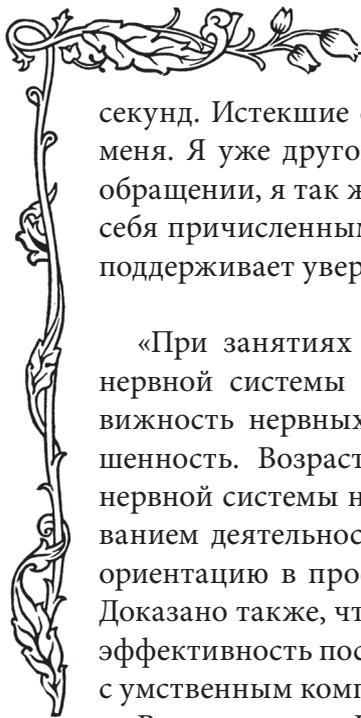
Но «если ты разлюбил, то ты предал. – Почему? – А зачем ты любил до этого?»

Вот почему о причинах молчания не говорят.

Вот почему в е л и к о е м о л ч а н и е – предвестник п р и н я т и я р е ш е н и я.

Вот почему нужна война.

Ну-с, душа любезный, мы отсутствуем уже сорок две минуты. Все-таки прекрасно у меня сегодня проходит занятие. От кабинета шефа до студенческой комнаты десять



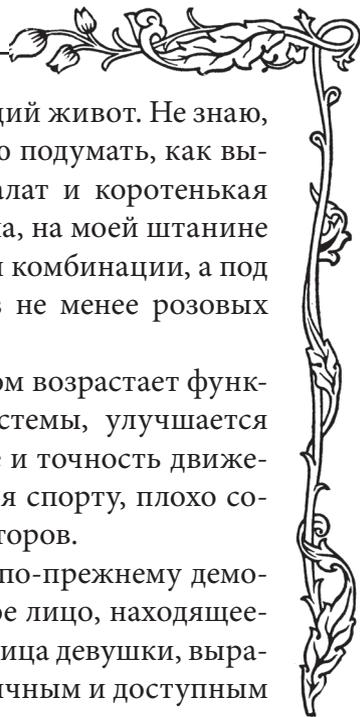
секунд. Истекшие сорок две минуты в чем-то изменили меня. Я уже другой. Но я все так же доступен, прост в обращении, я так же демократичен, как шеф. Я чувствую себя причисленным к отряду гомо. В этом меня изрядно поддерживает уверенность: «менс сана ин корпоре сано».

«При занятиях спортом функциональное состояние нервной системы отличает возрастающая сила и подвижность нервных процессов и большая их уравновешенность. Возрастающая функциональная активность нервной системы неразрывно связана и с совершенствованием деятельности анализаторов: улучшает глазомер, ориентацию в пространстве, точность движений и т. д. Доказано также, что физические упражнения повышают эффективность последующей работы, особенно сложной, с умственным компонентом».

Вот и отлично. Вдох – выдох, вдох – выдох. Руки поднимаем вверх, потом опускаем вниз. Ноги раздвигаем на ширину плеч, занимаем исходную стойку. И-и-и... раз! Два! Три!

Открываю дверь студенческой комнаты. Нужно надеть свою прежнюю физиономию – ту, с которой я вышел отсюда сорок две минуты назад. Так я вписываюсь в прежний ритм. Никто не должен знать, что произошло за это время.

Мое неспешное и горделивое возвращение воспринимается как легкий шок. Неужели я сорок две минуты разговаривал по телефону? Ну что тут можно объяснить? Точно так же, как раньше, лавирую в лабиринте коленей, но неловко задеваю носком ботинка за ножку стула и вдруг позорно теряю равновесие. В следующий момент мое колено быстро и точно въезжает между коленями си-

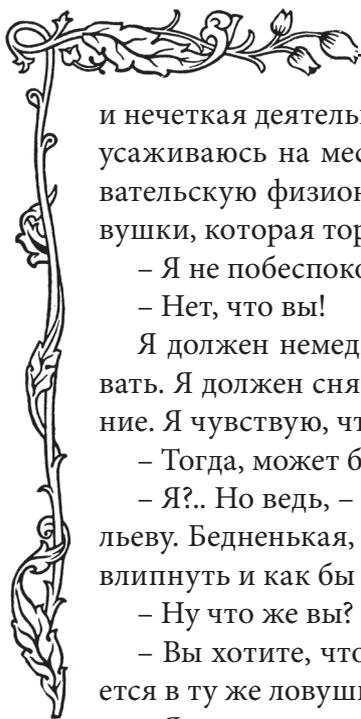


дящей студентки и упирается в ее тощий живот. Не знаю, сколько проходит мгновений, успеваю подумать, как выглядит эта картинка со стороны. Халат и коротенькая юбка задраны, что называется, до пупа, на моей штанине мирно устроилась бахрома ее розовой комбинации, а под ней образовался уютный колодец из не менее розовых панталончиков.

Я не учел, что при занятиях спортом возрастает функциональная активность нервной системы, улучшается глазомер, ориентация в пространстве и точность движений. Я уделял недостаточно внимания спорту, плохо совершенствовал деятельность анализаторов.

Меня душит смех, на лице у меня по-прежнему демократичное, доступное выражение. Мое лицо, находящееся на уровне пунцового испуганного лица девушки, выражает готовность быть с ней демократичным и доступным в обращении, а глаза приглашают, не стесняясь, высказать все, что она считает необходимым по данному поводу. Таким образом, занятия продолжаются, я пытаюсь создать впечатление, что ничего особенного не произошло и что это просто наши обычные учебные действия, не то чтобы входящие в обязательную программу, но, во всяком случае, часто практикуемые для большей надежности усвоения материала. Поэтому мое лицо в десяти сантиметрах от замутненных страхом глаз выражает готовность продолжать преподавание. Я чувствую десятки взглядов, с напряженным ожиданием уставившихся на наш пикантный дуэт, но ничего не могу поделать: я так же демократичен и прост в обращении, я мужественен и полон достоинства, мое колено упирается в ее тощий живот.

Это длится не больше секунды, после чего, опершись руками: одной – на ее бедро, другой – на свой стол, до которого меня донесло недостаточное внимание к спорту



и нечеткая деятельность анализаторов, я выпрямляюсь и усаживаюсь на место. Я не успел снять с лица преподавательскую физиономию и вежливо осведомляюсь у девушки, которая торопливо одергивает юбку и халат:

– Я не побеспокоил вас?

– Нет, что вы!

Я должен немедленно найтись. Я обязан прореагировать. Я должен снять возникшую неловкость и напряжение. Я чувствую, что все этого ждут.

– Тогда, может быть, вы представите своего больного?

– Я?.. Но ведь, – тут она делает осечку, глянув на Васильеву. Бедненькая, она решает дилемму: как бы самой не влипнуть и как бы не подвести Васильеву.

– Ну что же вы? – я подзадориваю ее на конфуз.

– Вы хотите, чтобы я сейчас?.. – говорит она и попадает в ту же ловушку.

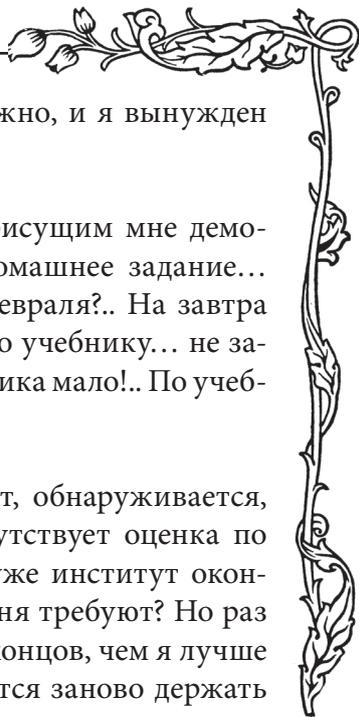
– Я же говорил, можно после занятия, – я делаю многозначительную паузу и как бы невзначай бросаю взгляд на ее колени, отчего пауза приобретает легкий скабресный оттенок, – что занятия можно продолжить вечером... у меня дома, за бутылкой сухого.

Намек, усиленный неловкостью, происшедшей несколько секунд назад, придает ее лицу такой цвет, какой, право, не часто можно увидеть.

– Ладно, так и быть, – говорю я, но все понимают, что это только шутка, – приглашаю вас с Васильевой. Мое вино, ваше оливье, мои яблоки, ваши пирожные. Договорились?

В который раз за сегодняшнее утро группа облегченно вздыхает, а я вдруг вижу повод оказаться еще более демократичным и простым в обращении.

– Товарищи! – обращаюсь я к ним притворно просящим тоном, – прошу меня извинить. Сегодня жизнь у



меня складывается чрезвычайно сложно, и я вынужден немного раньше закончить занятия.

Радостный шепот.

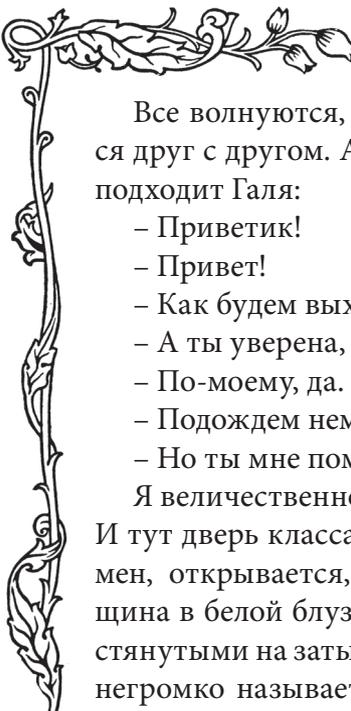
– Ш-ш-ш, – поднимаю я руку присущим мне демократическим жестом, – запишите домашнее задание... Сегодня у нас с вами двенадцатое февраля?.. На завтра за вами остается разбор больных, а по учебнику... не забудьте, что на экзаменах одного учебника мало!.. По учебнику вы...

И вот теперь, в последний момент, обнаруживается, что в моем школьном аттестате отсутствует оценка по сочинению. Ничего не понимаю. Я уже институт окончил, даже с отличием. Чего они от меня требуют? Но раз требуют, надо подчиниться. В конце концов, чем я лучше других? Ничего не поделаешь. Придется заново держать экзамен.

Прихожу в школу. Как будто это наша старая школа, только здание немного перестроено. Узнаю о дне экзамена. Выясняется, что никакой предварительной записи нет, можно прийти в любой день. «Странно экзаменуют, – думаю я. – В наше время можно было подготовиться. А теперь даже не узнаешь, какой круг тем может возникнуть на экзамене. Как сильно меняются времена!»

Получаю направление на экзамен. Была не была! Раньше выкручивался, авось и теперь удастся. Техника сдачи экзамена никакого отношения к действительным знаниям не имеет.

Прохожу в зал для ожидания. Там толпятся десятиклассники и несколько великовозрастных лбов вроде меня, пришедших, как видно, с той же целью, что и я, и по той же причине. Вот видите!.. Оказывается, не у одного меня отсутствует оценка по сочинению.



Все волнуются, просматривают конспекты, советуются друг с другом. А мне и посоветоваться не с кем. Вдруг подходит Галя:

– Приветик!

– Привет!

– Как будем выходить из создавшегося положения?

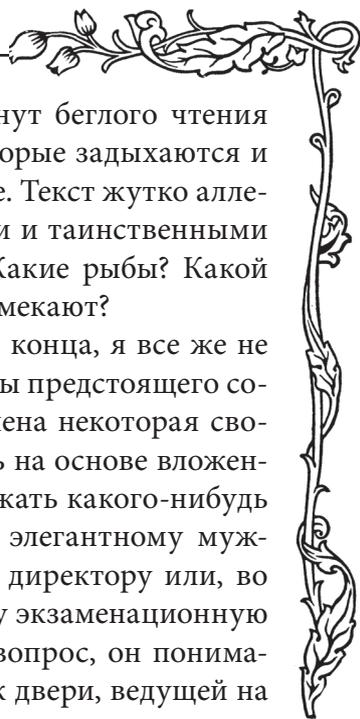
– А ты уверена, что из него нужно как-то выходить?

– По-моему, да.

– Подождем немного.

– Но ты мне поможешь?.. Если что?

Я величественно успокаиваю ее, похлопывая по плечу. И тут дверь класса, в котором намечено проводить экзамен, открывается, выходит подтянутая чопорная женщина в белой блузке и черной юбке, в круглых очках, со стянутыми на затылке волосами. В руке у нее список. Она негромко называет фамилии, и все присутствующие по одному входят в просторный, залитый молочным светом класс. Каждый подходит к учительскому столу, ему выдают папку с темой, чистой бумагой и подсобными материалами. Взяв свою папку, усаживаюсь на самую дальнюю парту, чтобы никто не отвлекал. Раскрыв папку, обнаруживаю в ней школьную тетрадку без подписи, исписанную ужасно знакомым, но никак не пойму, чьим именно, почерком. Записи непонятные, бессвязные – наброски незаконченных мыслей, какие-то цитаты. Помимо тетрадки в папку вложен девятый номер «Иностранной литературы» с рассказом Жан-Поля Сартра «Немного солнца в воде». Но у Сартра, вспоминаю я, по-моему, нет такого рассказа. Это у Франсуазы Саган посредственный роман «Немного солнца в холодной воде». Может быть, Сартр написал какой-нибудь парафраз или пародию? Перелистываю рассказ. Шрифт, расположение типично «иловские» и сбоку на полях: Ж.-П. Сартр «Немного



солнца в воде». Через несколько минут беглого чтения понимаю, что речь идет о рыбах, которые задыхаются и гибнут в обедненной кислородом воде. Текст жутко аллегорический, наполненный странными и таинственными символами. Сразу вопросы к себе. Какие рыбы? Какой кислород? Что тут кроется? На что намекают?

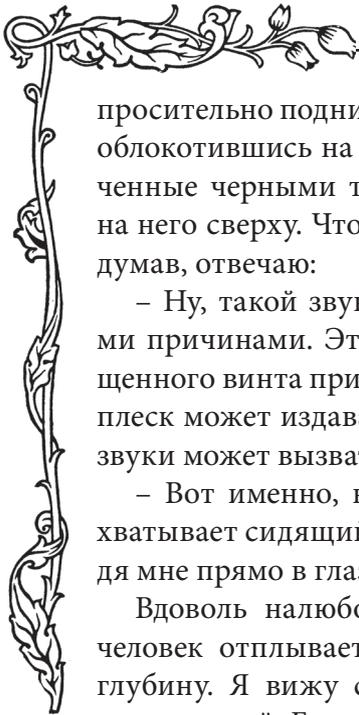
Просмотрев содержимое папки до конца, я все же не нахожу четко сформулированной темы предстоящего сочинения. Решаю, что мне предоставлена некоторая свобода – симпровизировать что-нибудь на основе вложенных в папку материалов. Чтобы избежать какого-нибудь конфуза или подвоха, обращаюсь к элегантному мужчине лет сорока пяти, по-видимому, директору или, во всяком случае, лицу, возглавляющему экзаменационную процедуру. Вежливо выслушав мой вопрос, он понимающе кивает головой и направляется к двери, ведущей на широкий балкон. Почему-то он недобро, как-то злорадно улыбается и манит меня за собой. Выходим. Оказывается, что это не балкон, а большая веранда с шезлонгами и пляжными зонтиками. От края веранды начинается огромный бассейн с изумительно чистой водой. Видно дно.

Дальше вышедший со мною человек начинает вести себя странно, хотя странность не сразу бросается в глаза. Предполагается, что все его многозначительные действия должны прояснить тему моего сочинения.

Он раздевается и, оставшись в плавках, входит в воду.

– Ну-ка, посмотрите, что это? – обращается он ко мне, все так же недобро улыбаясь, и в полутора метрах от берега начинает бить ладонями по воде.

Следуют удары разной силы, беспорядочного ритма, плещется вода, летят брызги, сверкающие в солнечных лучах. Произведя несколько таких упражнений, он во-

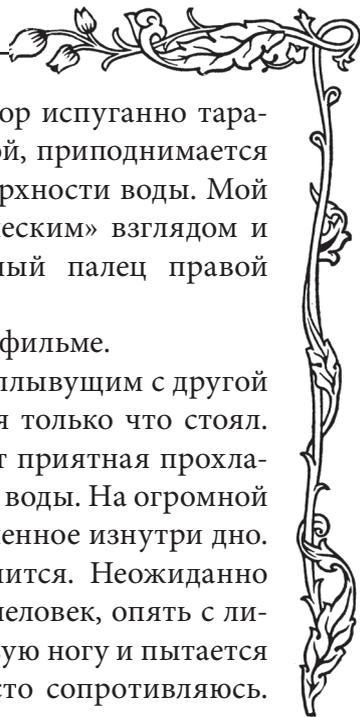


просительно поднимает ко мне голову. Я стою на веранде, облокотившись на красные металлические перила, охваченные черными трубчатыми соединениями, и смотрю на него сверху. Что же все-таки это значит? Немного подумав, отвечаю:

– Ну, такой звук может быть вызван самыми разными причинами. Это может быть, например, плеск запущенного винта при бесшумно работающем моторе, такой плеск может издавать своим хвостом большая рыба, эти звуки может вызвать какой-нибудь купальщик...

– Вот именно, купальщик, – многозначительно подхватывает сидящий в воде человек и тихо добавляет, глядя мне прямо в глаза, – тонущий купальщик!..

Вдоволь налюбовавшись произведенным эффектом, человек отплывает от берега и ныряет на небольшую глубину. Я вижу съемочную группу, расположившуюся под водой. Ближе всех ко мне кинооператор, который почему-то в позе космонавта полулежит в кресле перед камерой, смонтированной вместе с креслом на подвижной площадке. На операторе стального цвета водонепроницаемый комбинезон, на голове – такого же цвета шлем, что-то среднее между космическим и мотоциклетным. Во рту у оператора (нелепая неожиданность!) детская соска с колечком. И вдруг я замечаю, что у кинооператора совершенно е г о лицо, ну – е г о, того, за кого ты собиралась замуж, к кому ты ушла от меня! Кинооператор дружелюбно смотрит на меня сквозь слой воды и приветственно машет рукой. Тогда мой человек подплывает к нему и, сделав мне знак, чтобы я предельно внимательно, не пропустив ни одной детали, наблюдал за тем, что произойдет, вдруг резким движением выдергивает у оператора соску изо рта. У того немедленно срывается с губ и поднимается к поверхности воды серебристый пузырек



воздуха величиной с вишню. Оператор испуганно таращит глаза, вытягивает губы трубочкой, приподнимается с кресла и, задыхаясь, тянется к поверхности воды. Мой человек смотрит на меня «педагогическим» взглядом и назидательно поднимает указательный палец правой руки.

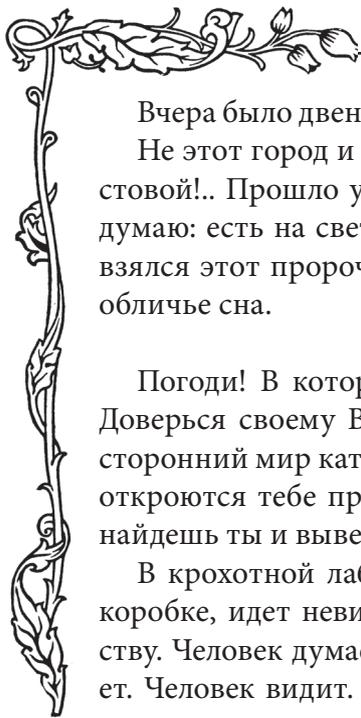
Затемнение. Кадр сменяется, как в фильме.

В следующий момент я вижу себя плывущим с другой стороны бассейна к тому месту, где я только что стоял. На мне ласты, плыть легко. Поражает приятная прохлада и дистиллированная прозрачность воды. На огромной глубине вижу искусственное, подсвеченное изнутри дно. Ласковая приятная вода, легко дышится. Неожиданно стремительно выныривает какой-то человек, опять с лицом т о г о парня, хватается меня за левую ногу и пытается сорвать ласт. Никакого испуга. Просто сопротивляюсь. Через некоторое время мне удается вырваться.

Снова затемнение. Возвращаюсь в тот же класс с ощущением, что п о н я л тему сочинения. Она очень философская. Предстоит много и емко сказать. Я совершенно спокоен, преисполнен силы и глубокой мудрости. Ко всем отношенияе доброжелательно снисходительное – куда им до меня!

Уверенно сев за парту, раскрываю чистую тетрадь и, немного подумав, четко вывожу эпиграф из Бабеля: «В закрывшиеся глаза не входит солнце... но мы распорем закрывшиеся глаза».

Дальше все ясно. Мысли хлещут как из брандспойта, и текст мой начинается так: «Раз. Два. Три. Четыре, Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать». Идет отсчет секунд, набирает силу ритм рождающейся прозы. Раскрывается философия задыхающихся рыб.



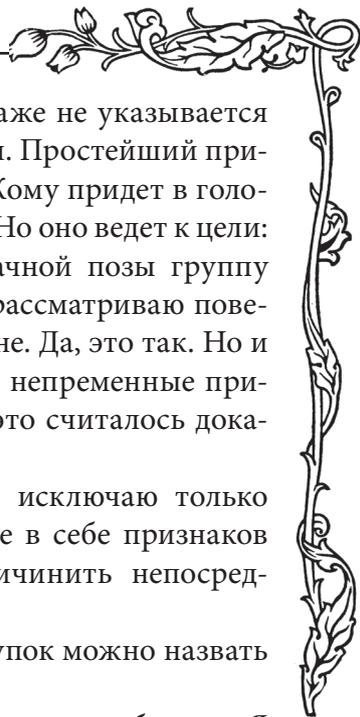
Вчера было двенадцатое июня. Сегодня – тринадцатое. Не этот город и полночь не та. И ты заблудился ее вестовой!.. Прошло уже больше месяца с того дня, и я все думаю: есть на свете Бог. Если б не было Его, откуда бы взялся этот пророческий мираж, принявший величавое обличье сна.

Погоди! В который раз повторяю тебе: не торопись. Доверься своему Вергилию, и продолжим путь в потусторонний мир категорий Абсолюта, откуда, быть может, откроются тебе прегрешения твои, откуда, быть может, найдешь ты и выведешь меня с очистившейся душой.

В крохотной лаборатории, умещающейся в черепной коробке, идет невидимая подготовка к тайному пиршеству. Человек думает. Вернее, он предполагает, что думает. Человек видит. Точнее, он считает, что видит. Путем довольно несложных ухищрений человек сумел самого себя и некоторых других убедить в полной сознательности и организованности своих мыслей, чувств, поведения. Поэтому человеку кажется, что он действует. На самом деле видят, думают и действуют единицы человеческих особей на земном шаре. Чем сильнее иллюзия собственной зречести и свободы собственной воли, тем более слеп, тем более подневолен человек. Воистину, знание у человека появляется лишь тогда, когда он впервые обнаруживает, что ничего не знает. Но чтобы обнаружить, надо быть Сократом.

Женщина! Твой поступок называется свободой воли?

Но подожди! Остановись в этом месте моей рукописи и вслушайся в сочетание этих двух слов. Не я придумал, что воля не может быть свободной. В учебниках психологии волей называется целенаправленное поведение. То есть поведение, ведущее к цели. Обращаю твое



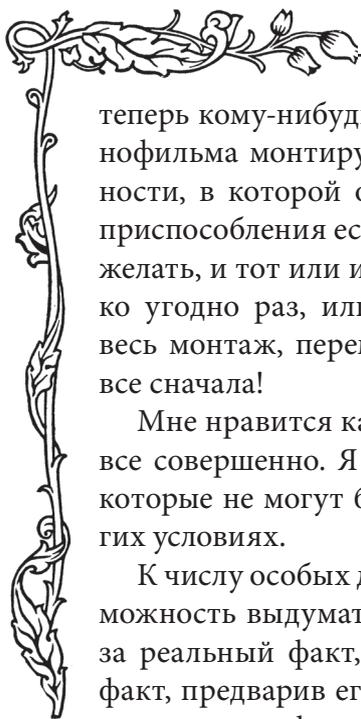
внимание, что в этом определении даже не указывается о с о з н а н н ы й характер поведения. Простейший пример: человек поворачивается во сне. Кому придет в голову назвать это действие осознанным? Но оно ведет к цели: высвободить утомившуюся от неудачной позы группу мышц. Ты можешь возразить, что я рассматриваю поведенческий акт на рефлекторном уровне. Да, это так. Но и более сложные действия несут в себе непрменные признаки рефлекса. Более ста лет назад это считалось доказанным явлением в физиологии.

Из рефлекторной деятельности я исключаю только высшие творческие акты, не несущие в себе признаков конкретной пользы и могущие причинить непосредственный вред автору.

Итак, повторяю вопрос: твой поступок можно назвать свободой воли?

У меня есть (как бы) волшебная камера-обскура. Я приглашаю тебя взглянуть в ее окуляр.

Я вообще очень люблю время от времени совершать какое-нибудь волшебное действие. Я люблю показывать свои маленькие фокусы и устраиваю свой театр миниатюр, где в одном лице я автор, и режиссер, и актер. Я же и зритель. И образы, создаваемые моим воображением, иногда как две капли воды похожи на оригиналы из жизни, иногда чуть-чуть напоминают их какими-то чисто внешними признаками, а иногда абстрактны или карикатурны. Больше всего мне нравится проделывать волшебные штуки со временем: рассматривать события в обратном порядке или сдвинуть время, придав все признаки не присущей ему последовательности, а единовременности. Мне нравится тысячелетия конденсировать в секунды, а секунды растягивать до часов, недель, веков. Но разве

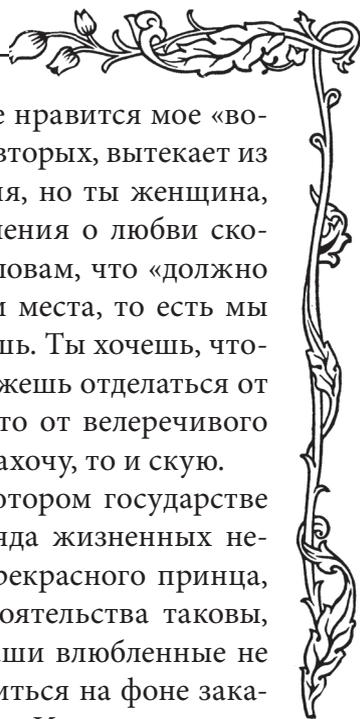


теперь кому-нибудь кажется странным, что эпизоды кинофильма монтируются совсем не в той последовательности, в которой они снимаются? Какие удивительные приспособления есть в моем театре: стоит мне только пожелать, и тот или иной эпизод можно прокрутить сколько угодно раз, или сделать стоп-кадр, или переключить весь монтаж, перемешать эпизоды, как карты, и начать все сначала!

Мне нравится камера-обскура, мой мини-театр. В нем все совершенно. Я могу достичь в ней таких эффектов, которые не могут быть воспроизведены ни в каких других условиях.

К числу особых достоинств моего театра я отношу возможность выдумать какое-нибудь событие и выдать его за реальный факт, и наоборот, могу описать реальный факт, предварив его «допустим, что...» или, обрамив его сказочными фантастическими интонациями, придать ему характер мечты и недостоверности.

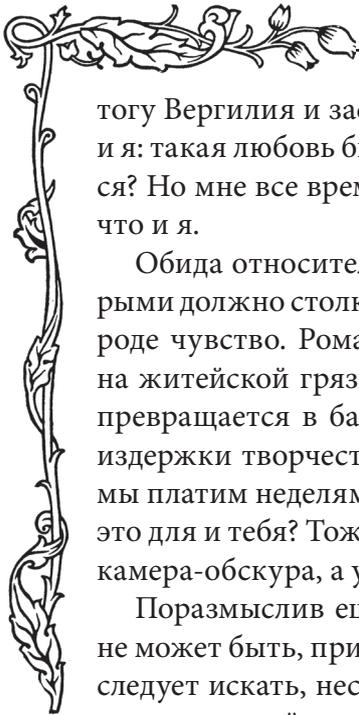
Итак, допустим, что сейчас я попытаюсь описать в реалистических красках, сиречь с житейской точки зрения, более веские мотивы твоего ухода от меня: вот голые предполагаемые (подчеркиваю, предполагаемые) факты. Во-первых, наша с тобой любовь фантастична, так как не имеет ни одной материальной предпосылки, с житейской точки зрения наши отношения обречены. Для этого есть веские причины, главная из которых, что я женат, имею по отношению к жене обязательства, которых не могу не выполнить, а поэтому соображения «здравого смысла» указывают, что мы таки должны расстаться. Те же соображения здравого смысла заставляют тебя устроить свою жизнь, то есть выйти замуж, иметь твердую основу для существования, выращивания потомства и прочее.



Это во-первых. А во-вторых: как тебе нравится мое «во-первых»? Иными словами, то, что во-вторых, вытекает из того, что во-первых. Ты любишь меня, но ты женщина, ты ближе к природе, твои представления о любви скорее практического свойства. Моим словам, что «должно пройти время» и все встанет на свои места, то есть мы будем вместе, ты и веришь, и не веришь. Ты хочешь, чтобы мои слова были правдой, но не можешь отделаться от ощущения, что в моей тезе есть нечто от велеречивого кузнеца своего счастья: дескать, что захочу, то и скую.

Итак: в некотором царстве, в некотором государстве одна прекрасная принцесса после ряда жизненных неурядиц встречает, наконец, своего прекрасного принца, но он оказывается женатым, и обстоятельства таковы, что в самом ближайшем будущем наши влюбленные не могут соединить свои судьбы и удалиться на фоне заката к всеобщему благу и удовольствию. Их ждет некоторый период испытаний, которые выявят, насколько наша очаровательная пара жароупорна, морозоустойчива и непромокаема. Их ждет некоторый период, когда они должны скрывать свои чувства от посторонних глаз, их ждет презрение ревнителей конкретной пользы и здравого смысла, доносы его жене, анонимки по месту службы и прочие, столь же благородные и неизбежные атрибуты тривиальной ситуации любовного треугольника.

В своем театре я подвергаю детальному анализу все аспекты предполагаемых обстоятельств и нахожу их достаточно серьезными. Да, это серьезное испытание для первого, даже для второго незрелого юношеского чувства. Но я-то уверен, что мы просто на другой орбите и для нас с тобой так вопрос стоять вообще не может. Может быть, я чего-то не понял. Может, только я на другой орбите? Может, мне с самого начала следовало надеть



тогу Вергилия и заставить тебя почувствовать то же, что и я: такая любовь бывает раз в жизни, и за нее надо драться? Но мне все время казалось, что ты чувствуешь то же, что и я.

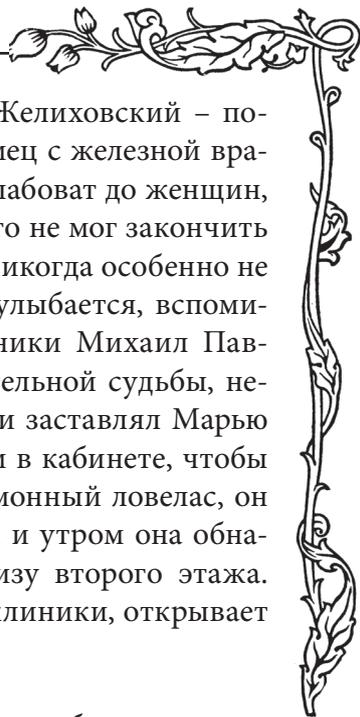
Обида относительно пошлости обстоятельств, с которыми должно столкнуться высокое, единственное в своем роде чувство. Романтика движения к Абсолюту унижена житейской грязью. Гениально задуманный спектакль превращается в балаганный фарс. Для меня это только издержки творчества. Ведь за десяток приемлемых фраз мы платим неделями кажущегося бездействия. Но так ли это для и тебя? Тоже только издержки творчества? У меня камера-обскура, а у тебя? Есть ли у тебя такая же?

Поразмыслив еще некоторое время, я решаю, что так не может быть, природа ошибок не совершает и причины следует искать, несомненно, в более высоких этажах мотивировки действий.

И я разрушаю карточный домик декораций в своем театре.

Возвращаюсь к тому же: можно ли твой поступок называть свободой воли?

Ровно в двенадцать часов дверь ординаторской отворяет Марья Михайловна. С проседью в гладко причесанных редких пегих волосенках, она передвигается робко, как бы на цыпочках. Голос у нее тихий и с годами становится все тише. Я работаю с ней уже девять лет. А пришла она в клинику за двадцать восемь лет до меня. Так и работает тридцать семь лет сестрой. Корифеи, которых я знаю только по фотографиям и сохранившимся трудам, пришли в клинику и умерли при ней. Марья Михайловна помнит всех и умеет рассказать о них просто, приземленно, с любовью и юмором. Она не забывает упомянуть,



что, например, Семен Михайлович Желиховский – полiglот и блестящий человек, остроумец с железной врачебной хваткой, был при всем этом слабоват до женщин, женился многократно, из-за чего долго не мог закончить свою диссертацию, к чему, впрочем, никогда особенно не стремился. Она мягко и задумчиво улыбается, вспоминая, что тогдашний профессор клиники Михаил Павлович Кутанин, тоже человек удивительной судьбы, нешуточно сердился на Желиховского и заставлял Марью Михайловну запира́ть его по вечерам в кабинете, чтобы он работал над диссертацией. Неугомонный ловелас, он умудрялся в носках вылезать в окно, и утром она обнаруживала его крадущимся по карнизу второго этажа. Марья Михайловна, живая история клиники, открывает дверь ровно в двенадцать и говорит:

– Юрий Викторович!

Я не могу сразу оторваться от истории болезни моего подопечного ординатора, который опять жутко все перепутал. Я нещадно черкаю по полям, пишу над строчками.

– Что, Марья Михайловна?

– За вами машина из почечного центра.

– Спасибо, попросите шофера несколько минут подождать. Сейчас закончу и поеду.

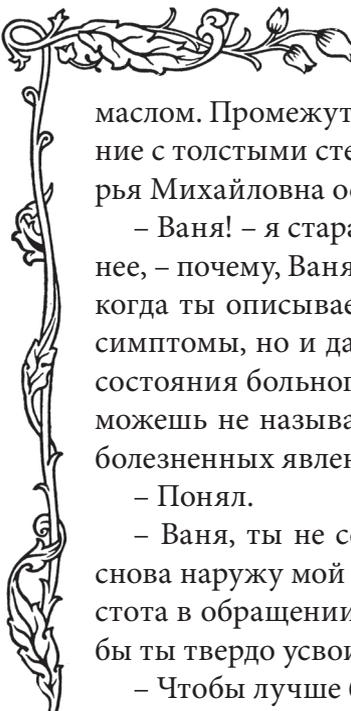
Марья Михайловна мнетя на пороге.

– Там в машине ассистент из клиники кожных болезней. Просит, если можно, не задерживаться.

– Хорошо, Марья Михайловна.

Ассистент из кожной. Кто? Саша? Наверное. Он прикреплен к клиническому городку.

Ординатор сидит рядом, уголком глаза косится на то чернильное месиво, в которое я превратил историю болезни, и часто моргает. Между оконными рамами лежат полиэтиленовые и бумажные кулечки с колбасой, сыром,



маслом. Промежутки между рамами большие: старое здание с толстыми стенами строилось фундаментально. Марья Михайловна осторожно прикрывает за собой дверь.

– Ваня! – я стараюсь быть мягче, проще и демократичнее, – почему, Ваня, ты не можешь усвоить простую вещь: когда ты описываешь статус, нужно не только называть симптомы, но и давать к каждому иллюстрацию из того состояния больного, которое ты видел. В крайнем случае можешь не называть даже симптомов, но дать примеры болезненных явлений необходимо. Понял?

– Понял.

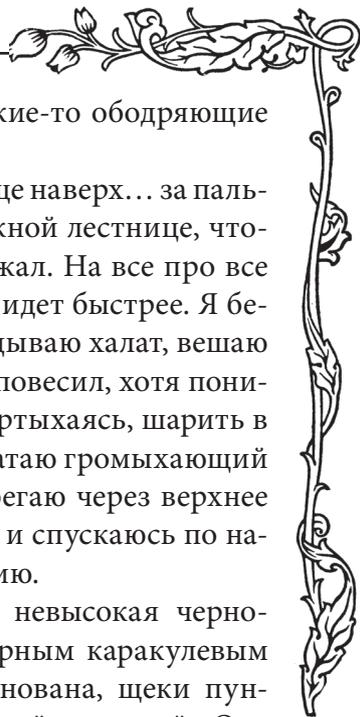
– Ваня, ты не сердись, что я придираюсь, – вылезает снова наружу мой непревзойденный демократизм и простота в обращении, – не сердись, старина, но я хочу, чтобы ты твердо усвоил, для чего это нужно. Объясни мне.

– Чтобы лучше была история болезни.

Взглянув на часы – в машине ассистент из кожной клиники – соображаю, что времени на объяснение у меня нет, и я предпочитаю сентенцию, опять не переходящую границ демократизма.

– Ваня! Запомни, что по записи в истории врачи потом будут судить о состоянии больного, когда это состояние уже изменится. Но у тебя останется документ на случай, если возникнут диагностические споры. Ты должен записать точно поведение больного, все его высказывания. Теперь понял?

Я вручаю ему историю болезни с моими правками и выскальзываю в дверь. В считанные секунды узнаю у той же Марьи Михайловны, что с моими собственными больными все в порядке и более подробного разговора со мной они могут подождать до завтра. Поэтому – уже на воздухах, скоро можно глотнуть пива – впархиваю в палату, быстро со всеми здороваюсь, для порядка взглядыва-



юсь в каждого ненадолго, говорю какие-то ободряющие слова и исчезаю.

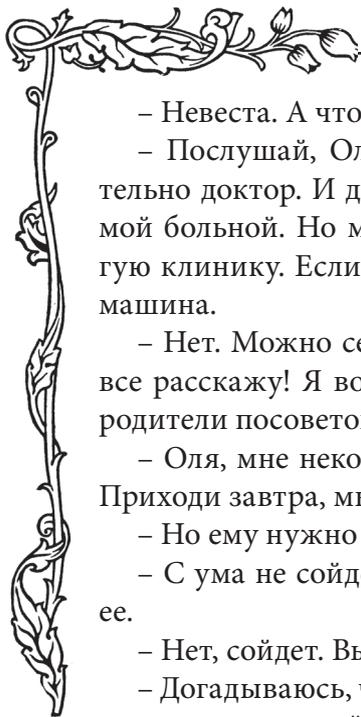
Двенадцать минут первого. Надо еще наверх... за пальто, портфелем... спуститься по наружной лестнице, чтобы внутри отделения никто не задержал. На все про все четыре минуты. И все действительно идет быстрее. Я бегом поднимаюсь на второй этаж, скидываю халат, вешаю его в гардероб, примечая место, куда повесил, хотя понимаю, что завтра точно так же буду, чертыхаясь, шарить в шкафу, пока не найду халат в углу. Хватаю громыхающий пивными бутылками портфель, пробегаю через верхнее отделение, на ходу застегивая пальто, и спускаюсь по наружной лестнице к нижнему отделению.

Перед дверью в отделение стоит невысокая чернобровая девушка в сером пальто с черным каракулевым воротником. Она возбуждена, взволнована, щеки пунцовые, черные глаза сверкают матовой тревогой. Она нервно ходит. Два шага вперед, два шага назад. Два шага вперед, два шага назад. Останавливается. Рука ее шаривает что-то в кармане, потом шелестит бумажная обертка, и девушка кладет в вишневые губы шоколадную конфетку. Она прислушивается к чему-то, и взгляд ее за-гипнотизированно припечатывается к двери отделения. Рука снова машинально достает конфету, и девушка, не отрываясь от двери, так же машинально кладет в рот. Ей лет семнадцать-восемнадцать. Из-под шерстяного платка выбились густые черные локоны.

– Как вас зовут?

– Оля. А что? – спохватилась она, – вы доктор? Вы Волкова Витю знает? Он вчера к вам поступил. Он здоров. Ему не нужно здесь быть. Я все про него знаю, я могу рассказать. Прошу вас, поверьте.

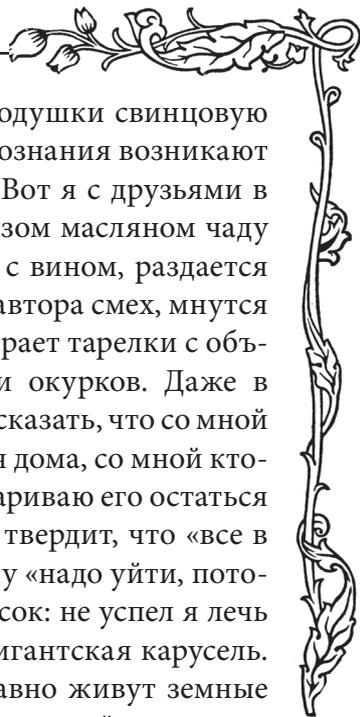
– А вы ему кто?



- Невеста. А что? Не верите? Разве так не бывает?
- Послушай, Оля, невеста Вити Волкова. Я действительно доктор. И действительно знаю Витю Волкова. Он мой больной. Но меня вызвали на консультацию в другую клинику. Если можешь, приходи завтра. Меня ждет машина.
- Нет. Можно сегодня? Можно я поеду с вами? Я вам все расскажу! Я во всем виновата, а он здоров. Это ему родители посоветовали.
- Оля, мне некогда, за один день ничего не случится. Приходи завтра, мы во всем разберемся.
- Но ему нужно помочь сегодня, он...
- С ума не сойдет, – я довольно энергично прерываю ее.
- Нет, сойдет. Вы не знаете, какой он.
- Догадываюсь, что очень хороший. Но от пребывания в психиатрической клинике, тем более однодневного, не сошел с ума еще ни один человек.
- А он сойдет. На него все так действует.
- Завтра к часу дня ко мне. Меня зовут Юрий Викторович. Все, все! – отмахиваюсь я, видя, что она пытается схватить меня за рукав и удержать.

А потом со мной происходит вот что.

Я больше не могу игнорировать житейские катаклизмы, не в состоянии инертно парить в заоблачном пространстве, не в силах изобретать хитроумные и заковыристые фразы, чтобы словами самому прикрыться от голой жестокости и прикрыть ими постыдную наготу вечных, как мир, страстей. С каждым днем, с каждым часом мне все дальше до берега, к которому я плыву в утлой рыбацкой лодочке, но я должен его достигнуть, во что бы мне это ни обошлось.

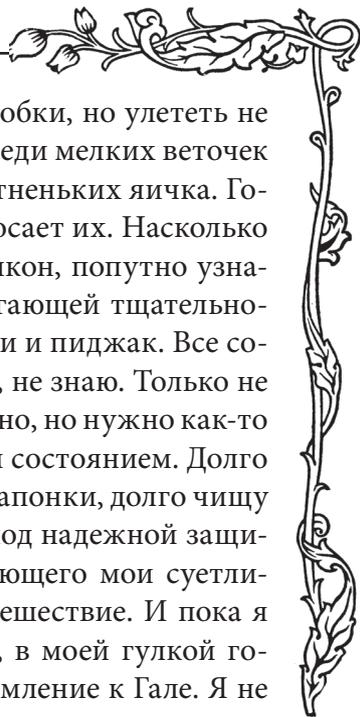


Поэтому я с трудом отрываю от подушки свинцовую голову. Из медленно воскресающего сознания возникают разорванные куски вчерашних сцен. Вот я с друзьями в кафе пью молдавский портвейн. В сизом масляном чаду плавают чьи-то руки с сигаретами и с вином, раздается вызывающий подозрение в глупости автора смех, мнутся бумажные салфетки, официантка убирает тарелки с объедками, ощетинившимися десятками окурков. Даже в пьяной истерике я не могу никому рассказать, что со мной происходит. А вот следующий кусок: я дома, со мной кто-то из ребят, мы допиваем вино, я уговариваю его остаться ночевать, но он с пьяным упорством твердит, что «все в порядке», он «в полном порядке» и ему «надо уйти, потому что он должен успеть». Другой кусок: не успел я лечь в постель, как меня начинает везти гигантская карусель. Затем я оказываюсь на Венере, где давно живут земные поселенцы. Планета по находящейся на ней живности напоминает огромный террариум. В домах, на улице, везде меня окружают таинственные земноводные с умными глазами. Здесь змеи и гигантские аксолотли, то ли бронтозавры, то ли драконы с роговыми, очень подвижными зелеными лапами. Они вызывают некоторое отвращение своим видом, но в то же время производят впечатление дружелюбных и наделенных недюжинным интеллектом существ. Интереснейшая подробность выясняется, когда на улице раздаются взрывы кислородных баллонов и зажигаются светильники со специальным газом. Мне объясняют, что это делается для того, чтобы удержать атмосферу вокруг планеты. Атмосфера искусственная, по своему химическому составу несовершенная и постоянно стремится оторваться от планеты.

Потом все опять исчезает, и я нахожусь в красивом, но мрачном храме. Отпевают покойников, среди которых я

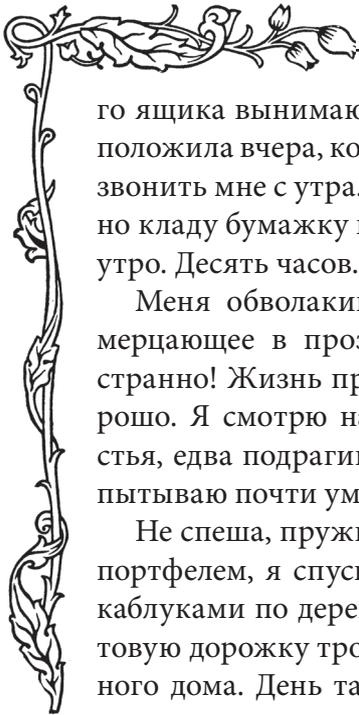
вижу свою мать. Когда я подхожу ближе к гробу, вижу, что ее лицо поразительно живое и как будто подрагивают ресницы. А на носу ужасная язва. Я тихо зову: «Мама!», и она медленно поворачивает ко мне глаза. Язва на носу тут же исчезает. Соображаю, что мама лежит так не первый день, потому что ее считают умершей, и что она, наверное, голодна. Мама тихо вздыхает и говорит: «Очень жаль», подразумевая, что жалеет она о том, что еще жива. «Ну что ты, мама! – восклицаю я с радостью, – это так хорошо. Прежде всего тебе надо поесть». Мама грустно кивает, и я, успокоенный, выхожу на кладбище. Рядом со свежими вижу и запущенные могилы. Самое странное впечатление производит участок, предназначенный для будущих покойников. Стоят приготовленные ограды, прекрасно отделанные тяжелые лакированные кресты, черные драпировки обтягивают нечто вроде переносного алтаря, и я ясно различаю имена своих знакомых. Для них заранее готовы памятники с четкими датами смерти. Я знаю, что они живы, но даты смерти уже известны, и кто-то позаботился о месте на кладбище. Это воспринимается с некоторым удивлением, но спокойно.

Наступает тишина, и через некоторое время воскресающее сознание собирает воедино разорванные куски вчерашних впечатлений. Что-то нужно делать. Встаю. Да, что-то нужно делать, говорю я себе, и попадаю в круговорот подсознательной деятельности. Спектакль идет, и я пытаюсь сбросить оковы твоей любви. Словно ничего не понимая, как последний простофиля, я ковыляю по комнате на деревянных ногах. На столе, как и много месяцев назад, градусник с твоей теперь навсегда неизменной температурой – тридцать семь и одна. На балконе голуби свили себе гнездо в коробке из-под твоих туфель. Когда я подхожу к балкону с тряпкой и ведром горячей воды,



самка выпархивает из картонной коробки, но улететь не решается, а садится на край перил. Среди мелких веточек и соломы в коробке лежат два аккуратненьких яичка. Говорят, если их взять в руки, самка бросает их. Насколько возможно, я тщательно вымываю балкон, попутно узнавая, что я вчера ел. После этого с пугающей тщательностью бреюсь и умываюсь, глажу брюки и пиджак. Все совершаю автоматически. О чем думаю, не знаю. Только не о тебе. Тебя нет. Ты умерла. Это страшно, но нужно как-то жить. И я живу в соответствии с этим состоянием. Долго подбираю галстук и носки, рубашку, запонки, долго чищу туфли. Я еще не знаю, что нахожусь под надежной защитой Всевышнего, уверенно направляющего мои суетливые конвульсии в очистительное путешествие. И пока я навожу глянец на английские туфли, в моей гулкой голове нет и намека на осознанное стремление к Гале. Я не смогу оформить этой мысли несколько часов, зато тогда она придет с неоспоримой силой. И поэтому вначале мои поступки могут напоминать поведение лунастика: я автоматичен, заморожен. Как всегда, выключаю утюг, чтобы не сделать из всего дома праздничный факел. Придирчиво оглядываю себя в зеркале и догадываюсь изумиться свежести своего лица. Покружив по комнате, проявляю большую догадливость: нужно взять портфель. И укладываю в портфель запасную чистую сорочку и носки. Я еще не знаю, что Вседержитель готовит меня к очистительному моциону.

Проверив, не остались ли включенными свет и газ, беру ключ от квартиры, закрываю балкон и выхожу на лестницу. До самого выхода, а по причине лени неохота вызывать лифт и все шесть этажей я неторопливо прохожу пешком, меня преследует тошнотворный запах жареной на перегоревшем масле кислой капусты. Из почтowo-

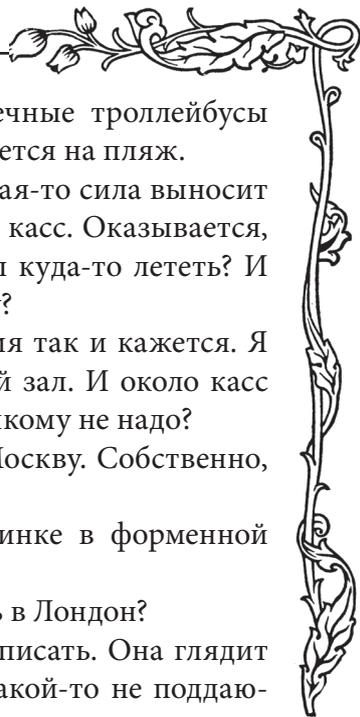


го ящика вынимаю записку. Почерк Гали. По-видимому, положила вчера, когда мы сидели в кафе. «Завтра можешь звонить мне с утра. Я целый день буду дома». Машинально кладу бумажку в карман и выхожу в мягкое молочное утро. Десять часов. Воскресенье. Одиннадцатое июня.

Меня обволакивает ласковый безветренный воздух, мерцающее в прозрачной дымке неяркое солнце. Как странно! Жизнь продолжается без тебя, и мне почти хорошо. Я смотрю на сочные ярко-зеленые июньские листья, едва подрагивающие от неслышного ветерка, и испытываю почти умиротворение.

Не спеша, пружинистой походкой и слегка помахивая портфелем, я спускаюсь с горки, ритмично отстукиваю каблуками по деревянной лесенке и, вступив на асфальтовую дорожку тротуара, погружаюсь в тень шестиэтажного дома. День так нежен, свет так мягок, что переход в тень из солнца почти незаметен. На балконе третьего этажа замечаю Михаила Григорьевича, полковника медицины в отставке. Он стоит в майке, в синих спортивных штанах и, пуская прозрачные струйки табачного дыма, приветливо машет мне рукой. С Волги доносится запах воды с легкой примесью нефти. Ноги сворачивают на тротуар и несут меня к троллейбусной остановке. Портфель совершает короткие амплитуды, галстук развевается в струях встречного воздуха, и туфли отстукивают свою неспешную утреннюю дробь.

В троллейбусе вместе со мной всего четыре человека: старушка с полной базарной сумкой, обросший милиционер с красными глазами и девушка с портфелем. Бабуся равнодушно смотрит на пустые тротуары, милиционер клюет носом, девушка уткнулась в книгу. Издалека вижу, что страницы испещрены интегралами. В институтах начинается сессия.



Город будто вымер. Только встречные троллейбусы полны: воскресная публика направляется на пляж.

Я все еще не знаю, куда еду, но какая-то сила выносит меня из машины около авиационных касс. Оказывается, вот куда я еду. Может быть, я решил куда-то лететь? И именно поэтому взял чистую сорочку?

Действительно, в первые мгновения так и кажется. Я решительно направляюсь в билетный зал. И около касс никого. Непонятно. Лететь, что ли, никому не надо?

Так. Наверное, я направляюсь в Москву. Собственно, почему бы и нет?

Обращаюсь к миловидной блондинке в форменной пилотке аэрофлота:

– Девушка! Можно сегодня улететь в Лондон?

Безумие в ее глазах невозможно описать. Она смотрит на меня, видимо, пытаюсь уяснить какой-то не поддающийся разгадке ребус.

– Тогда в Багдад?

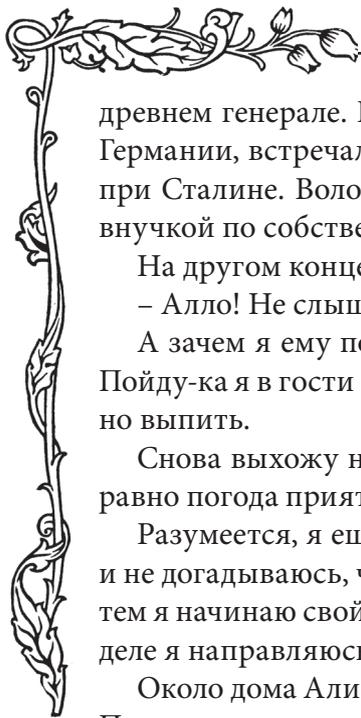
Теперь дошло. Но она в скверном настроении и не хочет понимать шуток. Она краснеет, хмурит брови, но я не даю ей возможности побраниться. Повернувшись к двери, говорю через плечо:

– Жду вас вечером в парке возле фонтана. В петлице у меня будет красная гвоздика, я буду тихонько играть на флейте. Вы меня ни с кем не спутаете.

– Сумасшедший! – произносит девушка мне вслед.

Потеряв интерес к идее лететь, выхожу на улицу и, пропустив одинокий автомобиль, перехожу на другую сторону. Мое внимание привлекло здание переговорного пункта. Вот, оказывается, куда я иду.

Вхожу в зал переговорного пункта. Набираю ташкентский номер Володи. Давно собираюсь позвонить ему. Парень полтора месяца снимает шарманочный фильм о



древнем генерале. Генерал был поверенным в довоенной Германии, встречался с Гитлером, а затем был неотлучен при Сталине. Володя прислал кадр, где генерал гуляет с внучкой по собственному саду.

На другом конце провода Володин голос.

– Алло! Не слышно ничего!..

А зачем я ему позвонил? О чем я буду говорить? Нет! Пойду-ка я в гости к Алинке. У нее настоящего кофе можно выпить.

Снова выхожу на улицу. Стало немного жарче, но все равно погода приятная. Иду в сторону Алинкиного дома.

Разумеется, я еще не усвоил Божественного промысла и не догадываюсь, что таким сложным и непонятным путем я начинаю свой очистительный моцион, что на самом деле я направляюсь к Гале.

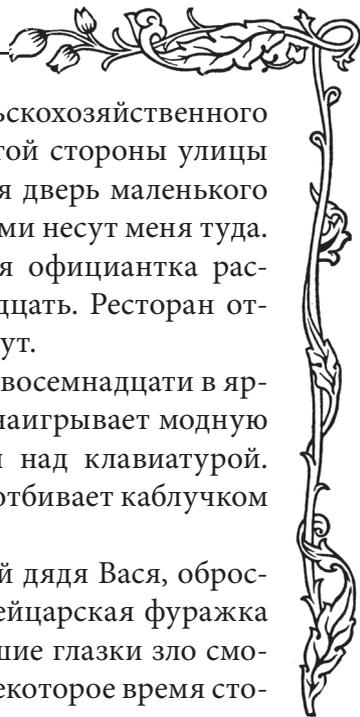
Около дома Алинки на меня чуть не наезжает машина. Притормозив, парень в белой «Волге» материт меня, а я в ответ глупо улыбаюсь. Проводив взглядом «Волгу», поднимаюсь, но Алинки не оказывается дома. Ее мама огорченно сообщает, что Алина вынуждена сегодня, в воскресенье, работать.

Мне уже не хочется кофе.

Я иду по улице в никуда. Увидев книжный киоск, выхватываю взглядом книгу о Довженко. Покупаю, сую в портфель рядом с сорочкой.

Прохожу мимо здания консерватории, из окон доносятся звуки рахманиновского романса, сонаты Прокофьева и непонятно что разучивающего фагота. Здесь тоже начинается сессия.

Напротив – большой гастроном. И сюда мне тоже нужно. Покупаю три бутылки сухого вина, аккуратно укладываю в отделение портфеля, между ними и сорочкой втискиваю купленную книгу.



Из гастронома бреду в сторону сельскохозяйственного института и дохожу до музея. С другой стороны улицы на меня зазывающе глядит раскрытая дверь маленького театрального ресторанчика, и ноги сами несут меня туда.

Вхожу. Зал совсем пуст. Одинокая официантка представляет стулья. Без двадцати двенадцать. Ресторан открывается только через двадцать минут.

На эстраде тоненький мальчик лет восемнадцати в ярком клетчатом пиджаке на пианино наигрывает модную песенку. Грива русских волос мечется над клавиатурой. Стоящая рядом девочка его возраста отбивает каблучком ритм.

Из-за портьеры выходит типичный дядя Вася, обросший, бухой, в помятом пиджаке. Швейцарская фуражка сбилась на затылок, красные заплывшие глазки зло смотрят на меня. Он останавливается и некоторое время стоит, как ржавый револьвер в банке варенья, и не совсем понимает, что происходит. Помедлив, он решительно направляется ко мне прихрамывающей походкой.

– Ресторан закрыт!

– Неправда! – спокойно отвечаю ему.

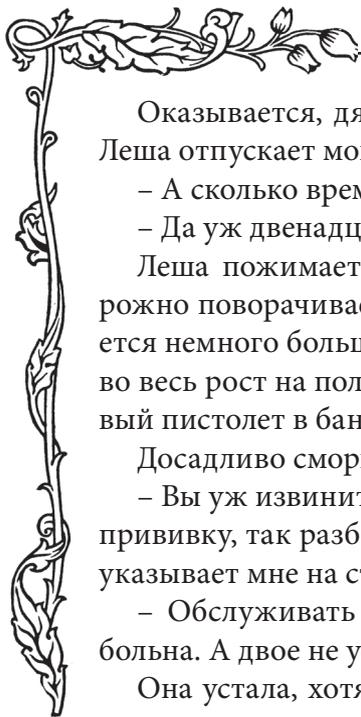
Дядя Вася таращит на меня глаза, вероятно, решая, прогнать ему этот сон или досмотреть. Наконец, поморгав и пожевав сухими губами, он хрипло кричит:

– Ты вот чего! Давай без этого! Давай выходи отсюда!

Мальчик перестает играть и оборачивается. Девочка поправляет волосы и тоже смотрит в нашу сторону.

Я не двигаюсь с места. В тот миг, когда дядя Вася хватается меня за отворот пиджака, чтобы вывести вон и восстановить порядок, положение спасает официантка.

– Леша! Брось ты это, пойди отдохни! Все равно сейчас открывать!



Оказывается, дядю Васю на самом деле зовут Лешей. Леша отпускает мой пиджак и оторопело спрашивает:

– А сколько времени-то?

– Да уж двенадцать почти. Оставь человека.

Леша пожимает плечами и, дохнув алкоголем, осторожно поворачивается на одной ноге, но оборот получается немного больше, чем надо, и через секунду он лежит во весь рост на полу. Между столиком и стеной, как ржавый пистолет в банке варенья.

Досадливо сморщив нос, официантка говорит мне:

– Вы уж извините, у нас всех девочек послали вчера на прививку, так разболелись они. Садитесь вот сюда, – она указывает мне на столик у окна и протягивает меню.

– Обслуживать совсем некому. Одна повариха тоже больна. А двое не успевают.

Она устала, хотя только пришла из дома и наверняка выпалась, смотрит на меня, и взгляд ее доносит запах сырого неухоженного одиночества, запах чистенькой, прибранной, но все же какой-то нежилой без мужчины комнаты, запах одинокой вечерней тоски по уходящей молодости. И вот уже серые мешки под глазами, увядающая кожа лица.

Протянутая рука. Ласковый взгляд. Что эта женщина может понимать?.. Но сквозь ее длинную протянутую руку проглядывает нежный июньский день.

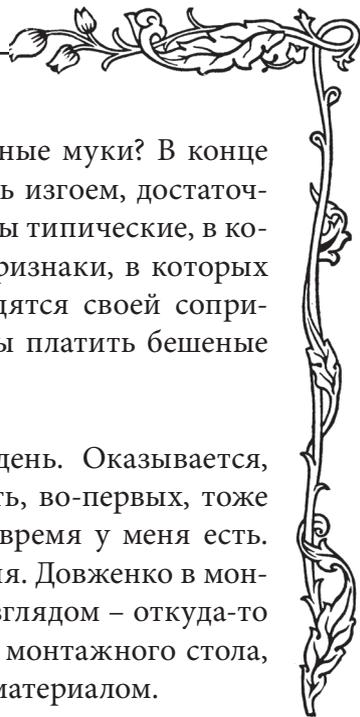
– Что-нибудь выпить?

– Нет, – возвращаю меню нераскрытым, – мне, пожалуйста, какого-нибудь горячего мяса, лучше тушеного, и чаю погорячее.

Официантка мнется:

– Извините, горячего пока нет. Есть мясной салат. Будете?

– Давайте.



Где я уже видел это?

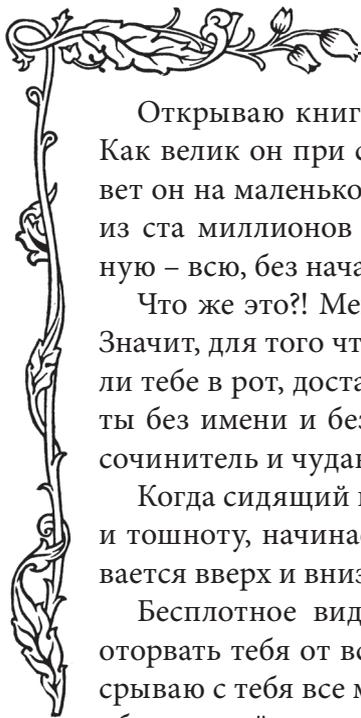
Кого могут тронуть теперь любовные муки? В конце концов, неужели для того чтобы быть изгоем, достаточно одного таланта? Бывают же таланты типические, в которых ясно обозначены именно те признаки, в которых люди узнают самих себя. Люди гордятся своей сопричастностью к таланту и за это готовы платить бешеные деньги.

Сквозь шторы течет июньский день. Оказывается, вчерашний мясной салат приготовить, во-первых, тоже трудно, во-вторых – долго. Ничего, время у меня есть. Достāju книгу. На обложке фотография. Довженко в монтажной. Напряженным диковатым взглядом – откуда-то издалека – всматривается он в экран монтажного стола, огромная стопа коробок с отснятым материалом.

Вот так и я, наверное, часто кажусь со стороны – я где-то, я потерялся, меня нет.

Только мое отсутствие продолжается не мгновения, а все время. Мое отсутствие тянется десятилетиями. Поверь, меня совсем не восхищает непонимание, но мой талант чужой. В нем нет узнаваемости. Только одно изгойство, за это я наказан. И только тело ощущает природу.

Напротив меня уселся небритый, помятый человек. Официантка, не спрашивая, приносит ему графин с красным вином и бутерброд с колбасой. Как бы přátельски, но нетерпеливо и опасливо взглянув на меня, он вопросительно подмигивает, косясь на графин. Стараясь скрыть гримасу отвращения, отрицательно кручу головой. Облегченно вздохнув, он наливает себе чуть больше половины стакана ядовито-красной жидкости. До меня доносится характерный запах дешевого, сильно приправленного краской, вермута.



Открываю книгу. «Как далеко может видеть человек! Как велик он при своей малости! Почти мгновение живет он на маленькой планете, затерянный на краю одной из ста миллионов галактик, и все же обнимает вселенную – всю, без начала и конца!»

Что же это?! Меня называют сочинителем и чудаком. Значит, для того чтобы к тебе прислушивались и смотрели тебе в рот, достаточно заработать имя и славу? А если ты без имени и без славы говоришь умные вещи, то ты сочинитель и чудака? Слизняк? Ничтожество?

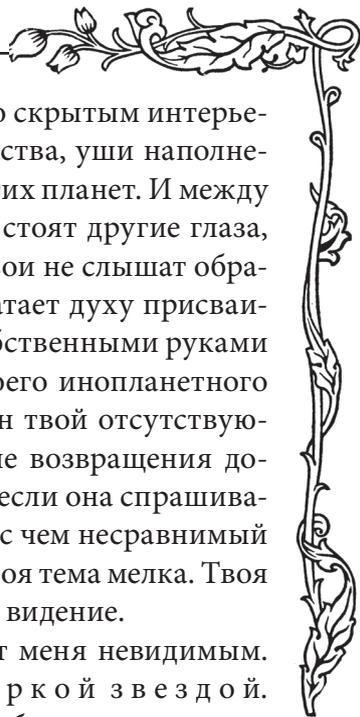
Когда сидящий напротив человек, преодолевая дрожь и тошноту, начинает пить и кадык его жадно перекачивается вверх и вниз, меня внезапно охватывает дурнота.

Бесплотное видение. Бесплотный дух. Я все тщу оторвать тебя от всего земного. В мыслях я нетерпеливо срываю с тебя все мирские одежды и вижу тебя чистой и обнаженной жительницей другого мира...

Мой талант чужой, он смердит, он отвратителен своей чуждостью. Он из далекой страны, с другой планеты, с противоположного края галактик. Хорошо, что в этих людях нет стремления к насильственному утверждению своего типического. Хорошо, что меня только сделали изгоем, хорошо, что меня до сих пор не убили.

За пианино садится девочка, а мальчик – за ударную установку. Очень хочется подойти и поправить. Лабают. Раздражает фальшивая гармония.

Бесплотный дух, бесплотное видение! Какой бы ни был ты, дружище талант, не найдешь ты сочувствия раньше, чем выблюешь под ноги публике всю свою душу. Ты не найдешь понимания, может быть, даже у своей жены, которая будет уверенно заявлять, что тема твоя мелка. Что ж! Ей тоже недостаточно одних результатов твоей подпольной деятельности, ибо в минуты инопланетного су-



существования твой взгляд блуждает по скрытым интерьерам, руки перебирают кощевы богатства, уши наполнены дивной музыкой, несущейся с других планет. И между твоими глазами и полярным небом стоят другие глаза, серые, дерзкие и печальные. И уши твои не слышат обращенных к ним извне речей. У нее хватает духу присваивать себе право на твою подполье и собственными руками шарить в этих подвалах. Ей мало твоего инопланетного существования. Для нее оскорбителен твой отсутствующий вид, твои поздние и непонятные возвращения домой, твоё неприкрытое раздражение, если она спрашивает о чем-то. Особенно изумителен ни с чем несравнимый вопрос: «Ну, что ты сегодня успел?» Твоя тема мелка. Твоя тема – бесплотный дух. И бесплотное видение.

Да, чуждость моего таланта делает меня невидимым. При жизни я не засверкаю яркой звездой. Впрочем, слава богу, что меня еще не убили.

А вот и салатик. На вид – оливье, попробуем. Если посолить и поперчить, сойдет.

«Ну, что ты сегодня успел?» Я злобно повожу плечами, в недоумении чешу спину «Мастером и Маргаритой». Бесплотный дух!

Жую безвкусный салат, в котором иногда попадаются кусочки до ниточек вываренного мяса.

О мой Создатель! О Вседержитель мой! Научи, просвети меня, сирого, как избежать идиотских вопросов!

Впрочем, слава тебе, мой Создатель, и за то, что меня не убили. Хвала тебе и за это. Хвала тебе, Создатель, что ты направляешь стопы мои в очистительный моцион.

Ты сказала, что я с другой планеты, ничем не хочу пожертвовать для тебя и поэтому ушла от меня и выходишь

замуж. Я все время думал, что ты тоже с другой, с той же самой планеты. Ты так чиста и прекрасна, когда без одежды!

Неужели я ошибся?

Неужели ты не видела, что все жертвы, которые я приношу миру, – и не жертвы вовсе.

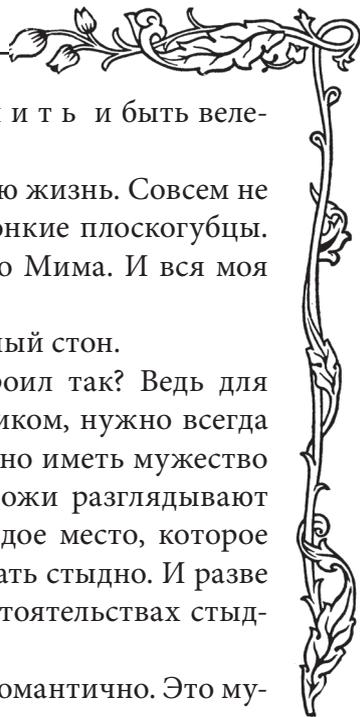
Ж е р т в о в а т ь можно только тем, что принес отсюда – с другой планеты, из другого времени. Но у меня до сих пор не было подходящего повода пожертвовать. Я думал, ты это понимаешь и только для виду говоришь о мирских суетах. Неужели я ошибся?! Разве ты не д р у г а я? Ну конечно, другая. Так думаю я. Если не ошибся, что ты с той же планеты, что и я. Только знаешь ли ты об этом? Думаешь ли ты об этом? Догадываешься ли, что ты – другая? Если да, то что же ты морочишь мне голову с этим замужеством? Если нет, то о какой жертве может идти речь? Тем, что имеешь в миру, такие, как мы с тобой, не жертвуют. Об этом даже не говорят. Это разумеется само собой. А теперь скажи: если ты имеешь возможность пощупать то, что можешь взять в руки, что хочешь получить, например, выходя замуж, в самом деле для тебя единственный критерий достоверности? Или ты дразнишь меня? А может быть, ты знаешь, что мы с тобой инопланетяне, но не уверена в том, что я это знаю, и испытываешь меня?

Воистину, всю мою жизнь украшают вопросы. Возможно, мое существование есть просто один большой вопрос?

Привычное состояние: любить и быть любимым.

Как говорил Станислав Ежи Лец, мысль пришла ему в голову, но, не застав никого, ушла.

А мне в голову пришла мысль и кой-кого застала. А застав, присела попить чаю.



Привычное состояние: в е л е р е ч и т ь и быть веле-речивым.

Большие вопросы не украшают мою жизнь. Совсем не украшают. Они висят на ней, как звонкие плоскогубцы. И сам я иногда похож на несчастного Мима. И вся моя жизнь – один мучительный стон.

Привычное состояние – мучительный стон.

О Вседержитель! Почему ты устроил так? Ведь для того чтобы быть настоящим художником, нужно всегда быть голым перед толпой зевак! Нужно иметь мужество видеть, как тупые, бессмысленные рожи разглядывают твое тело, каждую его родинку, каждое место, которое при других обстоятельствах показывать стыдно. И разве легко угадать, при каких именно обстоятельствах стыдно, а при каких – нет?

Нет! Быть художником совсем не романтично. Это мучительно и страшно. Особенно когда кто-то решил, что имеет на тебя права.

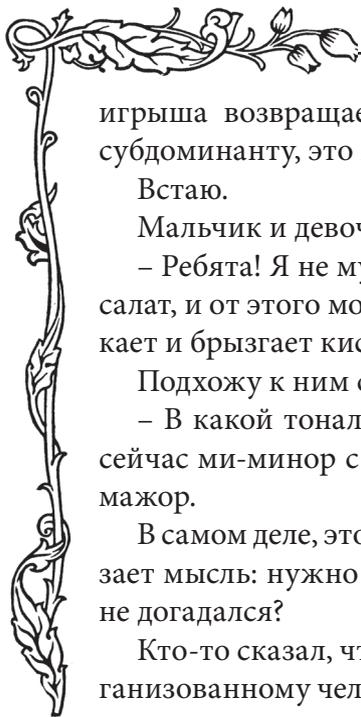
Сколько шагов от художника до человека? Меняется ли количество шагов, если кто-то имеет на тебя права?

Сколько шагов нужно сделать художнику, чтобы стать человеком? Больше, чем человеку, чтобы стать художником?.. Или меньше?

Голое тело художника – как знаменитый нильский крокодил в диковинном паноптикуме: от головы до хвоста три метра, от хвоста до головы – четыре метра.

Сколько шагов нужно сделать художнику, чтобы не сфальшивить?

– Ребята! – говорю я неожиданно громко и к вящему удивлению моего соседа, наливающего второй стакан. Наверное, он здесь завсегда, знает этих ребят и принимает меня за их знакомого. – Ребята! Когда вы из про-



игрыша возвращаетесь к основной теме, нужно взять субдоминанту, это же так просто!

Встаю.

Мальчик и девочка удивленно смотрят на меня.

– Ребята! Я не музыкант, но это так очевидно! – во рту салат, и от этого моя фраза о субдоминанте трещит, булькает и брызгает кислой слюной.

Подхожу к ним с куском хлеба в руке.

– В какой тональности вы играете? Си? Так возьмите сейчас ми-минор с хвостиком в до-диез, а потом до-диез мажор.

В самом деле, это так тривиально, что вдруг меня пронзает мысль: нужно срочно позвонить Гале. Как я раньше не догадался?

Кто-то сказал, что со мной было бы нелегко просто организованному человеку. Я думаю, наоборот: со мной может иметь дело только просто организованный человек.

И поэтому с куском хлеба в руке, даже не поинтересовавшись, как мои ценные указания восприняты, я бегу к телефону-автомату. «Можешь позвонить мне с утра. Я целый день дома». Конечно, к Гале. Милая добрая Галя. У нее мне будет хорошо.

Три гудка. Четыре.

– Ал-л-о?

– Привет.

– Привет.

– К тебе сегодня можно?

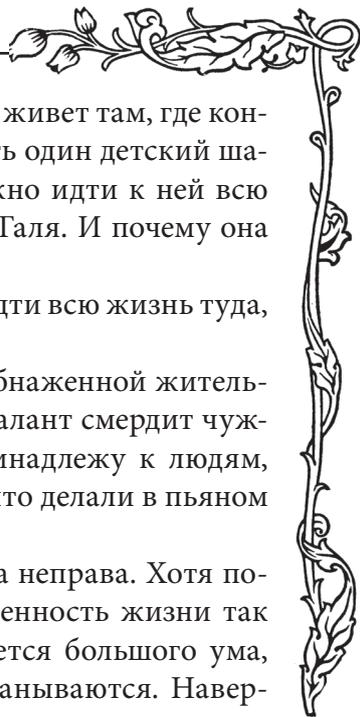
– Ну приезжай.

– А почему – ну?

– Ну – без «ну». Просто приезжай.

– Можно сейчас?

– Можно сейчас.



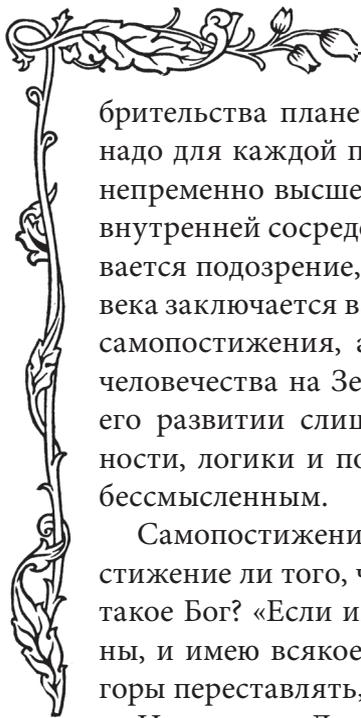
Галя живет на опушке города. Галя живет там, где кончается асфальт. До Гали можно сделать один детский шагок в двадцать сантиметров, но можно идти к ней всю жизнь. Милая, добрая, бессловесная Галя. И почему она мне все прощает?

Я поеду к Гале на такси. Я не хочу идти всю жизнь туда, где кончается асфальт.

Я больше не вижу тебя чистой и обнаженной жительницей иного мира. Потому что мой талант смердит чуждостью. Потому что теперь я не принадлежу к людям, которые, протрезвев, стыдятся того, что делали в пьяном виде.

Я часто думаю теперь, что ты была неправа. Хотя понять тебя я могу: внешняя бессмысленность жизни так очевидна, что, в общем-то, не требуется большого ума, чтобы заметить это. Так многие обманываются. Наверное, и правда, жизнь не имеет какого-то единого, так сказать, общего для всех смысла. Очевидно, имеется много разных смыслов, и никто не может быть обладателем всех. Все ищут какой-то один. Но из-за того, что разные смыслы противоречат друг другу, создается впечатление бессмыслицы, принимаемое за основу. То есть считается, что раз жизнь бессмысленна, то и говорить больше не о чем.

Есть художники, талант которых словно специально создан для воспевания бессмыслицы. А талант всегда убедителен. Но бессмыслица – только самый верхний слой в процессе самопогружения. Когда спускаешься в подвалы сознания, добираешься до того, что скрыто там до поры до времени, начинаешь обнаруживать присутствие чего-то, что еще не умеешь назвать словом, но что – ты уже это чувствуешь – опровергает привычное представление о бессмыслице. В конце концов, функция удо-

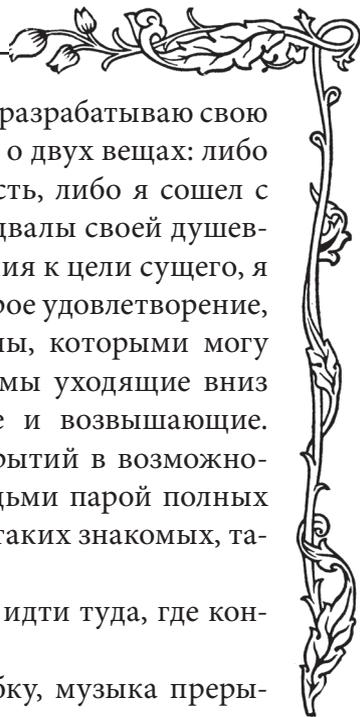


брительства планеты тоже имеет некоторый смысл. Не надо для каждой персоны в человеческом образе искать непременно высшего предназначения. В часы тишины и внутренней сосредоточенности у меня все чаще закрадывается подозрение, что наивысшее предназначение человека заключается в осознании первейшей необходимости самопостижения, а через него – своего начала, начала человечества на Земле и во Вселенной. В этом начале, в его развитии слишком много стройности, систематичности, логики и последовательности, чтобы считать его бессмысленным.

Самопостижение? Постижение своего начала? Не постижение ли того, что называется «познать Бога»? Да что такое Бог? «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто».

Ну хорошо. Допустим, моя тема и в самом деле мелка. Правда, неясно пока, с какой и, главное, с чьей точки зрения. Предположим, существует так называемый объективный критерий для определения глубины темы. Но разве существуют для художника мелкие темы? Разве не все зависит только от него самого, от того, как он увидит себя в своей теме? Представим, что есть и объективный критерий. А кто его определяет? Околотворческие профаны, не имеющие ни малейшего представления о творческом процессе? Может быть, сам Господь Бог? Если тема не затрагивает интересы группы людей или конкретного человека и даже вызывает раздражение, то она мелка? А если твоя тема в ком-то найдет сопереживание, кого-то заставит кое о чем задуматься? Значит, она крупна?

Но оставим это. Предположим, объективный критерий существует. В этом случае оказывается, что скрупу-



лезность и настойчивость, с какими я разрабатываю свою тему, могут свидетельствовать только о двух вещах: либо в моей теме и в самом деле что-то есть, либо я сошел с ума. Спускаясь в нижние этажи и подвалы своей душевной организации, по пути продвижения к цели сущего, я время от времени испытываю некоторое удовлетворение, открывая не столь очевидные истины, которыми могу поделиться с теми, кому тоже знакомы уходящие вниз ступени творчества, но возносящие и возвышающие. Ценность этих небольших моих открытий в возможности перекинуться с двумя-тремя людьми парой полных смысла словечек или парой жестов – таких знакомых, таких далеких и таких невозможных...

Я поеду к Гале на такси. Я не хочу идти туда, где кончается асфальт.

В тот момент, когда я вешаю трубку, музыка прерывается, раздается резкий стук крышки пианино, и мимо меня стремглав проносится девочка с брызжущими из глаз слезами, а через секунду, делая отчаянные попытки настичь ее, мальчик в клетчатом пиджаке. Ребята скрылись из виду, а до меня вдруг доходит, что на лице девушки столько экспрессии и страдания, что она сейчас может натворить всяких незавидных дел. Мне всегда становится страшно, когда при мне кто-то может натворить всяких неблагоприятных дел. Страшна именно неуправляемость таких аффектов. Поэтому я решительно возвращаюсь в зал и возмущенно говорю официантке:

– Что здесь происходит? Может быть, нужна моя помощь? Говорите скорее, я врач!

Официантка смотрит на меня чужим холодным взглядом и молча вытирает со стола, за которым я ел. В руке у меня недоеденный кусок хлеба.

– Почему вы молчите?

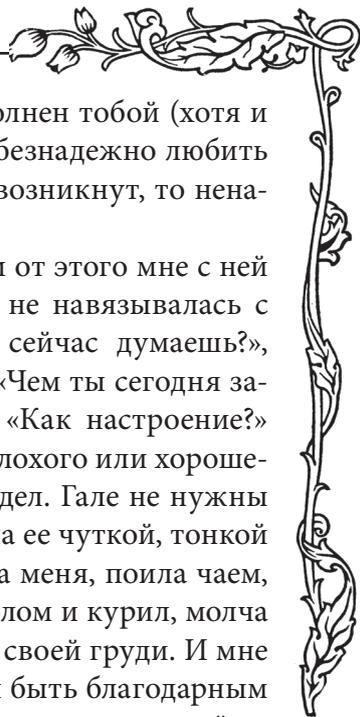
– А что говорить-то. Врачу тут делать нечего. Огорченно сую ей рубль за салат и, не выпив свой чай, выхожу на улицу.

С Галей «все это» у меня началось год назад, когда она была студенткой. Во время нашей с тобой ссоры – помнишь, ты ушла от меня, но не так, как теперь, несерьезно (хотя ссора была бурная), а на несколько дней, – тут-то все и случилось. Я был в отчаянии, думал, что потерял тебя.

Галя принадлежала к числу тех очаровательных смысленышей, с которыми мне приятно общаться. На занятиях она всегда сидела, широко распахнув казавшиеся черными в своей прелести удивленные глаза – не потому, что ей было интересно, и, может быть, не потому, что я нравился ей – просто глаза выражали чистое и прекрасное удивление тем, что в мире происходит в эту секунду. И она неожиданно выпаливала какую-нибудь занятную глупость. Она была начитанна, увлекалась живописью и прилежно коллекционировала альбомы, среди которых были Коровин и Брейгель. На небогатых книжных полках я обнаружил Вересаева, а рядом с ним почему-то полное собрание сочинений Шолохова.

Каким-то образом она узнала, что в день занятий с их группой у меня день рождения, и собрала со всех деньги на цветы, а чуть позже от своего имени присовокупила прекрасную репродукцию «Красные виноградники в Арле» Ван Гога.

Одевалась Галя с неизменным вкусом, хотя и перебирала с золотом в ушах и на пухленьких пальчиках. Словом, Галя обладала качествами, способными вызвать мою симпатию. Тогда я не знал, что тихая и ненавязчивая ее любовь разгорелась ярким пламенем. Галя, такая немногословная, чувствовала все шестым или седьмым жен-



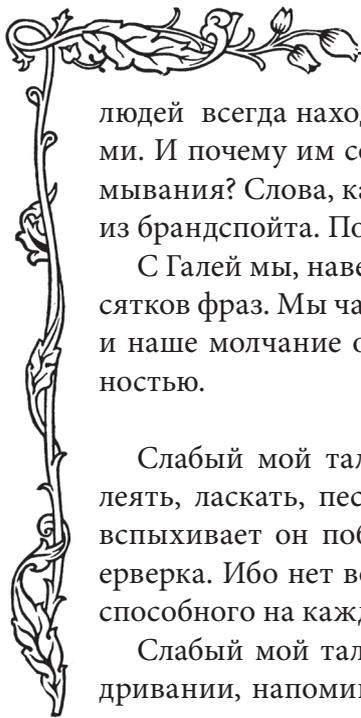
ским чувством: то, что весь я переполнен тобой (хотя и не могла знать этого наверняка), что безнадежно любить меня и что отношения наши, если и возникнут, то ненадолго.

В тонкостях Галя не разбиралась, и от этого мне с ней было легко и приятно. Она никогда не навязывалась с дурацкими вопросами: «О чем ты сейчас думаешь?», «Отчего у тебя дурное настроение?», «Чем ты сегодня занимался?» Она спрашивала просто: «Как настроение?» «Как дела?», не доискиваясь причин плохого или хорошего настроения, плохих или хороших дел. Гале не нужны были слова. И эта деликатность делала ее чуткой, тонкой и благородной. Она молча принимала меня, поила чаем, молча подходила, когда я сидел за столом и курил, молча обнимала мою голову и прижимала к своей груди. И мне становилось спокойно. Думаю, я умел быть благодарным за любовь, ибо ничего, кроме благодарности, за душой не имел.

С Галей не нужны были разговоры, с ней можно было молчать часами, и в этом молчании содержания было гораздо больше, чем в пустых и необязательных разговорах, которыми мы пытались бы заполнить тишину молчания.

Иные люди совершенно не понимают потребности в молчании – в том самом, которое гораздо нужнее слов. Словами не сказать того, что скажешь молча. Можно глядеть друг другу в глаза, а можно и не глядеть. Чувствовать спиной, затылком, улавливать ритм дыхания и ощущать легкое дуновение воздуха от этого дыхания. Услышать, как хрустнул сустав от разгибания руки, а то и просто зашелестела страница газеты, упала домашняя туфелька с подобранной под себя ноги...

Почти никто не умеет слушать тишину и вбирать всем существом своим витающую в ней молчаливую речь. У



людей всегда находится, о чем сказать друг другу словами. И почему им совсем не требуется времени для обдумывания? Слова, кажется, так и выскакивают из них, как из брандспойта. Почему они так неисчерпаемы?

С Галей мы, наверное, не сказали друг другу и трех десятков фраз. Мы часами молчали, думая каждый о своем, и наше молчание окутывало нас тихой ласкающей нежностью.

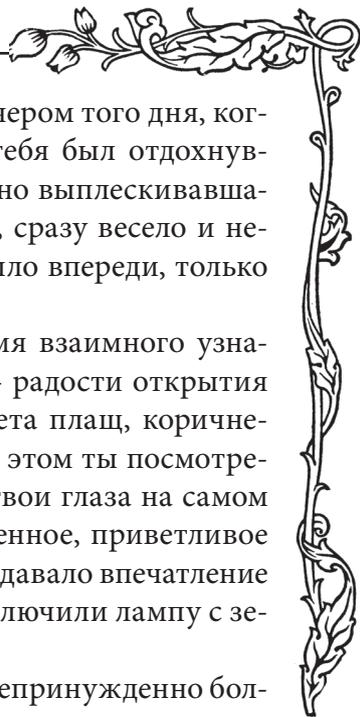
Слабый мой талант нуждается в том, чтобы его лелеять, ласкать, пестовать, выхаживать. Слишком редко вспыхивает он победными искрами скоротечного фейерверка. Ибо нет во мне могучего и постоянного заряда, способного на каждодневные извержения.

Слабый мой талант нуждается в стимуляции, подбадривании, напоминании каких-то конкретных вещей. Я завидую людям, деятельность которых постоянно нацелена на что-то определенное, на его продвижение, кристаллизацию и формирование.

Мои же идеи постоянно меняются, они зыбки, аморфны, как и окружающие меня впечатления. С каким трудом удается мне не поддаться искушению тут же использовать в художественных целях новое впечатление, удерживать в центре прежнюю идею, особенно если она противоречит прежней!

Иногда я все-таки уступаю новому, отбрасываю старое, и тогда у меня возникает крамольная мысль: может быть, так и надо? Но и некоторые старые вещи неплохи, правда ведь? Тем более что мне присуще свойство возвращаться...

Конечно, и то и другое – в пределах вероятия, но разве я не поклялся в верности вечным проблемам? Это единственное, в чем нельзя отказать моему таланту.

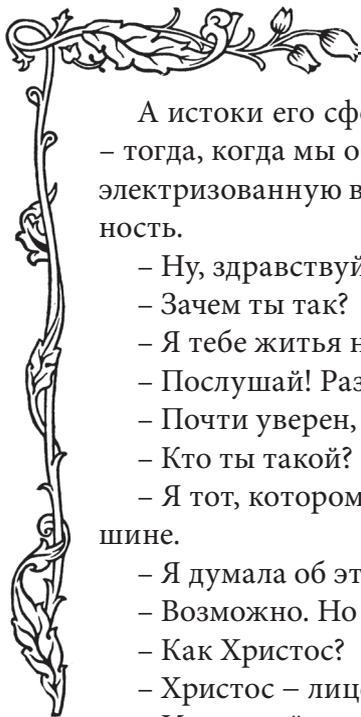


В первый раз ты пришла ко мне вечером того дня, когда выписалась из больницы. Вид у тебя был отдохнувший, глаза блестели, и их зелень, буйно выплескивавшаяся из-под копны ярко-рыжих волос, сразу весело и ненавязчиво заполнила комнату. Все было впереди, только начиналось.

Было зыбкое и лихорадочное время взаимного узнавания и – всякий раз неожиданной – радости открытия ожидаемого. Ты сняла болотного цвета плащ, коричневые туфли и попросила тапочки. При этом ты посмотрела на меня, и я впервые увидел, что твои глаза на самом деле серые, и только их всегда удивленное, приветливое и немного загадочное напряжение создавало впечатление разливающейся зелени – как будто включили лампу с зеленым абажуром.

Все только начиналось, и хотя мы непринужденно болтали о «мировых проблемах», в воздухе накапливалось электричество, и возрастающий его потенциал время от времени напоминал нам то тут, то там пробежавшими искрами, от которых мы тихо и нетерпеливо вздрагивали, стараясь не показать друг другу этой неодолимой и уже неотвратимой взаимной притяженности.

Вопреки всем литературным законам, возможно, поступившись стройностью повествования, мне хочется бесконечно, только из эгоистических соображений, вспомнить минуту за минутой из того времени, воспроизвести каждую мельчайшую подробность: что было сказано, кто в какой позе сидел, воспроизвести даже невозможное – интонации. Но помимо моего творческого своеволия есть и естественный отбор – моя память, которая безошибочно сохранила только необходимое, только самую суть конфликта – от его истоков до драматического завершения.



А истоки его сформировались быстро и окончательно – тогда, когда мы оба почувствовали эту неодолимую наэлектризованную взаимную притяженность и протяженность.

– Ну, здравствуй, революционерка!

– Зачем ты так?

– Я тебе житья не дам.

– Послушай! Разве ты не мог оказаться на моем месте?

– Почти уверен, что нет.

– Кто ты такой?

– Я тот, которому ты будешь внимать в полночной тишине.

– Я думала об этом. Ты тоже клоун?

– Возможно. Но лицедей – наверняка.

– Как Христос?

– Христос – лицедей?

– И лицедей, и клоун. Но в этом нет ничего плохого.

– Я и не подумал, что быть клоуном плохо. Но Христос? Почему?

– Да ведь он не мог страдать по-настоящему

– Почему?

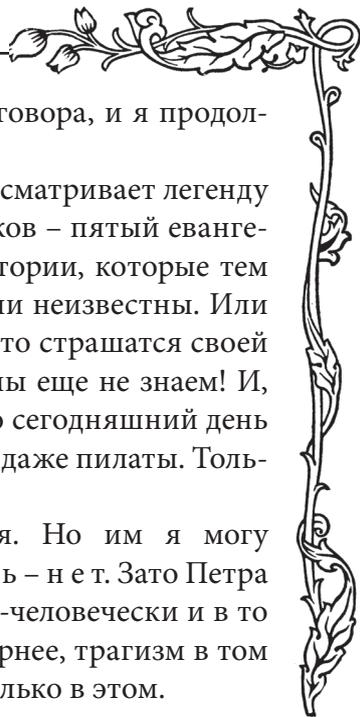
– Потому что... потому что он все знал заранее.

– Что ты имеешь в виду?

– Все. И что Петр от него отречется, и что Иуда его предаст, и что в третий день восстанет и вознесется на небо. Раз он знал о том, что воскреснет, чего же было ему бояться? И разве могли его страдания быть настоящими? Вот он и воспользовался своим актерским талантом, чтобы выглядеть в глазах публики более убедительным.

– Что за черт! А Понтий Пилат?

– Понтий Пилат, пожалуй, более сложная фигура, но я думаю, он тоже знал. Больше никто. Даже римский император.



Мне была близка тема нашего разговора, и я продолжал ее развивать.

– Думаю, Булгаков не случайно рассматривает легенду иначе, чем в Библии. Для меня Булгаков – пятый евангелист. Он раскрывает те страницы истории, которые тем четверым по каким-то причинам были неизвестны. Или от них скрыли, что вернее всего. Те, что страшатся своей роли, всегда найдутся. И сколького мы еще не знаем! И, может быть, никогда не узнаем. И про сегодняшний день тоже. И у нас есть свои иуды, петры, даже пилаты. Только Христа нет. Вознесся.

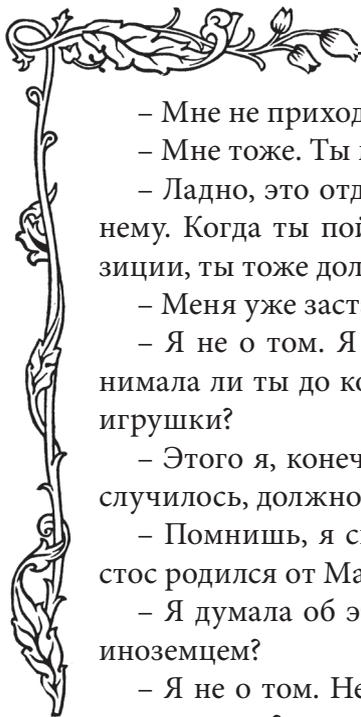
– Красивая роль. Ослепительная. Но им я могу только восхищаться. Любить – нет. Зато Петра и Иуду мне жалко до слез. Это так по-человечески и в то же время так страшно и трагично. Вернее, трагизм в том и есть, что по-человечески. Но и не только в этом.

– И этого немало. Люди постоянно кого-то предают, от чего-то отказываются. Иногда их заставляют это делать. Иногда добровольно, так сказать, по призванию. Все очень по-человечески. Это, если хочешь, биологическая суть. Человек обречен на это от рождения. Причем любой человек в принципе способен на предательство и на благородство, только в одном больше одного, в другом – другого. Мы все обречены еще в момент зачатия.

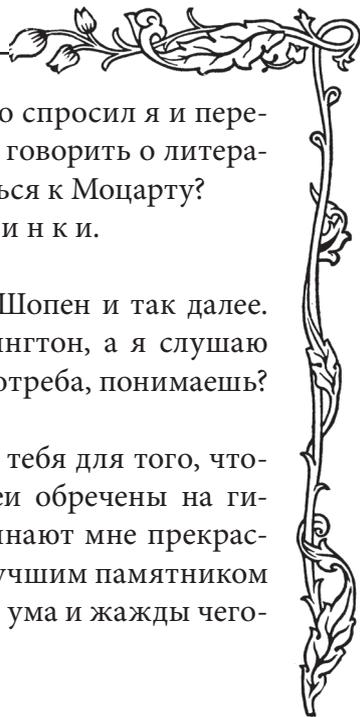
– Иуда и Петр были обречены, как и другие. А Христос только играл роль.

– Нужно понять, что на эту роль он тоже был обречен. Ты рассуждаешь так, как будто у него был выбор. А это не так. Я медленно, с трудом подбирал слова:

– Возможно... в этом и есть самый высокий трагизм... самое страшное страдание... знать о своей роли, понимать, что его будут считать... как ты... актером... и мужественно принять свою роль. Он знал все.



- Мне не приходило это в голову.
- Мне тоже. Ты меня сейчас натолкнула.
- Ладно, это отдельный разговор. Мы еще вернемся к нему. Когда ты поймешь ошибочность той... вашей позиции, ты тоже должна отречься.
- Меня уже заставили это сделать
- Я не о том. Я о бессмысленности вашей затеи. Понимала ли ты до конца, к чему могли бы привести ваши игрушки?
- Этого я, конечно, не понимала. Но все, что со мной случилось, должно было случиться.
- Помнишь, я спросил тебя, уверена ли ты, что Христос родился от Марии. Не кажется ли тебе, что он...
- Я думала об этом. Ты имеешь в виду, не был ли он иноземцем?
- Я не о том. Не кажется ли тебе странной история с вознесением?
- Но ведь он вознесся? Вознесся?
- Думаю, фактически – вознесся. Хотя с точки зрения привычного материализма подобное представить трудно. Тут-то и вопрос – от Марии ли он родился? Был ли он обычным... человеком? Смотри: ты сама заметила, что все происходящее в Иерусалиме для него – вроде спектакля? Так? И только для него? Почему он сознательно пошел на эту историю с вознесением? Почему он решил покинуть землю? Потому, что он выполнил свою миссию, или потому, что он ее не выполнил? Может, он, поняв собственную и всеобщую обреченность, решил завершить дело эффективным концом? Учти, это совершенно не исключает для него истинного страдания.
- Поэтому ты и есть Христос! Ты страдаешь и ищешь эффективных концов.



– Трах-тибидох! Почему? – ошалело спросил я и перевел разговор на другую тему: – Будем говорить о литературе? Или о музыке? Как ты относишься к Моцарту?

– Я теперь слушаю только п л а с т и н к и.

– Не ходишь на концерты?

– Нет. Существует классика, Бах, Шопен и так далее. Существует джаз – Армстронг, Эллингтон, а я слушаю только п л а с т и н к и . Ну, для ширпотреба, понимаешь? Зачем все-таки ты меня позвал?

– Мне и самому странно. Я позвал тебя для того, чтобы сказать, что осуществленные идеи обречены на гибель. Зато неосуществленные напоминают мне прекрасные иммортелы, которые останутся лучшим памятником стремлений души, изобретательности ума и жажды чего-то недостижимого.

– И что же мне делать?

– Сохрани мою речь навсегда... за привкус несчастья и дыма...

– Сумасшедший!

– Я начинаю понимать, почему ты ненавидишь всякие красивые слова. Но мне казалось, не стыдно говорить о том, что чувствуешь.

– Почему же ты так говоришь? Ты так чувствуешь?

– Не знаю. Мне это кажется естественным. Но ведь я всего только человек и тоже могу быть слабым. Я вправе был ожидать, что ты все и так знаешь. И все понимаешь. Что это не случайно.

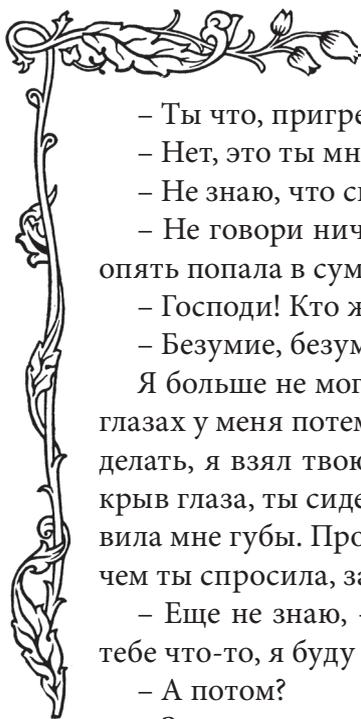
– Странно. Ты всегда казался мне таким уверенным...

– То есть?

– Ну, как мужчина. Нет. Не могу объяснить. Слушай: я люблю тебя.

– Что?!

– Повторить?



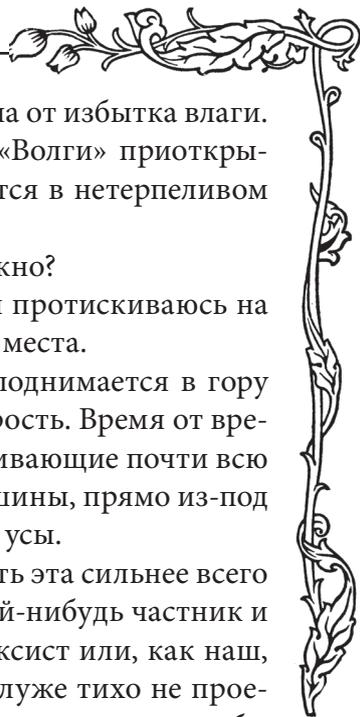
- Ты что, пригрезилась мне?
- Нет, это ты мне. Что же мне теперь делать?
- Не знаю, что сказать!..
- Не говори ничего. Это безумие. Ты хочешь, чтобы я опять попала в сумасшедший дом?
- Господи! Кто же тебя так в жизни обидел?
- Безумие, безумие!

Я больше не мог этого выдержать и медленно встал. В глазах у меня потемнело и, не предугадав, что собираюсь делать, я взял твою голову в руки и тихо поцеловал. Закрыв глаза, ты сидела, не шелохнувшись, и молча подставила мне губы. Прошло довольно много времени, прежде чем ты спросила, зачем я это делаю.

- Еще не знаю, – честно ответил я, – если смогу дать тебе что-то, я буду счастлив...
- А потом?
- Загадывать нельзя. Смотря на что мы оба будем способны. Но... я тоже люблю тебя.
- С е г о д н я любишь.
- Ну хорошо, сегодня. Но я чувствую, это только начало.
- Тоже мне пророк!
- Давай лучше выпьем, – сказал я и отправился в кухню за бутылкой.

В который раз я предлагаю тебе восхититься точностью моей памяти. Едва ли я выпустил одну или две фразы из нашего диалога, а прошло столько лет! Я вынужден эксплуатировать свойство своей памяти, иначе я не смогу проанализировать, что же произошло.

Отделавшись от настырной черноглазки, выхожу в зябкий февраль. Туман осел, но в воздухе носится отвратительная промозглая сырость, и сам воздух мгlistый,



неуютный. Даже кора деревьев набухла от избытка влаги.

Дверь светло-желтой санитарной «Волги» приоткрывается, и Сашкина физия высовывается в нетерпеливом недовольстве:

– Юрий! Давай скорее, сколько можно?

– Старик, прости! Не моя вина, – я протискиваюсь на заднее сиденье, и машина трогается с места.

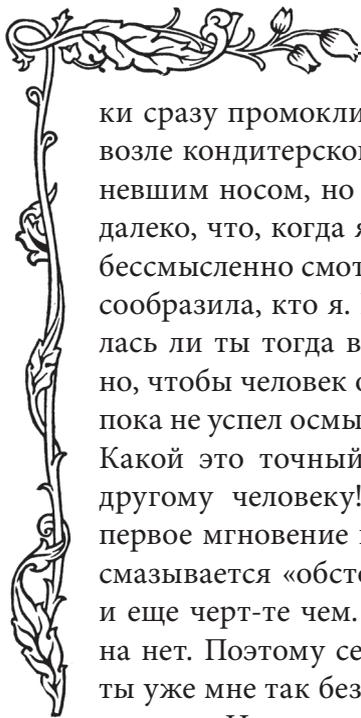
Подпрыгивая на ухабах, «Волга» поднимается в гору и, выехав на асфальт, прибавляет скорость. Время от времени попадаются широкие лужи, заливающие почти всю проезжую часть, и тогда по бокам машины, прямо из-под дверей, вспыхивают мутные водяные усы.

Шоферы – народ особый. И особость эта сильнее всего у «государственных» водителей. Какой-нибудь частник и машину побережет, и пешехода. А таксист или, как наш, на санитарной машине, ни за что по луже тихо не проедет – обязательно поднимет с земли фонтан грязи, чтобы прохожую девчонку грязью окатить. Ну что тут скажешь? Это тоже удовольствие – и не самая большая пакость, какую один индивидуум может сделать другому.

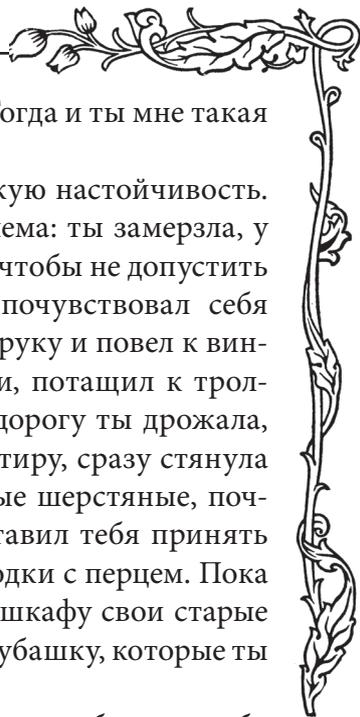
Проходит девушка в красном пальто и розовом берете, точь в точь как у тебя. Только сапоги черные и портфель черный. А у тебя они желтые. Между прочим, ты все-таки могла бы позвонить. У тебя сессия, и мне интересно знать, как ты сдаешь.

Могла бы хоть из приличия! Не чужой же я тебе, да мы и не ссорились. Разошлись – что ж тут, но позвонить-то можно! Большая ты все-таки сволочь!

Тогда, два года назад, у тебя и сапог не было. Был такой же, почти как сейчас, дырявый февраль – то мороз, то – сопли, и ты ходила в валенках. Тебе, наверное, тоже запомнился тот день, когда ночью был мороз и ты вышла в город в валенках, но днем вся природа потекла, и вален-



ки сразу промокли. Я случайно встретил тебя на улице, возле кондитерского магазина. Ты шла озябая, с посиневшим носом, но мысли твои были где-то далеко – так далеко, что, когда я тебя окликнул, ты несколько секунд бессмысленно смотрела на меня, чуть испуганно, пока не сообразила, кто я. Не могу до сих пор понять, обрадовалась ли ты тогда в первый момент или нет? А как важно, чтобы человек обрадовался именно в первый момент, пока не успел осмыслить, не успел «надеть физиономию». Какой это точный индикатор истинного отношения к другому человеку! Именно чувство, сопровождающее первое мгновение при неожиданной встрече! Потом все смазывается «обстоятельствами», простой вежливостью и еще черт-те чем. Но важен первый миг! Тут уж обмана нет. Поэтому сейчас мне важно знать, радовалась ли ты уже мне так безотчетно? Свое чувство я помню: была радость. На втором плане стояло волнение и неуверенность, ты точно определила с самого начала. Но неверно расшифровала смысл этой неуверенности: это была неуверенность мужчины в процессе ухаживания. Неуверенность, нужен ли я тебе, как ты это воспримешь, не обидишься ли? Никогда я не поверю, что завоевателя можно любить так же искренне, как если любовь добровольна. Для меня всегда была важнее ненавязчивость любви. То есть я прекрасно осознаю, что бабы – как кошки – любят не столько хозяина, сколько дом, в котором живут. Поэтому уверенный завоеватель тоже может рассчитывать на любовь, уверенность ценится. Но я совсем не уверен, что качество этой любви будет столь же высокой пробы. Подчинившаяся силе женщина легко сможет прельститься силой еще большей. Моя же сила – в моем уме, в моей любви. И если это не пересилит для тебя всего другого, какая же и для меня в тебе ценность? Значит, ты со-



всем не та, за кого я тебя принимаю. Тогда и ты мне такая не нужна.

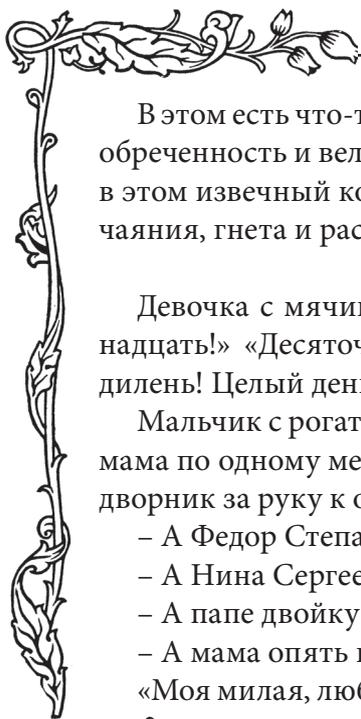
Но в тот день я проявил дьявольскую настойчивость. Передо мной была конкретная проблема: ты замерзла, у тебя мокрые ноги, нужно сделать все, чтобы не допустить простуды. В качестве спасителя я почувствовал себя очень уверенно. Я молча взял тебя за руку и повел к винному магазину. Купив бутылку водки, потащил к троллейбусу и привез к себе домой. Всю дорогу ты дрожала, как осиновый листик, а войдя в квартиру, сразу стянула с ног отяжелевшие валенки и длинные шерстяные, почти до колен намокшие штаны. Я заставил тебя принять горячую ванну и налил полстакана водки с перцем. Пока ты плескалась в ванной, я отыскал в шкафу свои старые теплые брюки, красную фланелевую рубашку, которые ты надела.

Мы пошли в кухню, чтобы выпить, и тут брюки с тебя упали.

Потом мы вспоминали, с какого же момента началась наша любовь, вернее, когда мы это почувствовали и запомнили как начало. Каждый из нас считал, что к нему первому пришла любовь или, точнее, ее осознание.

... И тогда становится очевидной выдумка о неспешности бытия, всей громадой своей поглотившего отрешившегося и затерянного странника. И бредет он, бредет далекими и опасными дорогами чистых и сильных мыслей.

Но почему же, почему не отрешиться и не забросить сейчас, сегодня? Где отыскать точную границу долга и призвания? Совести и бесстрашия? Обязанности и инакомыслия? Свободы действия и необходимости соблюдать каноны морали и борьбы за существование?



В этом есть что-то невысказанное, неотвратимое, в этом – обреченность и величие уединенного очищения от суеты, в этом извечный конфликт: страха и гнева, радости и отчаяния, гнета и раскованности.

Девочка с мячиком, об стенку – стук-перестук! «Двенадцать!» «Десяточка!» Прыг-скок! Динь-дилень! Динь-дилень! Целый день, целый день!

Мальчик с рогаткой. Дзинь! – стекла у соседа. Бэ-эмс! – мама по одному месту. Трах! – воробей на дереве. А-ай! – дворник за руку к отцу. О - й! – больно!

– А Федор Степаныч опять домой пьяный пришел.

– А Нина Сергеевна опять у Петьки ночевала.

– А папе двойку поставили...

– А мама опять плакала вчера ...

«Моя милая, любимая, хорошая, почему тебя так долго нет?»

«Не пиши мне больше, я люблю его».

«Скажи правду, ты изменял мне?» – «Ну что ты, дорогая! Конечно, нет!.. А ты?»

Кто бы вырвал у меня все эти мысли? Кто заставил бы меня забыть Цветаеву и Мандельштама? Кто поверил бы тому, что я не выдумал себя, что я такой! На самом деле!! Что я не живу, волокусь всеми нервами по придорожному гравию. Что нет и дня, когда я бы не подумал: «Зачем все это? Для чего? А можно и не так? Может, все – к черту?! Может, начать жить сначала?»

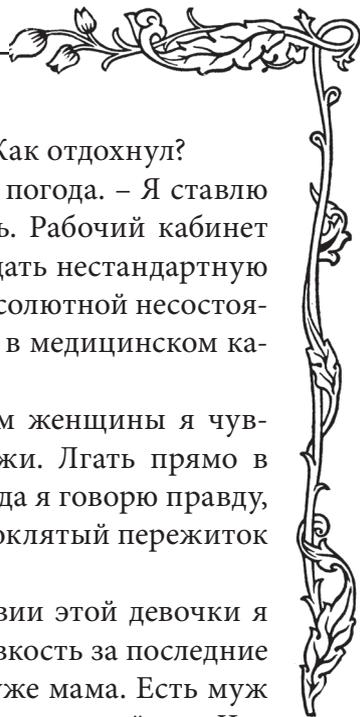
А этот разговор происходит, скажем, через десять лет.

– Входите, пожалуйста.

– Привет!

– Здравствуй!

– Ты обещал позвонить сразу после возвращения.



– Видишь ли...

– Не надо. Объяснения ни к чему. Как отдохнул?

– Очень хорошо, была прекрасная погода. – Я ставлю на подоконник кейс и присаживаюсь. Рабочий кабинет уныл и гол. Давным-давно обещают дать нестандартную мебель, но прелесть системы – в ее абсолютной несостоятельности. Никто не понимает, зачем в медицинском кабинете нестандартная мебель.

Не могу сказать, что под взглядом женщины я чувствую неловкость от собственной лжи. Лгать прямо в глаза мне привычно и легко, хотя, когда я говорю правду, чувствую себя гораздо увереннее. Проклятый пережиток возраста души под названием совесть.

Месяца полтора назад в присутствии этой девочки я испытал все же самую большую неловкость за последние годы. Собственно, она не девочка, а уже мама. Есть муж и все такое. Ей двадцать пять, сынишке шестой год. Что такое для меня двадцать пять? Ребенок!

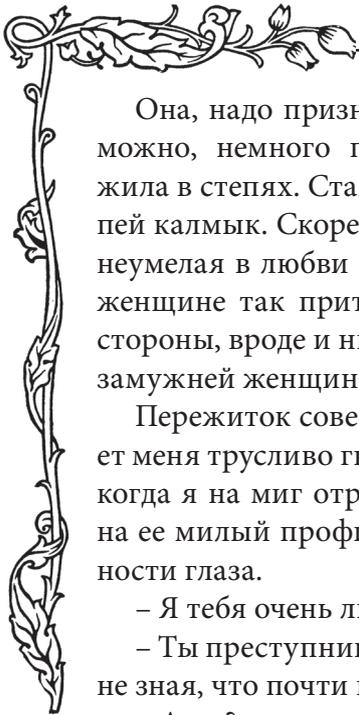
И вот этот ребенок как-то спрашивает меня, могу ли я говорить о любви, когда на самом деле не люблю. Я ответил, что, конечно, не могу, дескать, любовь – святое чувство. И я в это верю. Хотя сколько у меня детей, не знаю.

Перед глазами бежит ночная дорога, выхваченная из темноты светом четырех фар. На спидометре около ста двадцати. Редкие встречные машины, а меня несет в ночь... Мы оба рискуем. Она свыкается с новой фазой своей жизни. Первый любовник, первая измена. Может быть, первая любовь. Так она считает. Говорит, до этого никогда не любила. И я ей верю. Легче верить, чем не верить.

– Ну что, пойдём? – спрашивает она, поднимаясь.

– Пойдем.

Мы садимся в машину и медленно кружим по городу.



Она, надо признать, очень привлекательна, хотя, возможно, немного простовата. Оправдывается тем, что жила в степях. Стало быть, понимает. Тоже мне друг степей калмык. Скорее всего, говорит правду. Очень уж она неумелая в любви была сначала. Потом научилась. Хотя женщине так притвориться ничего не стоит. С другой стороны, вроде и ни к чему. Поступок довольно смелый – замужней женщине на десять дней рвануть из дома.

Пережиток совести, этот жалкий рудимент, заставляет меня трусливо гнать от себя правду. И это мне удастся, когда я на миг отрываюсь от лобового стекла и смотрю на ее милый профиль, пухлые губки, блестящие от нежности глаза.

– Я тебя очень люблю, – говорю я.

– Ты преступник, – произносит она с нежной улыбкой, не зная, что почти права.

– А ты? – стараюсь я свернуть тему разговора в сторону.

– А я нет.

– Почему же?

– Потому что я тебя люблю.

На улице пронизывающий ветер, а в машине тепло. Там – лужи, подернутые льдом, а мы сидим без пальто.

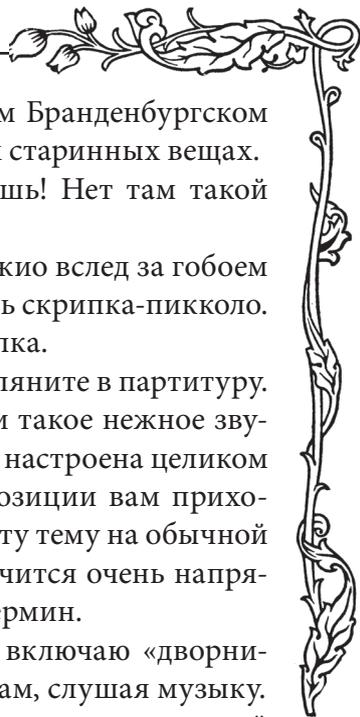
Интересно, я хороший человек?

Наклонившись, я ткнул кнопку, и из стереоколонок полилась музыка. Приходится признать, что раньше я, например, не знал, что существует такой инструмент – скрипка-пикколо. Спросил как-то у профессионального скрипача – не знает.

-- Вы имеете в виду флейту-пикколо? – и снисходительно улыбнулся.

– Нет, я имею в виду скрипку-пикколо.

– Где же вы ее слышали? – и снова иронически смеется.



– А вы тоже ее слышали. В Первом Бранденбургском концерте Баха. Да и во многих других старинных вещах.

– В Первом Бранденбургском? Чушь! Нет там такой скрипки.

– А вы помните, в знаменитом адажио вслед за гобоем тему подхватывает скрипка? Это и есть скрипка-пикколо.

– Да что там! Самая обычная скрипка.

– А вы послушайте еще раз или загляните в партитуру. Разве может быть у обычной скрипки такое нежное звучание в таком высоком регистре? Она настроена целиком на квинту выше. Я не знаю, какие позиции вам придется брать, для того чтобы сыграть эту тему на обычной скрипке, только звук наверняка получится очень напряженный, простите за дилетантский термин.

Смеркается. Начинается дождь, я включаю «дворники», и мы еще долго катаемся по улицам, слушая музыку.

Ты, наверное, не можешь себе представить, что такой разговор происходит через много лет. Но в тот момент, когда я прихожу к тебе отдать книгу, а ты предлагаешь мне пива, и этот разговор, и это движение в машине, и эта музыка уже звучат, они уже имеют место, они спроецированы на наше прошлое, на наше настоящее, которое по отношению к этому разговору с другой женщиной, с другой любовницей является далеко ушедшим прошлым и может показаться изменой этому прошлому.

Сопоставление лет мне кажется иногда бессмыслицей, иногда необходимостью – для того чтобы представить себя как единое целое, как последовательное развитие личности, что само по себе кажется мне теперь преходящим, как и сама личность, которая всегда привязана к своему времени, к своему пространству и поэтому может быть рассмотрена с определенной долей наивности.

Так что? Хороший я человек?

– Ты помнишь помидоры в Ахтубе? – тихо спрашивает женщина.

Три дня, точнее, трое суток мы стоим на Ахтубе недалеко от Волжска, напротив Волгограда. День ото дня женщина становится милее, ближе, домашнее. Впечатление, что мы путешествуем не первый месяц, любим друг друга всю жизнь, и никогда не было тебя, никогда не было Гали, никогда не было всех других – тогда, много лет назад и все последующие годы...

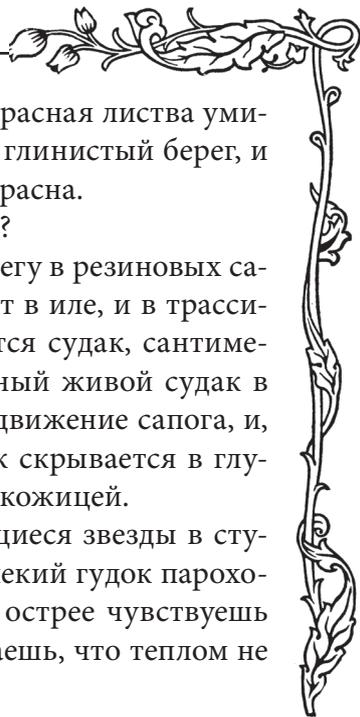
И все эти три дня на быстрой Ахтубе дважды в сутки сменяются приливы и отливы, все время плывут крупные спелые помидоры, сладкие и душистые. Стоя по колено в воде, я ловлю их рубашкой и собираю вокруг машины в крупные горки.

Пахнет осенью, сентябрем, желтыми листьями и дымом костра, который я снабжаю дровами. С мудростью и деловитостью первобытной женщины Ленчик (так я зову ее, и ей очень нравится) разводит огонь и готовит пищу для первобытного мужчины, добытчика огня и съестного, уставшего от вождения автомобиля.

Приливы и отливы сопровождаются шумом, и, если закрыть глаза, кажется, что на воде ветер и шторм. Нет, деревья леса неподвижны и на воде ни барашка, только перекатываются от сильного течения желтые волны.

Прилив вечером, отлив утром.

А помидоры плывут круглые сутки. Крупные, с тугой матовой кожурой. И вдруг среди них, как красные рваные раны, уже погрузившиеся в воду по маковку, крутятся в быстрых волнах, переворачиваются на брюхо и тонут. И как кровь, вода красна от сверкающей кожуры, и во время отлива стоят красные остовы неживых марсианских кустов в неживой марсианской реке, и светится в



ней неживое марсианское солнце, и красная листва умирающих осенних кленов сыплется на глинистый берег, и мутится ил на закате, и вся природа красна.

– Ты помнишь помидоры в Ахтубе?

Ночью я бреду с фонариком по берегу в резиновых сапогах, которые по щиколотку увязают в иле, и в трассирующем свете тонкого луча появляется судак, сантиметров пятьдесят, не больше, но реальный живой судак в каком-нибудь метре от меня. Легкое движение сапога, и, взметнув столб илистого дыма, судак скрывается в глубине. А сапоги покрыты помидорной кожицей.

Наверху застыли льдистые искрящиеся звезды в студеном черном небе, и протяжный далекий гудок парохода повисает в тихом воздухе, отчего острее чувствуешь его чистоту и холод и сразу вспоминаешь, что теплом не убережен только кончик носа.

Сапоги плещут по илистому берегу, и далеко, к противоположным горам, летит их шуршащее эхо. А берег густо усеян гниющими помидорами, наполняющими весь этот холодный и тонкий воздух сладковато-кислым терпким запахом.

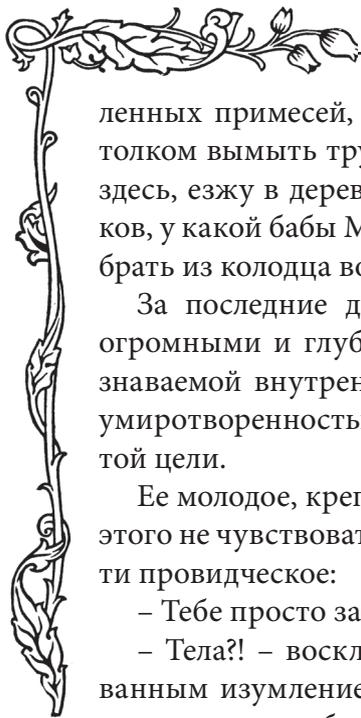
– Как ты думаешь, почему они плывут? – спрашивает Ленчик, озабоченно глядя в воду.

– Не знаю. Может быть, где-то несколько грузовиков с ящиками помидор опрокинулись в реку.

– Ну да! И все три дня плывут они с этих грузовиков?

Я и сам понимаю нелепость своего предположения. Но не может быть, чтобы кто-то сознательно опускал в реку излишки. В Москве они по полтора рубля на базаре стоят, а эти и по два пятьдесят пошли бы. Отборные.

Вспоминая утренний разговор, я поднимаюсь по крутому берегу, светя себе фонариком. Вода в Ахтубе жесткая и с таким деревянным вкусом от сточных промыш-



ленных примесей, что ее не то что пить, но и руки ею толком вымыть трудно. И я каждый день, что мы стоим здесь, езу в деревню и расспрашиваю у пьяных мужиков, у какой бабы Маланьи или бабки Марины можно набрать из колодца водицы повкусней.

За последние дни Ленчик загорела, ее глаза стали огромными и глубоко-синими от любви и впервые познаваемой внутренней озаренности покоем, единением, умиротворенностью и ощущением праздника достигнутой цели.

Ее молодое, крепкое тело пьянит меня, и она не может этого не чувствовать. Она рада, но вдруг вырывается почти провидческое:

– Тебе просто захотелось свежего тела.

– Тела?! – восклицаю я с таким хорошо прочувствованным изумлением, что и сам начинаю верить в свою чистоту, что не было никогда и никого, кроме этой прелестной девочки-женщины.

Так что? Хороший я человек?

– Ты мое божество! Любимая! Единственная! – шепчу я ей, мысленно прищуриваясь и с усилием сгоняя улыбку с угла рта.

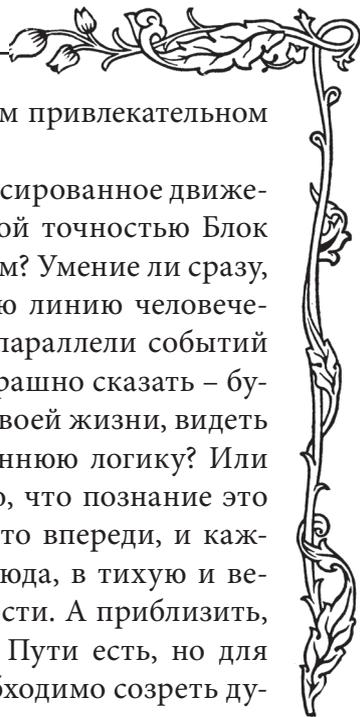
Помню ли я помидоры в Ахтубе?

И есть ли вообще такое, что сыграло свою роль в моем становлении и чего я не помню? Забывается многое – и слава богу, что забывается, только не такое.

Хотел ли я нового тела? Не будем жеманиться хотя бы перед собой. И это не последнее в моем выборе. Но, само собой, не только это.

Исследование должно идти до полного конца, итог его – не полное ли саморазоблачение?

Рефлексия – удел неспособных к большим и маленьким революциям, так будем же держаться за это, и это –



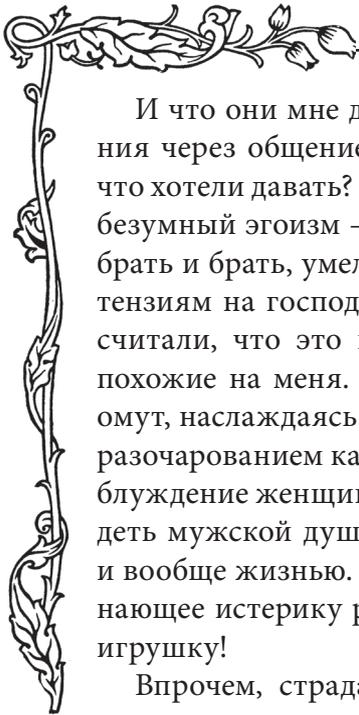
жизнь, хоть, может быть, и не в самом привлекательном виде.

И что такое умение видеть сконденсированное движение времени, которое с компьютерной точностью Блок назвал единым музыкальным напором? Умение ли сразу, одновременно, держать в памяти всю линию человеческой истории и жизни, нащупывая параллели событий прошлого и настоящего, а потом – страшно сказать – будущего, пусть хотя бы только одной твоей жизни, видеть в этом последовательность и внутреннюю логику? Или это что-то еще большее? И ведь ясно, что познание это непременно предстоит каждому где-то впереди, и каждый должен неисповедимо прийти сюда, в тихую и величественную обитель вечной мудрости. А приблизить, ускорить приход – как это сделать? Пути есть, но для того чтобы встать на такой путь, необходимо созреть душевно.

Растрчивая себя на познание, подвергая моральному самосожжению, заставляя страдания достигать высокого накала на грани самоубийства физического – хватит ли после этого сил доплыть до берега уже в этой жизни или ждать следующей?

Я ни одной секунды не верю в слова, которые произношу: любимая, единственная. И не понимаю, что потребность в доброте, постоянстве, спокойствии, потребность быть с женщиной и знать, быть уверенным, что каждый следующий шаг придает больше убеждения, что под ногами – твердь, что потребность во всем этом готовит для меня новую западню, построенную на фундаменте ожидания маленького личного благополучия.

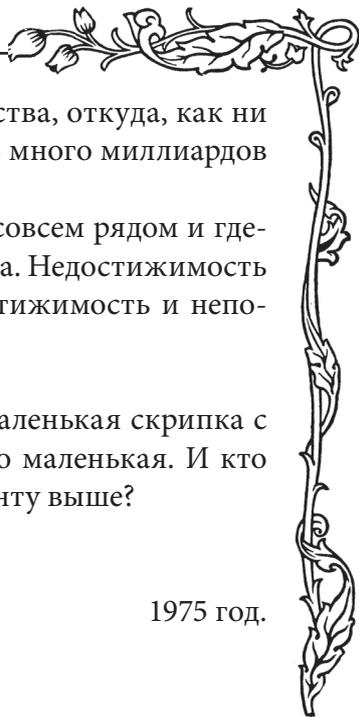
Кто сказал, что в любви не меньше, чем давать, важно умение брать. Умел ли я когда-нибудь раньше брать от женщин, которых любил, то, что они могли мне дать?



И что они мне дали кроме моего личного самопознания через общение с ними? Сами по себе – что дали и что хотели давать? По-моему – так мне подсказывает мой безумный эгоизм – ничего. И сами хотели только брать, брать и брать, умело и тонко подчиняя меня своим претензиям на господство в их личных владениях, то есть считали, что это их личные владения, подозрительно похожие на меня. С превеликой радостью я лез в этот омут, наслаждаясь тем, что давал наслаждение. И каким разочарованием каждый раз заканчивалось извечное заблуждение женщины, что она имеет законное право владеть мужской душой, равным образом как и его телом, и вообще жизнью. А результат – страдание, так напоминающее истерику ребенка, у которого отняли любимую игрушку!

Впрочем, страдание есть страдание, независимо от того, что его причиняет, и сколько бы нам ни казалось, что нравственное наше страдание о несовершенстве души выше и благороднее, чем этакое детское, смысл от этой иллюзии не изменится. А если женщина идет к тому же самому, что и мы, только своим собственным, для нас чуждым и неприемлемым путем? Вечная вражда, вечная непримиримость, неистребимый антагонизм любви! И чего бы стоили все эти оправдания, не будь мы так прочно связаны путами ложной морали, боязни, но и желания уберечь другого, а следовательно, самих себя от боли и обид. И получается славная и звонкая заключительная пощечина всем длинным размышлениям: все это, дражайший сэр, лишь защитная реакция, и все поведение носит жалкий оборонительный характер.

От тебя до помидоров в Ахтубе столько шагов, что не хватит жизни, и когда я в гениальном порыве воображения вглядываюсь в эту дорогу, кажется, что она поднима-



ется, уходит в космические пространства, откуда, как ни странно, до тебя гораздо меньше – во много миллиардов раз – шагов.

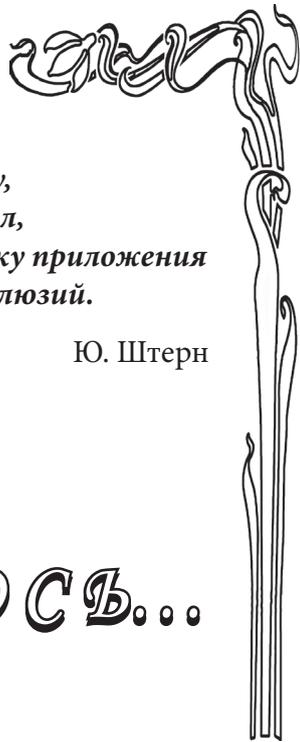
Ах, милая! Помидорки эти где-то совсем рядом и где-то там, куда тебе нет и не будет доступа. Недостижимость пути – недостижимость цели. Недостижимость и непо-стижимость?!

– Скрипка-пикколо? Это просто маленькая скрипка с самым обыкновенным строем, только маленькая. И кто тебе сказал, что она настроена на квинту выше?

1975 год.



И голых веток осень



*Посвящается другу,
которого я выдумал,
чтобы иметь точку приложения
всех жизненных иллюзий.*

Ю. Штерн



СОЛНЦЕ КОСНУЛОСЬ...

Предисловие

Впервые в своей жизни я пытаюсь осмыслить не причины (которых никогда нет), а, скорее, взаимосвязь и странную непоследовательность происходивших друг за другом событий, отчего они все больше кажутся мне взвешенными во времени, наподобие молекул, в огромном жидкостном пространстве, где внутренняя связь обусловлена не временными соотношениями, а, как в полотнах импрессионистов, единством чувственного тона. Мне кажется, то есть я даже уверен, что в настоящем есть признаки прошлого и будущего. Молекулы перемещаются во времени по законам диффузии и иногда оказываются не там, где их ожидают увидеть. Поэтому внешне неожиданное происшествие в действительности давно живет где-то внутри

временного резервуара, и только тонкий механизм предчувствия может обнаружить его первые признаки.

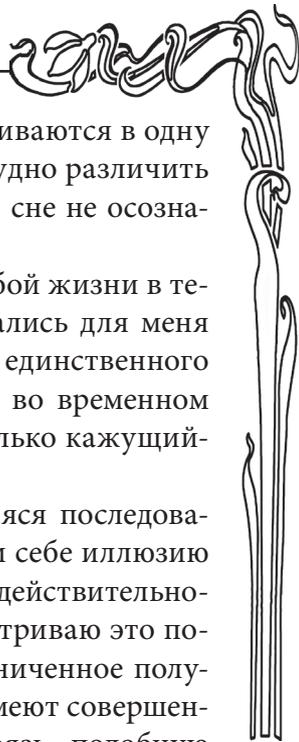
Эта мысль приводит меня в трепет.

То, что произойдет, уже звучит в настоящем слабыми, почти неуловимыми нотками, и нужно только своевременно распознать его признаки, чтобы предотвратить или, по крайней мере, быть готовым к нему.

Ко мне будущее приходит в снах. Я замечал, что до какого-то потрясшего события мне снились ситуации, имевшие к нему несомненное отношение. Если событие неприятное, заставившее пережить боль, унижение (это бывает чаще всего), я неизбежно вспоминаю, что за некоторое время до него мне снились тревожные сны с переживанием подобных ситуаций.

Ко мне будущее приходит в разговорах близких и ми. Например, если рассказывают о чем-то, не имеющем ко мне прямого отношения, но при этом рассказе я испытываю безотчетную тревогу, волнение или болезненную заинтересованность, вскоре рассказываемое непременно коснется меня самым неприятным или тревожным образом.

Мысленно возвращаясь к тому, что мы с тобой теперь привыкли называть «ситуацией», я невольно вспоминаю как сон – один из тех, когда, уже проснувшись, долго не можешь отделаться от удивительной достоверности пережитого во сне. Кажется, что сон уже слетел, ты стряхнул его остатки, встал, умылся, позавтракал, пришел на работу, а мелочи в течение дня напоминают сновидение. Прошел день, неделя, месяц, полгода, а в привычных повседневных событиях ты находишь что-то, что неизбежно воскрешает в памяти давно забытое.



Проходят годы, и тогда впечатления сливаются в одну сплошную длинную вереницу, где уже трудно различить реальные события и сновидения. Ведь во сне не осознаешь, что спишь!

События, разыгравшиеся в нашей с тобой жизни в течение полугода или немного более, оказались для меня разбрызганными по полотну памяти – единственного критерия и объекта моих наблюдений – во временном беспорядке. Беспорядок этот, конечно, только кажущийся. По-видимому, наоборот!

Время и есть тот порядок, та кажущаяся последовательность, благодаря которым мы создаем себе иллюзию целенаправленности своего поведения. В действительности ничего случайного нет. Если я рассматриваю это полотно как замкнутое пространство, ограниченное полугодом, то вижу, что отдельные события имеют совершенно определенную внутреннюю взаимосвязь, подобную графическому равновесию, создающемуся расположением фигур или цветовых пятен на полотне художника. Связь эта для меня иногда совершенно очевидна, иногда почти неуловима, но никогда я, наверное, не сумею постичь их действительного смысла, прибегая к последовательному (с точки зрения времени) рассмотрению. Хотя в некоторых участках полотна события, как капли краски, слетевшие с кисти на холст от неосторожного движения руки, имеют одно направление, скорее, противоположное тому, в котором движется время.

*Весна наводит сон. Уснем.
Хоть врозь, а все ж, сдаётся, все
Разрозненности отводит сон:
Авось увидимся во сне.*

М. Цветаева

Только теперь все нужно было закончить и привести в порядок. Потому что пора было ложиться спать, и крохотные стрелки внутри крохотного механизма показывали половину жизни.

... Вот стоит стол. Над ним – круглое женское лицо, за стеклами очков – нежно-серые глаза, непоколебимо уверенные в своей наблюдательности. Но стол стоит н и г д е. Вернее, он в и с и т в зеленой паутине, натянутой вместо струн коричневого рояля. Слегка дрогнув, ворсинчатые губы отчетливо произносят:

– Он ушел, – и весенние капельки моцартовской сонаты весело подрагивают в зеленых нитях.

И вдруг тихий густой звук наполняет комнату, как горячий кофе – стакан. Тогда лицо из цветного пергамента начинает переливаться за стеклами аквариума, а плавно гребущие ладони приближаются к моим губам:

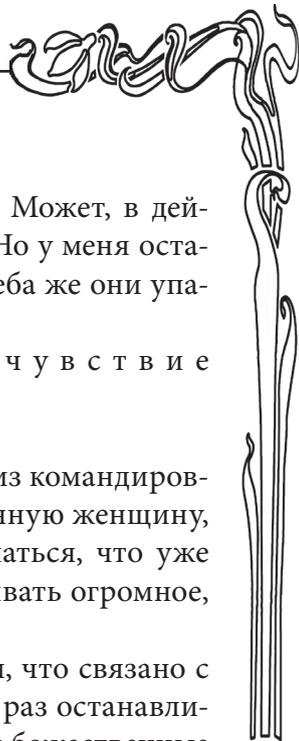
– Ах, король! Ах, умница!

– Нет, – говорю я, с усилием разорвав немоту слипшихся губ, – объяснить очень непросто, даже на расстоянии времени.

– Но ведь э т о случилось?

– Да.

– А правда ли, что вначале тебе э т о приснилось?



– Да!..

– А могло ли так быть?

– Не знаю. Вероятно, мне показалось. Может, в действительности ничего такого и не было? Но у меня остались фотографии, а у тебя письма. Не с неба же они упали?

Потом, как и всегда, пришло предчувствие прошедшего.

Помнишь тот день, когда ты вернулся из командировки и рассказал, что встретил необыкновенную женщину, которую полюбил? Теперь должен признаться, что уже тогда, слушая тебя, я вдруг начал испытывать огромное, ничем не объяснимое волнение.

С детства преклоняющийся перед всем, что связано с таинственным чувством любви, я всякий раз останавливался, как завороченный, когда замечал ее божественные знаки.

Я ушел от тебя со странным чувством, очень напоминавшим зависть. Магия вспыхнувшей около меня любви окутала сладким туманом, даже не дав сообразить, что я уже в ее власти.

Я не осознавал, что попал под гипноз твоего рассказа (во сне не осознаешь, что спишь) и влюбился в эту женщину задолго до того, как встретился с ней в жизни.

Ты спросил, правда ли, что я предчувствовал такой конец. Конечно, нет. Но то, что произошло, постепенно убедило меня в том, что я пережил предвестника «ситуации» раньше. Эта концовка звучала с самого начала в том тревожном настроении, которое сопровождало мои мысли и действия задолго до самой «ситуации». Сон этот приснился мне после того, как ты рассказал о встрече с ней.

Помнишь, как ты долго ждал от нее письма? Так вот, я тоже ждал этого письма, и неизвестно, кто из нас двоих ждал больше.

Потом, через несколько недель, когда я увидел твою женщину и когда все произошло, образ, нарисованный тобой, никак не хотел рассеиваться. Он был сильнее и ярче оригинала.

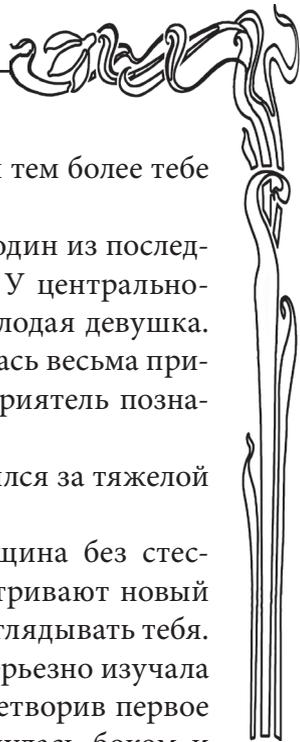
С первого взгляда я начал чувствовать в ней дисгармонию и увидел, что ты создал в своем воображении чистейшую идеализацию. Но я не хотел верить своим глазам и легко позволил себя запутать. Потому и оказалось возможным то, о чем я сейчас пишу.

Теперь я многому могу найти объяснение, но не знаю, как выразить это словами. Слишком много непереводаемо на язык слов...

Я часто чувствую себя, как на вокзале, когда до отхода поезда остается несколько минут, а сказать нужно очень много. И тогда понимаешь, что лучше ничего не говорить.

Я уже давно отчаялся объяснить кому-нибудь так, как думаю на самом деле. Слова совсем не похожи на мысли, которые живут внутри. Мы употребляем одни и те же слова, но в разном значении. «Мысль изреченная есть ложь». Никто и никогда словами не докажет, что понимает лучше, нежели молча. Мимолетно блеснувшего взгляда, сдержанного вздоха, кольца рук, вдруг сомкнувшегося за спиной, сбившейся пряди волос больше чем достаточно, чтобы заслонить самые высокие вершины, где парит прозревшая мысль, чтобы стройные логические системы сделать кучей жалкого хлама.

Я хотел все привести в порядок. Но все перепуталось, а крохотные стрелки внутри крохотного механизма показывают уже половину жизни.



Попробую начать так.

– Я не могу, – говорил ты, – ни себе, ни тем более тебе объяснить то, что произошло.

Твоя командировка прошла удачно. В один из последних дней ты пошел с приятелем в кино. У центрального входа в кинотеатр стояла стройная молодая девушка. Когда вы подошли ближе, девушка оказалась весьма привлекательной женщиной лет тридцати. Приятель познакомил тебя с ней и, бросив через плечо:

– Вы тут поболтайте, а я мигом! – скрылся за тяжелой стеклянной дверью.

Наступило тягостное молчание. Женщина без стеснения, с любопытством, с которым осматривают новый музейный экспонат, принялась в упор разглядывать тебя. Несколько минут она сосредоточенно и серьезно изучала твое лицо и костюм, потом, словно удовлетворив первое любопытство и утратив интерес, повернулась боком и стала кого-то высматривать на троллейбусной остановке.

Молчание тянулось довольно долго.

И вдруг...

– Скажите, правда ли, что ипохондрия мучает не только злобой и досадой на обстоятельства настоящего, не только бессознательным страхом перед искусно придуманными несчастьями в будущем, но и незаслуженными упреками за свои поступки?

Она продолжала стоять к тебе вполоборота, не меняя позы, не дрогнув ни единым мускулом.

Ошарашенный неожиданным каскадом, ты смотрел на невозмутимый профиль и нашелся не сразу:

– Я думаю, что если вследствие постоянного несчастья подавленные притязания сведены к минимуму, то неожиданные счастливые случайности не находят в нем способности к их восприятию.

– Да-а? – повернулась она к тебе всем корпусом. Ее глаза глядели восхищенно. И она сказала уже совсем печально:

– А как же надежда?

– Будем считать, что для вас это тот самый случай, – ответил ты.

– Не знаю, как принять ваши слова, но мне показалось, что упала звезда...

– И вы пришли за ней?

– И я прошла п о д ней!..

– И вы уверены, что добьетесь своего?

– Ах, – прошептала она, – я никогда ничего не добиваюсь.

– Потому что экипаж уже подан!.. Но нет седоков, да?

– Нет! Нет!.. Ничего вы не понимаете! Седоков сколько угодно, порой слишком много! И все едут... едут... Хоть бы кто-нибудь остановился, кто-то заметил!..

– Вы считаете, что свет без добрых людей?

– Нет, почему же? Очевидно, они где-нибудь существуют, только это очень далеко...

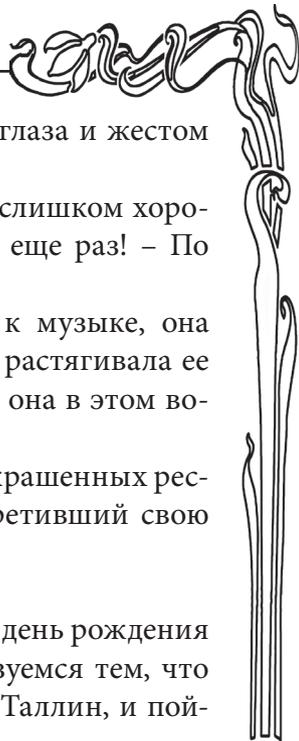
Ты выдержал короткую паузу и спросил:

– Скажите, а почему у гномов не растут усы?..

Ты задал этот вопрос, чтобы поддержать разговор. После нескольких фраз ты почувствовал, что никуда не хочется идти, что тебе хочется стоять с ней, и много отдал бы, чтобы продолжить разговор в другом месте. Ты мысленно начал подыскивать предлог, чтобы увести ее отсюда, и тебе пришел на ум этот неожиданный вопрос:

– Скажите, а почему у гномов не растут усы?

Она вздрогнула и продолжала молчать. По ее лицу разлилась испугавшая тебя бледность. Она прикрыла глаза и покачнулась, но в тот момент, когда ты, ничего не понимая и холодея от страха, что она сейчас упадет, сделал



движение, чтобы удержать, она открыла глаза и жестом остановила тебя:

– Нет-нет, не надо! Мне хорошо, даже слишком хорошо, вы сейчас все испортите. Повторите еще раз! – По лицу ее потекли слезы.

Прислушиваясь к твоим словам как к музыке, она бледнела еще больше, и странная улыбка растягивала ее губы. А ты недоумевал, что такого нашла она в этом вопросе.

Едва она успела вытереть черные от накрашенных ресниц слезы, вернулся твой приятель, встретивший свою жену.

Дальше все произошло стремительно.

– Кстати, – вдруг сказала она, – сегодня день рождения великого царя Навоходоносора. Воспользуемся тем, что моего благоверного на неделю послали в Таллин, и пойдем ко мне.

Вы провели вечер в маленькой теплой компании в однокомнатной квартире на пятом этаже. Был интеллигентский треп о поэзии и кибернетике. Были Шагал и Шопенгауэр, Хуциев и Антониони, смотрели футбол и пили. Потом стали прощаться. На лестнице твой приятель шепнул: «Она просила тебя вернуться». Ты кивнул. Бросился назад и пулей влетел на пятый этаж. На звонок никто не ответил. Ты слышал, как она напевает что-то за дверь. Ты звонил несколько раз, пение прекратилось. Она не открыла.

На следующий день ты оформил командировочные документы и вернулся поздно. Не успел снять плащ, как раздался звонок.

– Господи!.. Где вы пропадали? Мне необходимо вас срочно видеть. Приезжайте немедленно.

Ты поймал такси и через двадцать минут был у нее.

Она говорила, что не знала, как ты отнесешься к просьбе приехать, но главное было увидеть тебя.

Она рассказала, как тяжело прошли длинные десять лет замужества, как всегда была лишь красивой девочкой при муже, ее не принимали всерьез, а редкие встречи с понявшими ее людьми оканчивались быстро и грустно...

– А вчера мне показалось, что на меня свалилось счастье, которого я ждала всю жизнь.

Ты молчал, не понимая, как ординарный вопрос мог произвести такое впечатление. Ты боялся, что она очень скоро – сейчас – поймет, что ошиблась, и тогда наступит горькое разочарование. Но она, словно ничего не замечая, словно забыв всю предыдущую жизнь, вела себя, как девочка, которой подарили давно желанную дорогую игрушку...

На другой день ты улетел домой. Когда колеса самолета оторвались от взлетной дорожки, ты почувствовал, что в жизни произошло что-то необычное.

Мне казалось, ты сказал не все, что хотел. Поняв мой напряженный взгляд и как бы извиняясь, ты проронил:

– Потом. Когда получу от нее письмо.

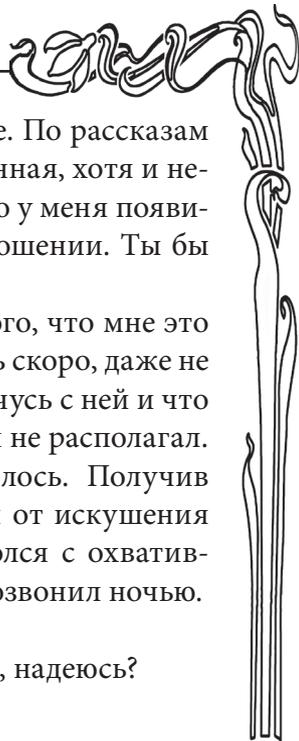
Прошла неделя. От нее ничего не было. Ты метался, не зная, что предпринять. И звонил мне по ночам: «Не случилось ли чего?»

Прошла еще неделя. Ты послал ей несколько писем «до востребования». Она молчала. Ты пытался успокоить себя тем, что в момент твоего отъезда она была нездорова и, вероятно, не могла выйти из дома.

– Может, ни то, ни другое, – отвечал я – Может быть, она просто тебя испытывает?

И я видел, что в тебя закрадывается червь сомнения.

Я, конечно, рассуждал абстрактно и теоретически. Далеко не все высказывал о том, что волей-неволей мог



думать об этой экстравагантной женщине. По рассказам и письмам представлялась довольно странная, хотя и небезынтересная особа. Я не мог сказать, что у меня появилось сомнение в ее искреннем к тебе отношении. Ты бы просто не поверил.

Я не знал, что не ошибаюсь. Не знал того, что мне это очень нужно знать. Не знал того, что очень скоро, даже не мог представить, насколько скоро я встречу с ней и что мне очень понадобится знание, которым я не располагал.

Наконец тревожное ожидание кончилось. Получив письмо, ты несколько часов удерживался от искушения сообщить мне об этом немедленно, боролся с охватившим тебя волнением, но не выдержал и позвонил ночью.

– Знаешь, она прислала фотографию.

– Вот как! – воскликнул я. – Покажешь, надеюсь?

Ты мягко возразил:

– Да стоит ли? Увидишь живую.

Как-то я засиделся на работе до ночи. Погода была великолепная, я не стал ждать троллейбуса и пошел пешком. Проходя мимо твоего дома, я увидел в окне свет и услышал приглушенные звуки музыки. Я позвонил из ближайшего автомата.

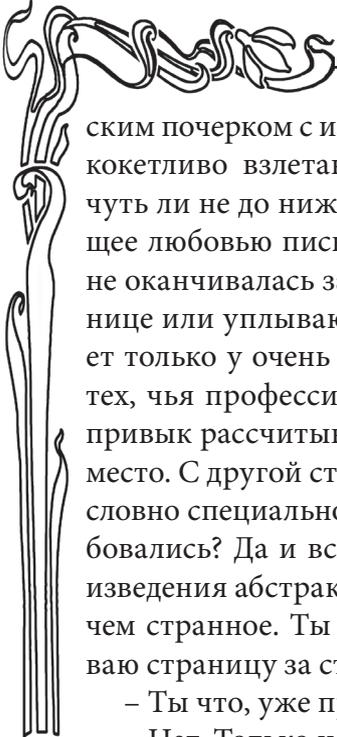
– Привет!

– Привет! Заходи! Ко мне пришли студенты. У них сегодня был выпускной вечер, и мы решили это отметить.

За последние недели я впервые слышал веселые нотки в твоем голосе. Я поднялся наверх, ты встретил меня и представил своим гостям. Мы сели за стол, и ты незаметно для гостей дал мне два конверта.

– Оба написаны в одну ночь, – шепнул ты. – Прочти.

Я осторожно взял миниатюрные конверты и вынул аккуратно сложенные тонкие листки. Ровным, почти дет-



ским почерком с извивающимися концами букв, местами кокетливо взлетающих или неожиданно ниспадающих чуть ли не до нижней строки, было написано это плещущее любовью письмо. Ни разу строка, как часто бывает, не оканчивалась загогулинами, забирающимися по странице или уплывающими по краю вниз. А ведь это бывает только у очень рассудочных людей, подумал я. Или у тех, чья профессия связана с постоянным письмом, кто привык рассчитывать длину слова и остающееся до края место. С другой стороны, откуда такая ровность буковок, словно специально выписанных для того, чтобы ими любовались? Да и вся страница имела вид манерного произведения абстрактной графики. Впечатление было более чем странное. Ты заметил, что я не читаю, а рассматриваю страницу за страницей.

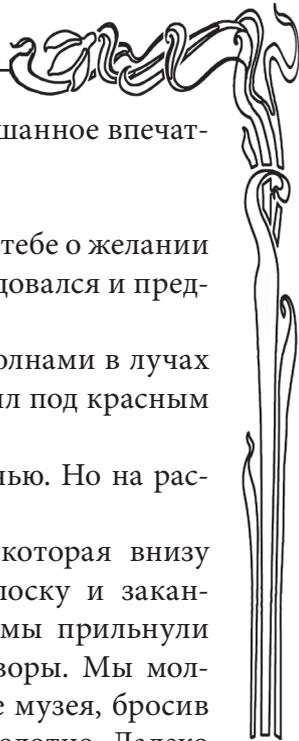
– Ты что, уже прочитал?

– Нет. Только начинаю, – ответил я.

– А я подумал, что ты занялся графологией.

Она писала о непомерной тоске вдали от тебя, о холодном дожде, который стучит и стучит в окно. А она не спит, потому что пишет тебе письмо. И еще к ней приходят гномы, у которых на ее глазах вырастают усы. Только это очень одинокие гномы. Один из них, рассказывала она, пожаловался на то, что живет на большой дороге и мимо него каждый день проходят люди, но его никто не замечает, потому что для всех он только бензозаправщик. И никто не знает, что у него на душе, что он хороший и готов сделать людям много добра. Писала, что не может без тебя жить. «Ты – праздник, который всегда со мной, ты – боль и радость моей души. Ты пришел оттуда, где люди всегда счастливы». И писала, что очень ждет тебя.

– Ну как? – спросил ты, когда я укладывал письма в конверты.



– Здорово, – ответил я. – Но очень смешанное впечатление, должен обдумать.

Только теперь я вспомнил, что говорил тебе о желании поехать т у д а повидать друзей. Ты обрадовался и предложил лететь вместе.

На большой высоте облака катились волнами в лучах заходящего солнца. Самолет словно застыл под красным морем, вздыбленным ветром.

Много раз я летал. Летал и днем и ночью. Но на расвете – впервые.

Обалдев от пронзительной бирюзы, которая внизу переходила в узенькую фиолетовую полоску и заканчивалась энергичной багровой гаммой, мы прильнули к иллюминатору, надолго оставив разговоры. Мы молчали так же, как замолкали иногда в зале музея, бросив первый быстрый взгляд на гениальное полотно. Далеко внизу тянулось море облаков, только уже успокоенное в загоревшемся рассвете лиловато-красных тонов. А над головой взгромоздился черный купол неба с еще не погасшими звездами.

Боже! До чего же это было прекрасно! Если бы возможно было отснять эту красоту! Корпус самолета начало слегка покачивать. Вспыхнуло табло: «Не курить!» «Пристегнуть ремни!»

Ты позвонил часа через два:

– Ты готов?

– Смотря к чему.

– Приехать сюда. Я плохо знаю этот район. О н а сейчас объяснит, как ехать.

– Здравствуйте, – услышал я в трубке вкрадчивый голос. – Скажите, вы и есть тот самый... о котором мне так много говорили?

– Если верить тому, кто говорил, – да. Я и есть. А что?
– Ну вот! Сразу – а что! Просто мне приятно с вами познакомиться. Пока хотя бы по телефону.

– Да? Не ожидал. Вероятно, я о вас знаю больше, хотя тоже только заочно, но пока не могу сказать так уверенно, приятно мне с вами познакомиться или нет. Наверное, приятно. Хочу надеяться.

– М–м–м... Вы... не кажется ли вам, что вы немножко не так начинаете? Я взяла трубку, потому, что меня попросили. Так вот. Слушайте. Вы слушаете меня?

– Да.

– Вы выходите из дома, поворачиваете направо, садитесь на сорок шестой автобус, доезжаете до Башни Слоновой кости, пересеживаетесь на тридцать третий в сторону Березовой рощи и выходите на остановке «Консервный переулок». Тут вас встретят.

Когда я приехал и мы с тобой вошли в комнату, она внимательно посмотрела на меня.

– Будем знакомы,

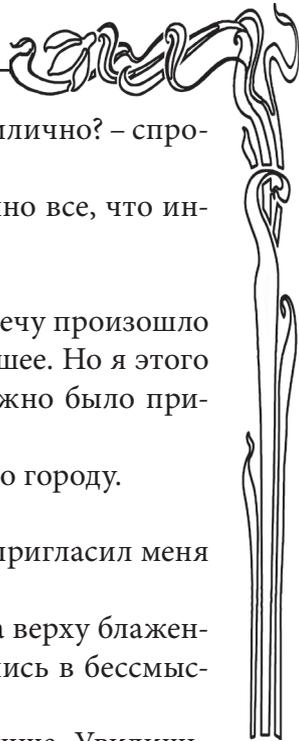
– Очень приятно. Теперь я вижу, что и в самом деле это очень приятно.

– Не думаю, – ответила она устало и повернулась к тебе.

Теперь я мог рассмотреть ее внимательнее. Гладко зачесанные волосы, розовая, даже неестественно розовая кожа лица, желтый облегающий костюм.

Очень яркая женщина. Слишком яркая. Пожалуй, красивая. Но есть в ней что-то... отталкивающее. Какая-то неприязненность. Словами не определишь. Интуитивно. Фигура слегка диспропорциональна... Ноги не очень стройные...

Нет, не то... В манере держаться какая-то претенциозность. Даже нарочитость.



– Вы знаете, что так разглядывать неприлично? – спросила она, не поворачивая головы.

– На мой взгляд, разглядывать прилично все, что интересно, – ответил я.

– Это где такие правила?

Позже она говорила, что в первую встречу произошло что-то, без чего не имело смысла дальнейшее. Но я этого не увидел и не понял, какое значение можно было придать этому короткому свиданию.

Потом мы с тобой долго еще бродили по городу.

А через три дня ты позвонил утром и пригласил меня где-нибудь позавтракать.

Эти дни ты провел с ней и пребывал на вершине блаженства. Твои губы беспрестанно растягивались в бессмысленную, счастливую улыбку.

– Ты обязательно должен узнать ее лучше. Увидишь, какой это чудный человек. Сплошное обаяние! Но фантазерка! Все понимает вот так! Ты пальцем сделал в воздухе выразительную спираль.

– Да-а! Этот способ восприятия мне знаком, – понимающе согласился я. – Ну а ее муж? Он уже приехал?

– Он задержался в очередной командировке. Ты сегодня занят?

– Нет, а что?

– Да так... Если я с ней встретиться не смогу, давай сходим в кино на «Призрак замка Моррисвиль».

– Хорошо. Одному мне надоело скитаться. Да и на душе скверно.

– Что у тебя?

– Я уже говорил. Никак не справлюсь. Хотя и давно это было. Но потеря есть потеря... Травма была тяжелая... Непоправимая. Ну да ладно. Может быть, я подь-

еду ненадолго, и от счастливого вашего вида мне станет легче? Если это возможно.

– Да что за разговор! Я тебе позвоню.

И все-таки я отправился в кино. Вскоре после моего возвращения ты позвонил:

– Где ты пропадал? Я звонил тебе много раз. И она звонила, просит передать ей трубку.

– Слушаю.

– Это вы?

– Что значит я?

– Ах вот как? Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Вы заставили нас беспокоиться. Мы думали, что с вами что-то случилось. Вы обещали ждать звонка. Или нет?

– Как приятно, когда о тебе кто-то беспокоится!

– Прелестно-прелестно! – сказала она с упреком. – Вот вы какой! Слава богу, что мы хоть заочно сделали вам что-то приятное! А говорят, что люди неблагодарны! Мы уже скучаем!

– Это плохо. Я вам, а особенно ему не завидую.

– Да нет, все это немного не так... – в голосе слышались нотки раздражения.

– Что не так? – удивился я.

– Видите ли, я не очень здорова. Плохо себя чувствую. А товарищ оказался с комплексами.

– А кто же без них?

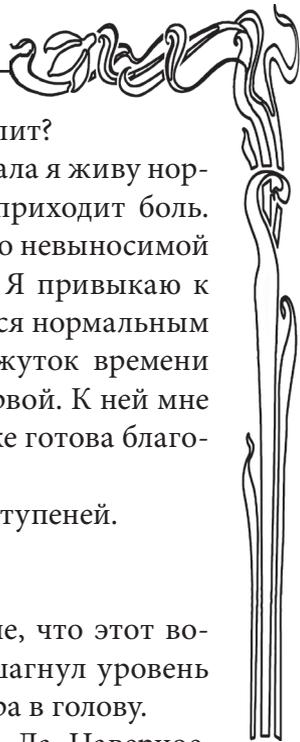
– Вы.

– Вот как? И откуда вам это известно?

– Я чувствую.

– Все-таки, что же у вас болит?

– У меня... Как бы правильно сказать?.. Психика болит.



– Это по моей части. А как она у вас болит?

– М-м-м... Знаете, это бывает так. Сначала я живу нормально. Потом вдруг – не знаю, зачем, приходит боль. Она причиняет мне большие страдания, но невыносимой она кажется только первые два-три дня. Я привыкаю к ней, и жизнь с болью начинает мне казаться нормальным состоянием. Но через некоторый промежуток времени приходит новая боль, гораздо сильнее первой. К ней мне тоже приходится привыкать. И когда я уже готова благодарить судьбу, все начинается сначала.

– Понимаю, – сказал я, – что-то вроде ступеней.

– В этом роде.

– Вроде лестницы, падающей в небо?

Спустя несколько дней она сказала мне, что этот вопрос так неожиданно и так далеко перешагнул уровень разговора, что она растерялась как от удара в голову.

– Вроде лестницы?.. Падающей в небо?.. Да. Наверное, так. Но... но сейчас меня интересует другое. Есть ли конец этой лестницы? И если есть, то где?

– Я думаю, – говорю я как можно более внушительно, – она н е з д е с ь .

– Что значит н е з д е с ь ? – испугалась она.

– Это значит, что она н е з д е с ь , она – т а м .

– Да? Тогда, может быть, лучше скорее т у д а ?

– Чепуха! Неужели вы не понимаете, что это ничего не изменит?

Чувствуя, что разговор уплывает в заморские дали, отчего из-под ног начинает уходить твердая почва, я всеми силами старался остаться на высоте. Но она сама сняла напряжение.

– А не кажется ли вам, что мы с вами заговорились? – спросила она резко. – Приезжайте сюда сейчас, – в трубке зазвучали нетерпеливо-властные нотки.

– Я не помешаю?

– Думаю, не надо лишних слов. Все будет прекрасно.

– Будем надеяться, но я не уверен в этом. А что мне захватить с собой?

– С собой? – она перешла на игривый тон, – наверное... мячик.

– К сожалению, его здесь нет! – ответил я.

– Тогда, – продолжила она тем же тоном, – что-нибудь цветное!

– Цветное?.. Это гораздо сложнее, чем ваша болезнь, падающая в небо! Постараюсь придумать.

Дверь открыл ты. Я решительно вошел в комнату. Она встала мне навстречу и, внимательно изучая настроенными глазами, расслабленно подала руку:

– Здравствуйте. Очень приятно.

– Здравствуйте. Это то, что требовалось? – показал я на бутылку вина.

– Конечно. Вы угадали.

– А знаете, что я сделал, когда вы сказали, что нужно захватит цветное? Я передел рубашку (на мне была действительно ц в е т н а я рубашка).

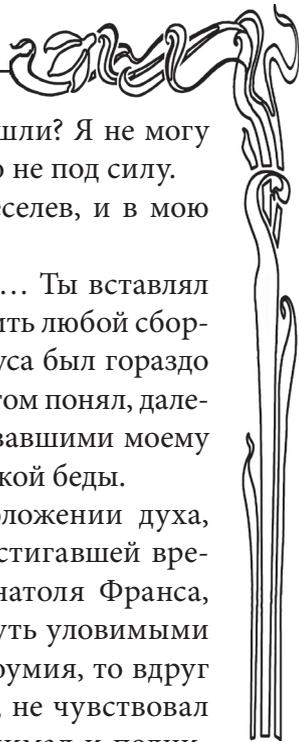
– Под словом «цветное» я подразумевала «радужное», что-то такое, отчего у меня немного исправилось бы настроение.

– Так я и понял, – соврал я. – Но когда вышел из автобуса, подумал: «Может, все гораздо проще?»

– Все не просто: все гораздо проще!.. – тихо сказала она.

– Во-от! И я о том же. Решил не усложнять и приобрел в гастрономе эту не очень цветную бутылку.

Ты сидел на коврике, прислонясь спиной к тахте. До сих пор с улыбкой прислушивавшийся к нашему диалогу, при последних словах ты бессильно схватился руками за голову и закачался как от зубной боли:



– Подождите, ребята. Вы что, с ума сошли? Я не могу общаться на таком уровне. Сейчас мне это не под силу.

– А ты догоняй, – крикнула она, повеселев, и в мою сторону сверкнул вызов.

Но до конца вечера ты так и не догнал... Ты вставлял блестящие фразы, которые могли бы украсить любой сборник острот, но общий уровень твоего тонуса был гораздо ниже обычного. Объяснялось это, как я потом понял, далеко не веселыми разговорами, предшествовавшими моему приходу, и внезапным предчувствием близкой беды.

Зато я, находясь в прекрасном расположении духа, возбужденный необычностью беседы, достигавшей временами уровня излюбленной манеры Анатоля Франса, беседы, вспыхивавшей то внезапными, чуть уловимыми колкостями, то каскадом взаимного остроумия, то вдруг разверзшейся бездной задетой проблемы, не чувствовал потерянной дистанции и увлеченно поднимал и поднимал уровень разговора. Мне льстило внимание, проявленное к потоку слов. Даже ты слушал меня внимательно. Потом мы замолчали, уплетая бисквиты и попивая кофе. Тут в наступившую тишину впорхнула она, легко и приятно возвестив о своем прибытии.

– Скажите, – обратилась она ко мне, – а почему вы не стали космонавтом?

Голос был так нежен, что зазвучал угрожающе. Ты захохотал. Беседа приняла шуточный тон, как вдруг какой-то чертик, сидевший во мне, подбил на провокационный вопрос:

– А почему у вас часто бывает плохое настроение и вы так часто болеете?

– Как вам сказать... Плохое настроение – и есть моя основная болезнь, а оснований для этого больше, чем достаточно. Главное – людей хороших мало.

– Вы не верите в человеческую искренность?

– Нет.

– Не верите, что существует простая добрая человечность?

– Нет, не верю.

– А вы приезжайте к нам! Мы вам покажем таких людей. В нашем кругу их довольно много.

– Не думаю, чтобы это прибавило что-то к моему представлению о людях. Я больше не верю в людей!

Она явно сбилась на дурной тон, и тот же чертик выпалил моими устами (на немецком языке):

– Это пошло! Это очень пошло! Я разочарован! Думал, что причины ваших лестниц, падающих в небо, лежат в более глубоких сферах...

Она побледнела и впилась в меня расширенными от ужаса глазами. Несколько раз судорожно глотнув воздух, она вдруг осела всем телом, как от приступа внезапной слабости.

– Что с вами? – спросил я, не подавая вида, что приятно удивлен ее реакцией.

– Вы... в самом деле... так думаете? – она положила руку на грудь, как бы успокаивая боль в сердце.

– А что тут думать, когда вы прямо выразили свою мысль!

– Я прошу вас, передумайте!

– Да что страшного произошло?

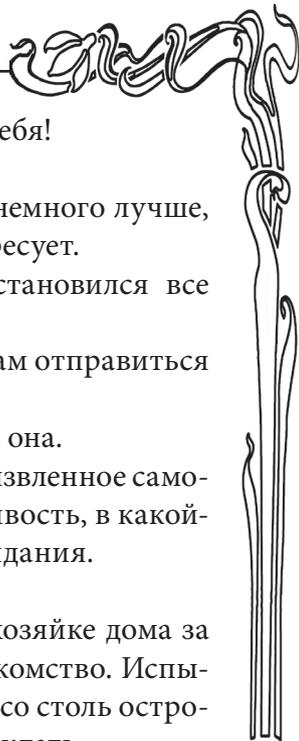
– Слушайте, я очень больна! Возьмите свои слова обратно!

– Ну, если только для того, чтобы вы успокоились... Пожалуйста.

– Я вас умоляю, перестаньте!

– Да я ничего не делаю!

– Я все равно докажу вам, что я хорошая! Вы не будете думать обо мне плохо!



– Посмотрим, посмотрим! Вы выдали себя!
– Ну, хватит! Я могу и рассердиться!
– Хорошо, не буду, но когда вам будет немного лучше, мы поговорим, ладно? Меня многое интересует.

Прошло некоторое время. Разговор становился все скучнее, и у меня сработал рефлекс:

– Уже поздно, – сказал я, – не пора ли нам отправиться по домам?

– Кому поздно, а кому – нет, – ответила она.

– В таком случае, – заговорило во мне уязвленное самолюбие, – прошу простить меня за назойливость, в какой-то момент я утратил чувство меры. До свидания.

– Давно пора, – вставила она ехидно.

– Выражаю глубокое удовлетворение хозяйке дома за приятный вечер и не менее приятное знакомство. Испытываю громадное удовольствие от беседы со столь остроумной и импозантной дамой. Смею утверждать...

– Слушай-ка, – перебила она меня, обращаясь к тебе, и нос ее кисло сморщился, – он всегда такой?

– Прошу прощения, если сфальшивил, но мне показалось...

– Видите ли, дело не в том, что вам показалось, а в том, что было на самом деле. Я имела в виду, что здесь никто никого не лимитирует. Вы можете сидеть, сколько того пожелаете. Никто не виноват, что вы сами себя наказали. Я вынуждена была это сказать. Снимите пиджак! Еще рано.

– Просто вы пытаетесь исправить положение, – сказал я с некоторым облегчением, – но поздно. В такое время автобусы не ходят, да и такси вряд ли. Ты остаешься? – повернулся я к тебе.

– Нет, что ты! Завтра у нас с тобой трудный день.

– Мальчишки! – подошла она к нам, – посидите, мне будет грустно, если отношения так быстро прервутся.

– А вы собираетесь их на этом прервать? – спросил я нагло.

Она выразительно посмотрела на меня и пожала плечами.

– Неужели вы никогда не остановитесь?

– Кончайте, ребята, – вмешался ты, – лучше давайте почитаем стихи.

Я снял пиджак и сел в кресло.

– Начинай, – обратился я к тебе.

Ты с минуту вспоминал, а потом начал читать переводы Гитовича древних китайцев.

– Ну а вы? – спросила она меня – чем нас порадуете?

Минут двадцать я читал Пастернака.

– Вы здорово читаете, – сказала она. – Почему вы не артист?

– То вы интересуетесь, почему я не стал космонавтом, то вас не устраивает, почему я не артист... Хорошо. Послушайте Цветаеву.

– Ого! Смело! Ее трудно читать хорошо.

– Я не претендую на мастерство. Попытаюсь донести основные мысли. И музыку, конечно.

– А что вы будете читать?

– Начну с «Поэмы горы».

Я начал читать, постепенно разгоняясь и нагнетая эмоциональный накал.

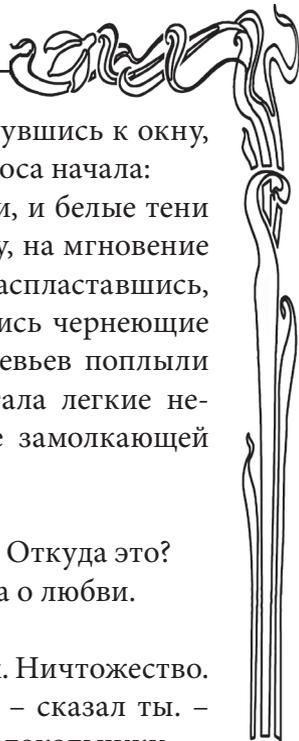
Когда я дошел до строк «...чтобы львом виноградники заворочались, лаву ненависти струя...», – она схватилась за голову и просидела так до тех пор, пока я не кончил.

Не давая ей передохнуть, я спросил:

– Вы верите снам?

– Конечно, – ответила она. – А что?

И тогда я прочитал «Новеллу о затяжном сне» Сельвинского, удивляясь, что она запечатлелась в памяти.



Она долго сидела молча. Затем, повернувшись к окну, как будто бы не обращаясь к нам, вполголоса начала:

«Солнце коснулось стебельков конопли, и белые тени облаков, медленно оседавших к горизонту, на мгновение оранжево вспыхнули и погасли. Сверху, распластавшись, полетела серебристая темень, и заструились чернеющие колокольчики вершин, от стынущих деревьев поплыли нежные сумерки, и медвяная мгла окутала легкие неровные силуэты, тающие в тихом звоне замолкающей зари...»

Я даже привстал.

– Боже! Что это? Какая дивная музыка! Откуда это?

– Это стихи в прозе. Сочинила я. Поэма о любви.

– Потрясающе! Вы – талант!

– Не надо похвал. Я несчастный человек. Ничтожество.

– Но это действительно замечательно, – сказал ты. – Только немного густовато: «Чернеющие колокольчики»...

– Ничего ты не понимаешь! – воскликнул я горячо. – Это же стилизация! Так я понял?

– Вы – умница, – ответила она.

– Солнце коснулось стебельков конопли! Мне это будет сниться! Как там дальше? «Распласталась серебристая темень?»

– Нет. «Сверху, распластавшись, полетела серебристая темень, заструились чернеющие колокольчики вершин» и так далее! Хватит! Сейчас нет настроения. Как-нибудь в другой раз почитаю.

– О, это как лестница, падающая в небо!

– Но ведь причины моих лестниц, падающих в...

– Перестаньте! Злопамятность не украшает! О черт! Сколько времени? Второй час ночи! Пора!

– Мальчики! Я буду очень беспокоиться. Как вы доберетесь?

– Да уж как – ни будь, ответил я.
Мы попрощались и вышли. На лестнице я остановился. Мы посмотрели друг на друга, и я молча развел руками.

– Знаешь, она прислала фотографию.
– Вот как! Покажешь, надеюсь?
– Да стоит ли. Увидишь живую... – Увидел. Во сне.

– Ты такой прекрасный и такой иногда грубый, – сказала она, глядя мои волосы. Я вскочил, не понимая, что происходит. На улице было светло. Наконец, согнав сон, увидел, что еще рано. И снова лег.

Мы шли по улице мимо галантерейного магазина. На витрине были выставлены убогие дамские сумочки.

Вокруг падали крупные желтые и красные листья.

– Ты что же, – спросил я, – хотела сохранить нас обоих?

– Но ты ведь тоже любишь меня, – сказала она.

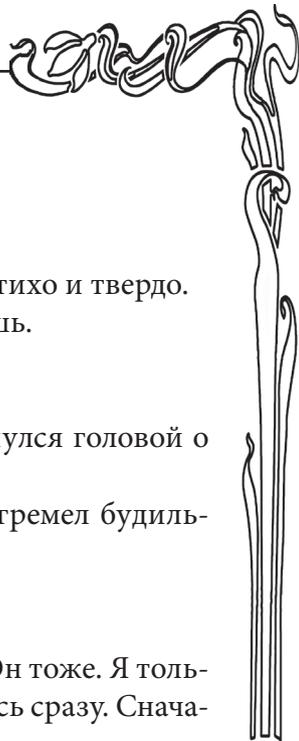
– Я не знаю, что тебе сказать. Что ты чудовище – слишком лестно, что ты ничтожество – слишком мягко. Я не знаю тебе определений...

– Боже мой, – плакала она, целуя, – какие у тебя руки! Какая в них неумолимая власть! Почему ты приехал только сейчас?

– Перестань его мучить, – произнес я упрямо. – Он не выдержит. Скажи ему правду.

Она засмеялась и обняла меня за шею. Вокруг было так тихо, что слышно было, как пролетел филин, задев крылом чье-то пустовавшее гнездо. Опираясь на руки, до локтей погруженные в преющую листву, она приподнялась и молча смотрела на меня.

– Иди ко мне, – проговорил я.



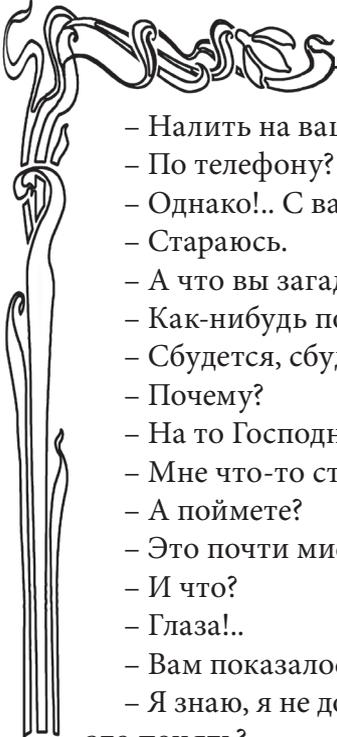
- Ты должен быть пианистом.
- Вот и кончился наш день.
- Прощай. Все кончено, и ты уйдешь.
- Но так не может быть.
- Поэтому так будет, – произнесла она тихо и твердо.
- Ты жалкая, поэтому ты плохо кончишь.
- А почему вы не стали космонавтом?

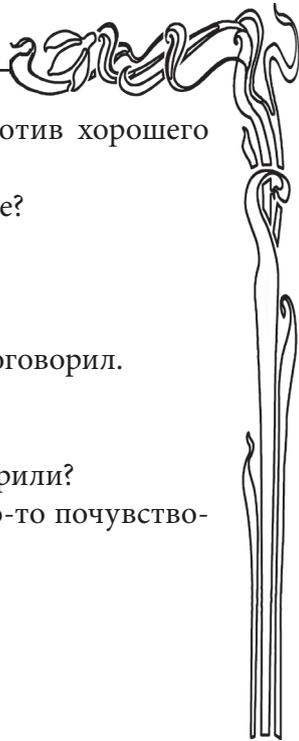
Раздался звонок.

Я бросился к телефону и больно стукнулся головой о косяк.

На тарелке с вишневыми косточками гремел будильник.

- Алло!
- Это я. Спешу вас успокоить. Я дома. Он тоже. Я только что ему позвонил. Машина подвернулась сразу. Сначала довели его, потом меня.
- А я все думала, позвоните вы или нет.
- Я же обещал. Вы действительно волновались из-за нас?
- Я потому и спать не легла. Все-таки вы оба порядочно выпили.
- Считайте, что оценил.
- Подождите! Не вешайте трубку!
- Я и не вешаю.
- Не прикидывайтесь! Вы в самом деле позвонили только потому, что обещали?
- Собственно... э-э-э...
- А что вы сейчас делаете?
- Я думал, что ваши способности... Достаяю из шкафа коньяк.
- Завидую. Час назад, когда вы ушли, я загадала и выпила рюмочку, и теперь не осталось ни капли.

- 
- Налить на вашу долю?
 - По телефону?
 - Однако!.. С вами не так просто.
 - Стараюсь.
 - А что вы загадали?
 - Как-нибудь потом. Если сбудется.
 - Сбудется, сбудется, не сомневайтесь!
 - Почему?
 - На то Господня воля.
 - Мне что-то страшно. Объясните!
 - А поймете?
 - Это почти мистика. Я вспомнила сейчас ваше лицо.
 - И что?
 - Глаза!..
 - Вам показалось, что я спрашивал вас о чем-то?
 - Я знаю, я не должна думать, что вы шутите. Но... как это понять?
 - Хотите в лес?
 - Я предпочла бы острова.
 - Почему?
 - Спокойнее.
 - Ну, это от невежества.
 - Мне обидеться или как?
 - Сейчас вы сами увидите. Сколько мы с вами знакомы?
 - Видимо, часов шесть. А причем тут это?
 - А сколько вы знаете о моем существовании?
 - Два дня. И все-таки, причем?
 - Я знаю вас несколько дольше.
 - А именно?
 - Вы сидите?
 - Сейчас стою. Встала за сигаретой.
 - Сядьте.



– Мне показалось, вы не грешите против хорошего вкуса.

– А в чем вы видите здесь противоречие?

– Что за чушь?

– Можно ответить просто: два месяца.

– Что значит просто?

– Пока мы сидели у вас, я многого не договорил.

– Но ведь вы же совсем не знали меня!

– Не торопитесь! Знал.

– Что вы имеете в виду? Чего не договорили?

– О капельках воды. Наверное, ОН что-то почувствовал. Мы все так поспешно засобирались

– О капельках воды?

– Верно. И о молекулах времени.

– Видимо, я перестала соображать

– Не перестали.

– Сколько вы меня знаете?

– Не надо спешить. И не надо опять думать, что у меня дурной вкус.

– Интригуете?

– Нет. Просто вы еще не на островах, а я люблю лес.

– Сколько же вы меня знаете? Не мучайте!

– Всю жизнь. Хотя это привычное выражение не кажется мне удачным. Точнее будет сказать – всегда.

– Интригуете?

– Дослушайте, пожалуйста. Мы живем в суете, в круговороте. В этой жизни для нас как бы определена роль, за границы которой нам нельзя. Поэтому выходит, что мы в скорлупе, как вы бы сказали – на островах. А представьте на минуту, что и суета, и привычка, и роль, которую мы играем, призрак, что жизнь последовательна лишь в нашем воображении, что мы верим этому с детства только по привычке. Но если, например, события не следуют



одно за другим, а перемещаются во времени свободно, как молекулы в жидкости? По законам диффузии? Жизнь на земле коротка, и уловить это не так просто, особенно если дух спит.

И вот что престранно в нашем разговоре: не кажется ли вам, что он был однажды? Что мы, так же как сейчас, говорили, только не по телефону, только словно бы не о том, и обоим нам казалось, что говорим без начала и без конца; и конец, может быть, и наступил, то есть и не конец, а завершение какого-то периода, а начало... Да помилуйте, не полчаса ли назад мы начали разговор, и разные части этого разговора оказались разнесенными в разные временные периоды, даже в разные эпохи, что некоторые фразы оказались сказанными двести, пятьсот, десять тысяч лет назад, что поэтому все предрешено, и раз так, то не все ли равно, когда...

– Стойте, у меня кружится голова. Я не верю.

– Еще как верите! И давайте сразу договоримся себя не обманывать.

– Хорошо. Но надо же хотя бы попытаться... переварить.

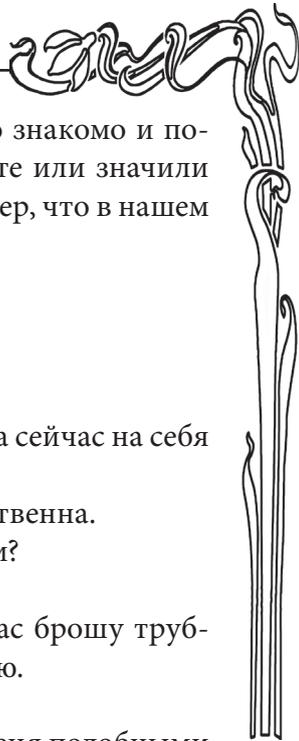
– Я договорю, ладно? Два месяца назад Он впервые рассказал мне о вас. О той вашей самой первой встрече. Не будем прятать голову под крыло: и о вашей первой ночи тоже.

– Я, кажется, начинаю догадываться.

– Думаю, пока нет. Он рассказал про ваши разговоры, и про сказки с печальным концом, и про гномов, у которых не растут усы. И теперь представьте: что было бы, если бы он только узнал?

– Кто же вы такой на самом деле?

– Я прошу вас, дослушайте. Когда он все это рассказывал, а он не жалел подробностей, я в какой-то момент



вдруг почувствовал, что мне все страшно знакомо и потому давно знаю, что вы для меня значите или значили когда-то. Невозможно придумать, например, что в нашем распоряжении шесть минут...

– Боже мой! Налейте наконец коньяку!

– Подождите! Это еще не все.

– Господи! Я надеюсь!

– В ту же ночь я видел вас.

– Вы нальете мне или нет? Я посмотрела сейчас на себя в зеркало.

– Не пугайтесь! Бледность сейчас естественна.

– Вы... той ночью? Но что же вы видели?

– Все, что было до этих шести минут.

– Вы просто ловкий интриган. Я сейчас брошу трубку!.. Простите!.. Я сама не знаю, что говорю.

– Я вам надоел?

– Нет! Нет! Нет! И вообще не сердите меня подобными глупостями.

– Вы сами, без посторонней помощи, назвали глупостью мою попытку протянуть руку помощи за комплиментом.

– Я... хочу еще раз про лестницу, падающую в небо.

– Ну, вот и доказательство. Если бы вы не знали того же, что и я, откуда бы взялась у вас убежденность, что нужно именно про лестницу?

– Теперь мне кажется, что я тоже припоминаю, Только это как из сна.

– Нет, из прошлой жизни. И лестница эта кажущаяся. Потом все встанет на свои места. У меня вначале было тоже только предчувствие. Мы предчувствуем будущее только потому, что было уже что-то такое в прошлом или, по крайней мере, частички, его молекулы, забрели в другие времена.

– Это кошмар! Вы проявляете мою память как пленку, но это так... так... Я прошу вас про лестницу!

– Это про то, что «солнце коснулось стебельков коноп-ли...»?

– Я вижу, вы хотите меня обидеть?

– «...и белые тени облаков, медленно оседавших к го-ризонту, на мгновение оранжево вспыхнули и погасли».

– Не надо, прошу вас.

– Вы не поняли, я хотел сказать, что меня коснулось солнце.

– Да вы просто сумасшедший.

– Но это же вы загадали! Или и вправду я полный иди-от?!

– Не кричите, пожалуйста! Вы только что говорили так, как будто все понимаете.

– Я ничего не понимаю. Что происходит?

– То, что никогда не происходит.

– Но может ли так быть?

– Поэтому так будет.

– Когда это началось?

– Три часа назад. Хотя теперь я уже не знаю, что ска-зать. Вы меня опередили... Это так... Это...

– Не плачь, пожалуйста!

– Я хочу выпить, а не слушать, как ты это делаешь.

– Ну и?

– Приезжай сейчас сюда.

– В половине четвертого?

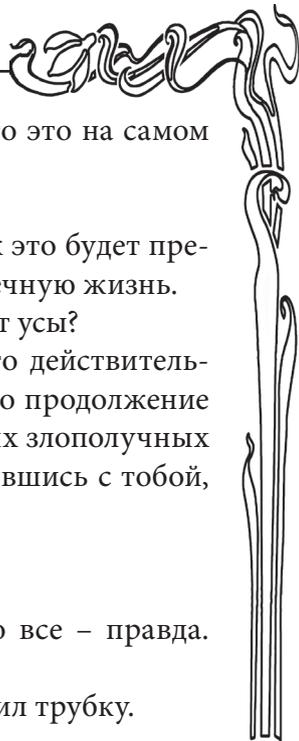
– А мне это безразлично.

– Теперь это никуда не уйдет. Успокойся и потерпи. Завтра я тебе позвоню.

– Так нескоро?

– Тебе страшно?

– Весь ужас в том, что я хочу тебя видеть немедленно!



– Я тоже. Хотя я отлично понимаю, что это на самом деле предательство.

– Ты о чем?

– Ты понимаешь, о чем. Тогда пусть уж это будет предательство не на мучение и смерть, а на вечную жизнь.

– На жизнь гномов, у которых не растут усы?

– Не паясничай. Если это так, если это действительно то, что никогда не происходит, если это продолжение или... начало того, что было до этих самых злополучных шести минут, то получается, что, встретившись с тобой, он предал м е н я.

– Но почему?

– Потому что захотел славы для себя.

– Ты все-таки сумасшедший. Или это все – правда. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – ответил я и повесил трубку.

Солнце коснулось стебельков конопли, и белые тени облаков, медленно оседавших к горизонту, на мгновение оранжево вспыхнули и погасли. Сверху, распластавшись, полетела серебристая темень и окутала хрупкие вершины, тающие в тихом звоне замолкающей зари. Исчезли таинственные дубы и сосны, на траву пала мерцающая влага, и не стало определенности в ажурных контурах высоких кустов, волнистой россыпью усеявших луговину.

Ушло немало времени с тех пор как, покинув пределы Благоразумия, мы миновали тонкий мостик над глубоким рвом. Прислушиваясь к удаляющемуся бою старинных башенных часов, мы пустились в далекий путь, чтобы прийти сюда, к преддверию грозного Лабиринта, куда нам не было входа. Прошел вечер, насыщенный тревогой феерических превращений, затем беспокойная сквозная

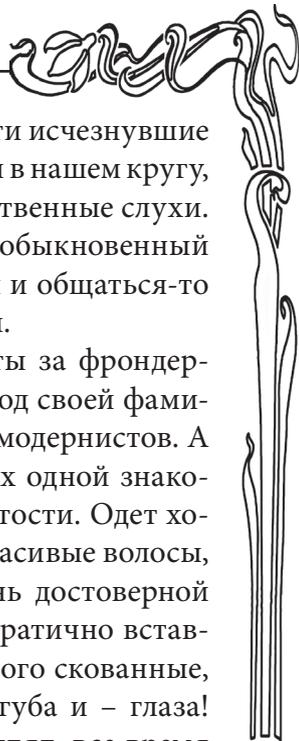
ночь и тяжелое похмельное утро; наступивший день прогрохотал колесами пригородных электричек; мы куда-то ехали, возвращались и опять уезжали, и снова пришел вечер, а мы все шли и шли, неуклонно приближаясь к развязке.

Видя, что жребий выпал на меня, но не зная ни цены этого жребия, ни его смысла, ты вдруг стал обращаться со мной, как с умирающим. Ты видел только одно: я ухожу, и тебе надо прощаться. Ты чувствовал, что оттуда, куда иду, я не вернусь, а если вернусь, то совсем не таким, что вернусь уже не я, а кто-то другой, кого ты страшился заранее. Беспомощно ты искал, чем удержать меня, ты не хотел расставаться со мной, ты боялся – до синевы дрожащих губ!

Пока солнце стояло в зените и, глотая горячую пыль, мы шагали по разбитой дороге, ты первый заговорил о каком-то наваждении. Ты рассуждал, даже не подозревая, что тебе так и не переступить священной грани, за которой начинается прозрение, ведущее на единственный и святой путь. На то не было твоей воли. Теперь я часто думаю, что если бы она и была, твоя воля, еще неизвестно, на что бы ты ее употребил.

Ты боялся разрушить иллюзии, ты верил в дружбу. Ты только чувствовал что-то смутное, накотившее на нас обоих, и незаметно оказался отброшенным назад, в царство фарисеев, помышляющих лишь об одном: изгнать, поймать, распять, извести.

Внешне все выглядело так, будто ничего не произошло прошлой ночью, будто не было этого телефонного разговора, а если он и был, то ты вроде бы ни о чем не догадываешься. Ты все так же счастлив и любим. Но твоя Мария Магдалина уже поливала мою голову из алабастрового сосуда, уже отерла мне ноги своими волосами.



В те далекие, почти незапамятные, почти исчезнувшие времена, когда ты впервые стал появляться в нашем кругу, а я тебя еще не видел, о тебе ходили таинственные слухи. Говорили, что появился редкий талант, необыкновенный эрудит, умница и интеллигент, с которым и общаться-то страшно: а вдруг выставишь себя дураком.

Говорили, будто тебя выгнали с работы за фрондерский финт: кажется, в музее ты оставил под своей фамилией запись, восхвалявшую художников-модернистов. А потом я увидел тебя мельком на проводах одной знакомой, сразу же возникло ощущение размытости. Одет хорошо, по моде, буйные рассыпающиеся красивые волосы, глуховатый басок, которым ты с не очень достоверной скромностью и как-то уж слишком демократично вставлял слова в общий гомон; движения немного скованные, неуклюже отвисающая толстая нижняя губа и – глаза! Глаза, в которых не было выражения! Взгляд, все время как бы ища чего-то, перебегал с лица на лицо, избегая встречных глаз и тут же – на свои руки, на посторонние предметы, особенно охотно на книги.

В следующий раз тебя привел ко мне мой брат. Теперь все замеченное прежде предстало в увеличенном, почти карикатурном виде и сразу вскинулось во мне протестом: неприятный, неискренний тип! Но встречи стали повторяться, первое впечатление сгладилось, отношения стали мягче, теплее, и мы почти подружились. Время от времени дело немного омрачалось интуитивным, ничем не доказанным ощущением: ты избегаешь встреч со мной только в тех случаях, когда боишься обнаружить что-то затаенное; в эти моменты тебе нужны другие люди, в обществе которых ты можешь отдыхать и говорить все что вздумается, со мной же ты должен обдумывать каждое слово. Но вот ты снова появлялся, и атмосфера оттаива-



ла. Я стал закрывать глаза на то, что так остро замечал вначале, предпочитая то, что было симпатично: добрую улыбку, действительно очень большие знания, незлобивость на грани с незащищенностью, умение сопереживать, умение найти точное остроумное слово, яркое эмоциональное восприятие, особенно искусства. Все это было. Теперь появилась красивая любовь.

Мне страстно захотелось увидеть твою любовницу, и вот теперь, спустя два месяца после твоего сказочного благоденствия, твоя Мария Магдалина поливала мне голову из алабастрового сосуда!..

– Ты не забудешь обо мне? – спросил ты осторожно, но я тотчас уловил тревогу.

– Я всегда помню о тебе, – ответил я со вздохом, и вдруг, неожиданно для самого себя, добавил, – а ты? Помнишь ли обо мне?

Ты испуганно обернулся:

– Почему ты не можешь без литературы?

– Прошу тебя, – сказал я. – Не надо сейчас об этом.

– Ты ведь знаешь, чего я боюсь, – ты снова и вдруг сник, – я не возражаю, когда... вообще, но ОНА для меня ... – ты осекся и замолчал.

– Ты что же, хочешь сам решать, что для тебя, что для меня, что для нее?

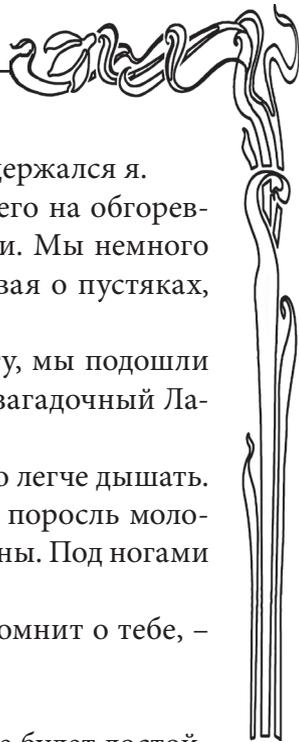
– Серьезно? – спросил ты, не веря своим ушам.

– Ты сбиваешься на дурной тон, но в чем-то прав.

– Не знаю, кто из нас наговорил больше пошлостей, на самом деле все гораздо проще. А ты занимаешься ухищрениями. Но я верю, что ты мне друг и рад, что увидишься с ней.

– Не надо, – тихо возразил я, – ты ослеплен. А я пока не умею объяснить всего.

Ты безнадежно махнул рукой, а потом вдруг произнес:



– Все будет хорошо.

– Мне нравится твой оптимизм, – не удержался я.

Ты снял тяжелый рюкзак и, поставив его на обгоревший пенёк, стал разминать затекшие плечи. Мы немного передохнули и пошли дальше, разговаривая о пустяках, и даже пели.

Когда солнце стало склоняться к закату, мы подошли к заветному Лесу, скрывавшему древний загадочный Лабиринт.

В лесу повеяло прохладой, и сразу стало легче дышать. Едва мы миновали опушку, как попали в поросль молодого березняка, а дальше росли дубы и сосны. Под ногами валялись желуди, хрустели шишки.

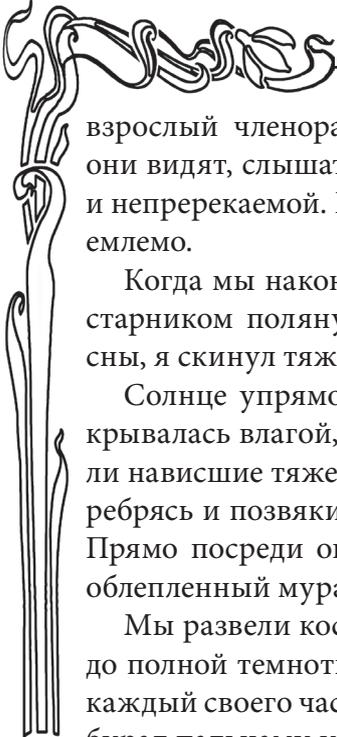
– Когда-нибудь потом, если кто-то вспомнит о тебе, – сказал ты, – непременно вспомнит меня.

– Не надо, я понимаю.

– Я уверен, что ты, что я... в общем, все будет достойно.

«Нас никогда уже не вспомнят порознь, – снова подумал я, – все катится в тартарары».

Я любил тебя в этой жизни. И хотя мы неуклонно приближались к новой, другой, следующей жизни, я знал это не вполне. И потому с тобой шел не я теперешний, а я тогдашний; то была лишь моя прошлая оболочка, мой эмбрион; с тобой рядом шло лишь только то, что когда-то было мной или должно было стать мной. Я не знал о себе ровным счетом ничего и лишь прислушивался к смутным звукам и движениям, медленно стелющимся внутри. Я слушал их не как свое будущее или свое прошлое, а как неведомую дивную музыку, чьи божественные гармонии принадлежат не мне, а кому-то другому, высшему, меня создавшему и меня созидающему. Я не знал, что так оно и было. Ведь детям в младенчестве, когда им недоступен



взрослый членораздельный язык, реальность, которую они видят, слышат, кажется единственной неподдельной и непререкаемой. Все, что противоречит, ложно и неприемлемо.

Когда мы наконец вышли на широкую, заросшую кустарником поляну и остановились около одинокой сосны, я скинул тяжелый рюкзак и облегченно вздохнул.

Солнце упрямо катилось к закату, трава быстро покрывалась влагой, в оранжевых лучах прозрачными стали нависшие тяжелые сосновые ветви, и иголки их, серебрясь и позвякивая, стряхивали крупные капли росы. Прямо посреди огромного муравейника одиноко стоял облепленный муравьями красный мухомор.

Мы развели костер, не торопясь поели и долго сидели до полной темноты, не глядя друг другу в глаза, ожидая каждый своего часа. Ты неслышно шевелил губами, перебирал пальцами иссохшие травинки, зябко поводил плечами и тяжело вздыхал.

Взошла голубеющая луна, ты тревожно поднял голову. На лицо твое легла тень.

– Я пойду, – сказал ты довольно бодро. – Кажется, все сделано.

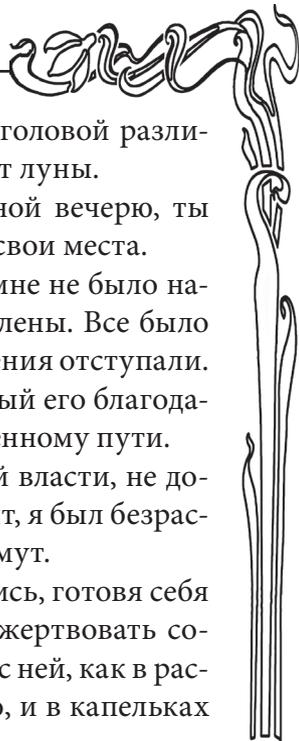
Словно поддавшись первому смутному порыву сделать для тебя что-то доброе, я разломил оставшийся хлеб пополам:

– Возьми на дорогу.

– Спасибо, но вряд ли я смогу теперь есть.

Ты сунул хлеб в мешок и, стараясь не шуметь, двинулся в обратный путь. Ты уходил, медленно растворяясь в разбросанных длинных тенях. Уходил, неслышно ступая.

Как на похоронах, подумал я. Нас никогда не вспомнят порознь!..



На секунду показалось, что над твоей головой разлилось сияние, но я быстро понял: это отсвет луны.

Стояла глубокая ночь. Разделив со мной вечерю, ты уходил в уверенности, что все встанет на свои места.

Теперь я думаю, что ни на тебе, ни на мне не было настоящей вины. Мы оба не были подготовлены. Все было внове и сулило грозу. Привычные побуждения отступали. Дух уже обрел власть надо мной. Осененный его благодатью, я должен был идти только по назначенному пути.

Не зная пока над собой этой величавой власти, не догадываясь, под какое покровительство взят, я был безрас судно решителен, я лез, очертя голову, в омут.

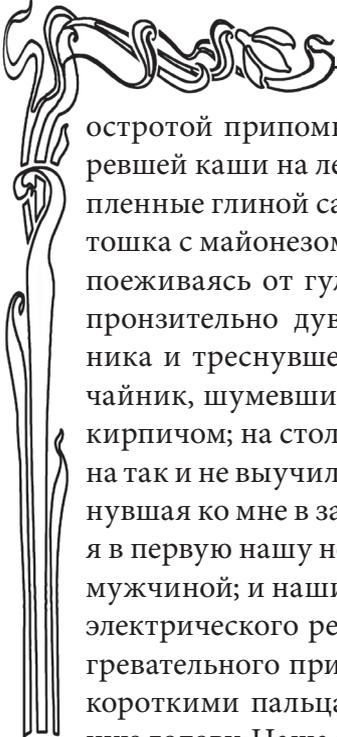
Костер догорал, я сидел, не шелохнувшись, готовя себя на заклятие во имя твое, я готов был пожертвовать собой, чтобы спасти тебя, я шел на свидание с ней, как в раскрытую западню. Становилось прохладно, и в капельках росы играли разноцветные искорки.

Я был обречен, но не потерял бесстрашия. Я малодушно гнал от себя овладевшую мной растерянность, призывая в союзники чувство товарищества. Я собирался поговорить с женщиной, вывести ее на чистую воду.

Я любил тебя в этой жизни, не мог предать, я хотел тебе добра.

За деревьями справа от меня начинался Лабиринт. Все смешалось в голове, как перед смертью, но я еще жил.

Приплыло твое лицо – тревожное, когда ты изводился в ожидании писем, потом радостное и счастливое – три дня назад, и полные ужаса глаза с застывшими слезами – сегодня утром. Почему-то поплыл плохо освещенный провинциальный городок с не асфальтированными улицами, дом, где я тогда жил. А вот и я, как в кино, бреду по осенней утренней слякоти в грубых кирзовых сапогах, бреду от женщины, которую я тогда любил. С особой



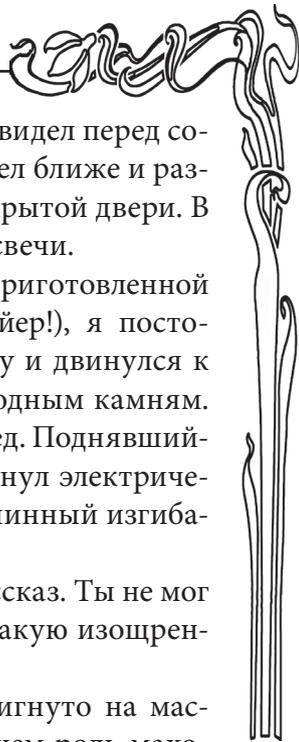
остротой припомнились щемящие детали: запах пригоревшей каши на лестнице; керогаз в прихожей; мои облепленные глиной сапоги, брошенные в углу; холодная картошка с майонезом – великое лакомство, которое мы ели, поеживаясь от гуляющего по крохотной комнате ветра, пронзительно дувшего из плохо заделанного подоконника и треснувшей кирпичной стены; никелированный чайник, шумевший на колченогом стуле с подложенным кирпичом; на столе – полстакана водки, которую женщина так и не выучилась пить; и она сама, судорожно прильнувшая ко мне в застывшем жалостливом рыдании, когда я в первую нашу ночь, оробев, оказался несостоятельным мужчиной; и наши обнаженные тела в свете спирального электрического рефлектора – единственного в доме обогревательного прибора; и ее ласковые некрасивые руки с короткими пальцами, вплетавшимися в мою нестриженую голову. Наша любовь продолжалась почти два года...

Потом ненадолго приплыл серый глиняный домик, где я по ночам в одиночестве играл на рояле, замелькала длинная вязкая вереница белых теней – друзей и знакомых, еще живых, уголком памяти вспоминавших меня, но уже распрощавшихся со мной в этой жизни, ушедших в беспамятный туман. Как поразительно, что всего этого давно нет и так много времени прошло с той поры!..

Я сидел без движения, и слезы катились по щекам.

Где-то далеко ударил одинокий выстрел, я вздрогнул и настороженно оглянулся. Вокруг было так тихо, что ясно слышалось шуршание тонких листиков, качавшихся в сладковатом ветерке. А может, это был не выстрел, а только сердце вздрогнуло от страшного предчувствия?

Пора было идти. Преодолев головокружение, я встал и, раздвигая мокрые колющиеся кусты бересклета, пошел вперед.



Пройдя несколько десятков метров, я увидел перед собой белеющее в зарослях здание. Я подошел ближе и взглядел несколько ступенек, ведущих к открытой двери. В щелку приветливо светил слабый огонек свечи.

Укрепив перед входом конец заранее приготовленной бечевки (вот когда вспомнился Том Сойер!), я постоял, посмотрел на заходящую за тучу луну и двинулся к двери. Каблуки глухо простучали по холодным камням. Дверь скрипнула и пропустила меня вперед. Поднявшийся навстречу сквозняк задул свечку, я вынул электрический фонарик, и узкий его луч осветил длинный изгибающийся коридор.

Потом ты с недоверием слушал мой рассказ. Ты не мог себе представить, что можно изобрести такую изощренную жестокую пытку.

Огромное круглое здание было воздвигнуто на массивном металлическом диске, выполнявшем роль маховика. От одного количества хитрых ходов можно было потерять голову. Но главное коварство, как я слишком поздно понял, заключалось не в этом. Пройдя несколько коридоров, вошедший должен был незаметно для себя наступить на панель, скрывавшую пусковой механизм гигантского двигателя, и тогда здание приходило во вращение. Бечевка, укрепленная перед входом, обрывалась, после чего выбраться из Лабиринта становилось практически невозможно. Нужно было признать унижительное поражение либо погибнуть.

По мере продвижения вглубь скорость вращения возрастала и усиливалась центробежная сила. Несколько ходов в самом неожиданном месте открывались наружу, и находящийся поблизости человек рисковал вылететь по касательной и разбиться. Поэтому он вынужден был идти к центру, чтобы уменьшить действие одурающего



кружения, и тогда попадал в самый опасный участок Лабиринта, где были устроены ловушки, засасывающие под лопасти грандиозных охладителей, перемалывающих несчастного в порошок и выбрасывающих в сточный колодец то, что можно было еще назвать его останками.

Оглушенный, придавленный, вдруг все пронзительно увидевший и понявший, я застыл, скованный ледяным столбняком. Не было со мной моего Духа. Святыни жизни сей попать невозможно! Я не перестану быть тем, кого уважал в себе! Иначе на мои плечи ляжет несмываемый позор!

Нас никогда не вспомнят порознь!..

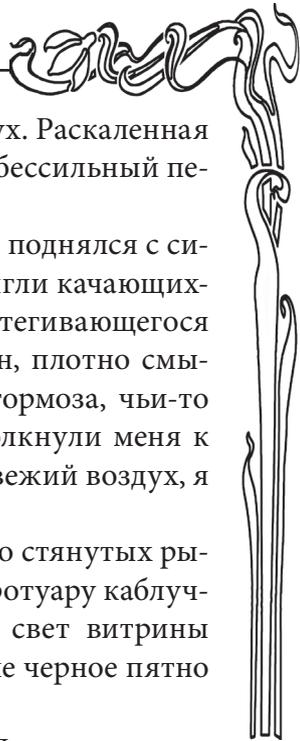
Я не забуду о близких и друзьях! Конечно, нечего и говорить, что женщина моего друга, да и просто знакомого, была и будет для меня строжайшим запретом!

Да! Нас никогда не вспомнят порознь!

Я стоял, рассматривая сырые игольчатые стены, и мысль, что я должен зачеркнуть всю свою прошлую жизнь, эта мысль жгла меня, приводила в бешенство. В смертной схватке во мне столкнулись привычное благородство и смутное, властное, уже неотвратимое влечение к этой женщине. Меня влечет к ней то, что она похожа на меня. Мы с ней – почти тождественные элементы биологического мира. Меня интересует принципиальное сходство. Тот же крупный авантюризм. И несомненная даровитость, не находящая себе признания. Отсюда постоянная поза обороны и склонность к диким нелепым выходкам.

Ведь я же просто человек! Я живу среди равных мне!

Но, может быть, эта женщина – дьявол? Недаром она так приворожила тебя! Ну, погоди же! Я покажу тебе! Я дам тебе бой!



Но Закон Отбора был беспощаден и глух. Раскаленная трясина застыла совсем рядом, и я стоял, бессильный перед ней, как перед сменой дня и ночи.

В страшной духоте, обливаясь потом, я поднялся с сиденья и стал протискиваться сквозь джунгли качающихся телес. Я с трудом выдергивал полы расстегивающегося пиджака из густого киселя грудей и спин, плотно смыкавшихся за мной. Наконец завизжали тормоза, чьи-то вдруг ожившие бедра подбадривающе толкнули меня к распахнувшейся двери, и, жадно глотая свежий воздух, я выскочил на асфальт.

Нетерпеливо взмахивая хвостиком туго стянутых рыжих волос, она звонко выщелкивала по тротуару каблучками белых туфель. Холодный голубой свет витрины обозначил на ее белом шерстяном костюме черное пятно вязаной сумочки.

Четыре шага вперед. Четыре шага назад.

Четыре шага вперед. Четыре шага назад.

Увидев меня, она резко остановилась.

Я подошел, чеканя шаг.

– Добрый вечер!

– А я уже подумала, что вы не придете, – сказала она, – добрый вечер! – и чуть тише добавила:

– Но все же – доброе утро!..

– Ого, – нервно хохотнул я, – «весна приходит в декабре».

– А вы – педант. Это несколько неожиданно.

– Я очень хочу пить. Я хотел приехать на такси, но была страшная очередь, а в автобусе еще более страшная давка.

– Педант, педант! Впрочем, ведь вы – немец? – спросила она и огляделась. – На той стороне должен быть автомат с газировкой.

– Но его лень искать, – подхватил я. – Я не буду пить. Так даже лучше. Кто-то чего-то не понимает. Ведь мы уже были на «ты».

– Давайте не стоять на месте. Пойдемте куда-нибудь. Вчера вы хотели в лес.

– О!.. Времена меняются. Сегодня я, пожалуй, хочу на острова. Слушай, неужели ты полагаешь, что если будешь говорить мне «вы», положение улучшится?

– А оно очень плохое?

– Как же, как же! – судорожно засмеялся я, – хуже некуда!

– И уже ничем нельзя помочь?

– Я не понимаю, зачем тебе все это? Для чего ты вчера по телефону заставила меня...

– Мне ничего не нужно, – быстро перебила она.

– Ну, вот что. Хватит лирики. Я приехал поговорить с тобой. Ты, кажется, хотела этого?

Она молчала.

– Хотела или не хотела?

Она вздрогнула и долго рассматривала меня. Наконец она выговорила:

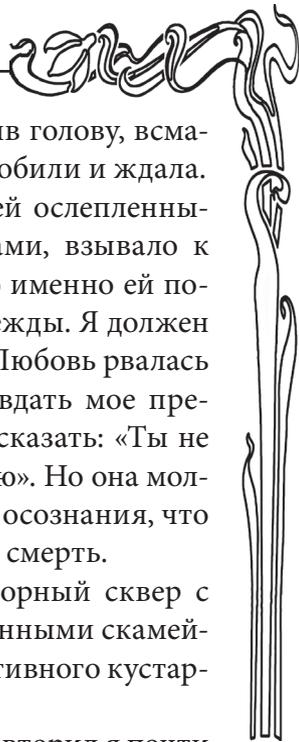
– Зачем этот металл?

– Я жду, – сказал я упрямо.

– Боже мой! Боже мой! – произнесла она со странным облегчением. – Мы сойдем наконец с этого места?

Я с силой взял ее за локоть, и мы медленно пошли по опустевшей улице в сторону большого шоссе, где, несмотря на поздний час, текла нескончаемая река желтых и красных огней.

Она шла, слегка задрав подбородок, напрягшись всем нутром, очевидно, пытаюсь понять, что со мной произошло за сутки. После вчерашнего ночного разговора моя эскапада была странной, непонятной, пугающей. Она



шла, сложив руки на груди, высоко подняв голову, всматривалась в пробегающие по шоссе автомобили и ждала.

Все, что было во мне, обратилось к ней ослепленными – ненавидящими и любящими глазами, взывало к ней, ждало признаний, правды, как будто именно ей поручено пролить свет на мои сомкнутые вежды. Я должен был либо поверить ее любви, либо убить. Любовь рвалась наружу, но женщина обязана была оправдать мое предательство, объяснить его мне самому и сказать: «Ты не виноват, все прах и плесень перед любовью». Но она молчала. И я ненавидел ее. И не было другого осознания, что все во мне есть она, есть любовь, истина и смерть.

Пересекши шоссе, мы вошли в просторный сквер с широкими укатанными дорожками и длинными скамейками и пошли вдоль ровной гряды декоративного кустарника.

– Так что же ты хотела мне сказать? – повторил я почти вкрадчиво.

– Теперь ничего, – ответила она устало.

– Теперь? – не понял я.

– Но ты же с самого начала знал, как будет.

– То есть?

– Ты готовился. Ты знал, как пройдет этот наш разговор.

– Откуда?! Вспомни вчерашнюю ночь.

– То-то и странно. Но... раз такой металл, значит, наваждение кончилось, и ты оказался телефонным призраком.

– Телефонным?

– Значит, ты только поманил меня... Вчерашняя ночь кончилась, кончилось наваждение, загадала я зря, ты был неправ, и лестницы, падающей в небо, никогда больше не будет!..

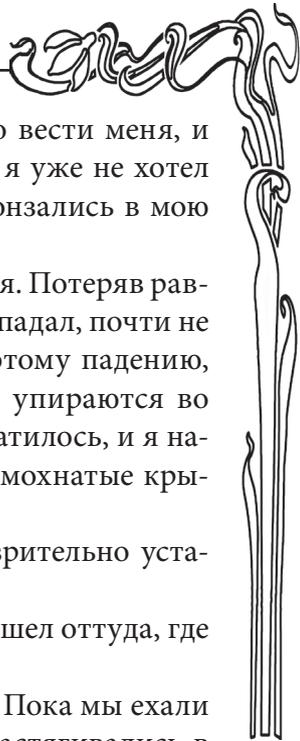
Высокая луна рисовала прозрачные вершины сосен, степенно пливших нам навстречу. Тропинка, терявшаяся в густой траве, петляла между сладко пахнущими кустами дикой малины. Пролетел одинокий филин и, задев чье-то пустовавшее гнездо, растворился в жирной черноте. Сверху посыпались сухие ветки, от реки потянуло прохладой.

Итак, свершилось. Я наступил на панель. Почти тут же я услышал мягкий толчок, и земля стала уходить из-под ног.

Как объяснить тебе, отчего эта фраза о падающей в небо лестнице действовала на меня магически? Как передать атмосферу этой несурязицы?

Родилась она из качающихся в молочной синеве полдневного неба веток, много лет назад, когда я был мальчиком. Потом она приняла облик ночных кипарисов, устремленных к звездам над уснувшим Новоафонским монастырем. Темные, тяжелые вершины кипарисов ле т е л и, падая в бесконечную звездную глубину. Причудливый и невесомый облик однажды возник, как глас с горы Елеонской. И я вдруг осознал: во мне Дух живой, меня ведет рука Провидения, во мне что-то от него. Не уживусь с миром, буду бит и презираем, и все же останется Божество бесконечное – откуда пришел я и куда зовет меня властный голос иного мира. Где бессильна мирская суета, где нет власти фарисеев, где правит только она одна, моя Великая Гармония, и все бессильно перед ней: и жизнь, и смерть, и время. В этих летевших от мира ступенях услышал я звонкие капельки событий, разбрызганных по палитре времени.

Ну что тут можно объяснить? Как мне оправдаться перед тобой? Как объяснить, что, видя свет, идущий от женщины, но не познав истинного света, я поверил, что



этот Дух – она; что это ей предназначено вести меня, и я не хотел сопротивляться желанию; что я уже не хотел защищать тебя; и только остатки веры вонзались в мою душу ядовитыми зубьями.

Край обрыва у меня под ногой оторвался. Потеряв равновесие, я полетел, размахивая руками. Я падал, почти не испытывая страха, и не было бы конца этому падению, как вдруг я почувствовал, что руки мои упираются во что-то плотное и упругое. Падение прекратилось, и я начал свободно парить в воздухе. Большие мохнатые крылья отходили от моего туловища.

Вытерев со лба холодный пот, я подозрительно уставился на нее.

«Ты боль и радость моих ночей. Ты пришел оттуда, где люди всегда счастливы».

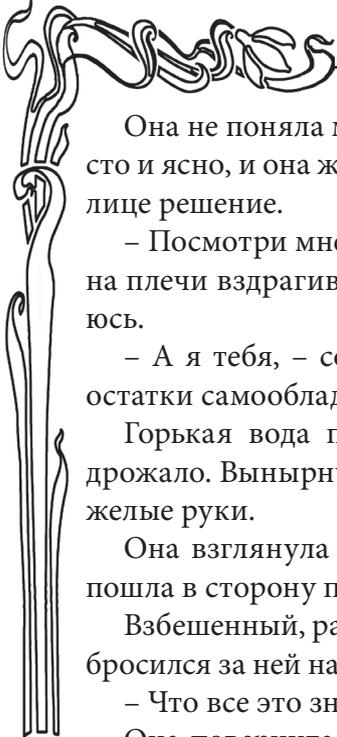
Вчера днем ты был вне себя от счастья. Пока мы ехали к ней в такси, твои губы беспрестанно растягивались в бессмысленную улыбку, ты не знал, чем благодарить небеса за столь щедрые дары. « Боже мой, – передавал ты мне ее слова, – какие у тебя волосы! Если бы у нас был ребенок, у него были бы такие же волосы, как у тебя!»

«Нет, – говорил ты, – теперь я понял, что так самоотверженно может любить только женщина. Я чувствую, что недостоин ее».

Я открыл глаза. Она смотрела на меня с мольбой. Уж не сошел ли я с ума? Не снится ли все это, в самом деле? Помотав головой, так и не прогнав видение, я вспомнил вдруг, что не она, а кто-то Неведомый надоумил меня преступить порог, что я бреду во тьме, но впереди свет.

Вдоль мокрой стены торчали ржавые поручни.

Длинный тягучий удар бича захлестнул мне дыхание. Ухватившись за поручень, я увидел в пробое, как в двусветных шагах от меня несется ревушая бездна.



Она не поняла моего молчания. Для нее все было просто и ясно, и она ждала, напряженно высматривая в моем лице решение.

– Посмотри мне в глаза, – сказала она и положила мне на плечи вздрагивающие руки. – Что с тобой? Я тебя боюсь.

– А я тебя, – соврал я, судорожно пытаюсь удержать остатки самообладания, но чувствуя, что силы на исходе.

Горькая вода подступила к подбородку, внутри все дрожало. Вынырнув в последний раз, я снял с плеч ее тяжелые руки.

Она взглянула на меня с сожалением, повернулась и пошла в сторону поляны.

Взбешенный, раздирая руки о колючки и сухие ветки, я бросился за ней напрямик через кусты и схватил за плечо.

– Что все это значит?

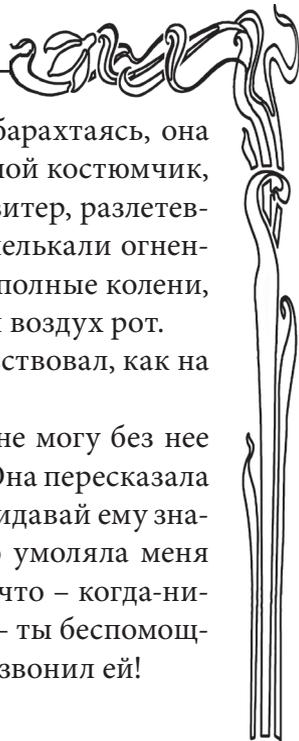
Она повернулась ко мне, поморщилась от боли и отстранилась.

– Я понимаю, – тихо проговорила она, – выглядит довольно дико. Живет себе красивая женщина, вроде бы не знает забот. А если нет? Если я вечно одинока? И вот однажды я встречаю человека, который превратил мою жизнь в сказку. Это гипноз! Ну да, ты уже знаешь. Но вчера появился ты. И мир стал реальным космосом. Я вижу, ты презираешь меня. И, наверное, ты прав.

– Но ведь так не бывает!

– Да-да, конечно, но именно поэтому так будет, – ответила она тихо и еще тише добавила: – Я люблю тебя.

Дрогнул помутневший воздух, и гулкое эхо покатилося вдоль замерзающей реки. Опрокинулись тянувшиеся к звездам ветки, налетел пронизывающий снежный вихрь, поднял ее тело и, перевернув в воздухе, со слышным хрустом ударил о землю. Глаза мои наполнились испепеляю-



щим, ненавидящим огнем. Беспомощно барахтаясь, она пыталась удержаться на себе белый шерстяной костюмчик, но свирепый ветер безжалостно сорвал свитер, разлетевшуюся юбку... В обжигающем смерче замелькали огненные волосы, маленькие дрожащие груди, полные колени, заносимые колючим снегом, и хватающий воздух рот.

Я рванулся было за ней, но вдруг почувствовал, как на плечо мне легла теплая рука.

– Я люблю ее, – пробормотал ты. – Я не могу без нее жить, а для тебя это только литература!.. Она пересказала мне весь ваш телефонный разговор. Не придавай ему значения. Она раскаивается. Она буквально умоляла меня простить, и, если я когда-нибудь смогу... что – когда-нибудь? Когда я уже сейчас... ведь я люблю, – ты беспомощно развел руками, – ах зачем только ты позвонил ей!

Под ногами у тебя догорал костер.

– Почему ты молчишь? – спросила она.

– После твоих слов образовалась тишина. Я слушаю.

Было слишком поздно! Ты был отброшен далеко в прошлое, хотя слезы брызнули у меня из глаз, и я произнес, положив руку ей на плечо:

– Я люблю его. И главное, он тебя любит.

– Но ведь ты тоже любишь меня, – прошептала она с надеждой.

– Я не знаю этого, очень может быть, тут что-то другое.

– Я понимаю, ты, наверное, всегда прав, но зачем ты рассказал про лестницу в небо?

Вокруг стало тихо. Безмолвные контуры деревьев приветствовали нас плавными кивками. И мы пошли, неотвратимо приближаясь к моему окончательному падению.

Мы добрались до лежащих посреди сквера опор будущей высоковольтной линии остановились. Я оперся на холодный металл.

– Мне очень трудно, не могу переступить через это, – прошептал я.

– Я люблю тебя. Пойдем же!

– Ну хорошо, – сказал я холодно.

Где-то поблизости застрекотал кузнечик. Голубые капли сверкали на листьях у нее за спиной. Молодой дубок протянул мохнатую ветку. Ее золотые волосы тотчас рассыпались по плечам, по груди...

Она рассмеялась, вынула из сумочки пачку сигарет. Красноватый огонек выхватил из темноты задумчивое лицо. Она ждала.

Мы долго сидели молча.

– Ты что, – повернулся я к ней, – разлюбила его?

– Да, – ответила она твердо.

– И как же это – так вдруг?

– Это не вдруг. Совсем не вдруг. И понятно. Он был для меня как наркотик. А вчера опьянение кончилось.

– Ловко! Я в роли нашатыря. Он в роли наркотика. А ты сама – этакая персона грата. Иван Карамазов местного разлива!

– Ты злой, – произнесла она тихо. – Отчего ты такой злой?

– Меня не устраивает какая-то роль.

Она помолчала, потом зевнула. В сумраке я не понял, какой это был зевок – притворный или естественный.

– Стало быть, я так понял, он тебя теряет.

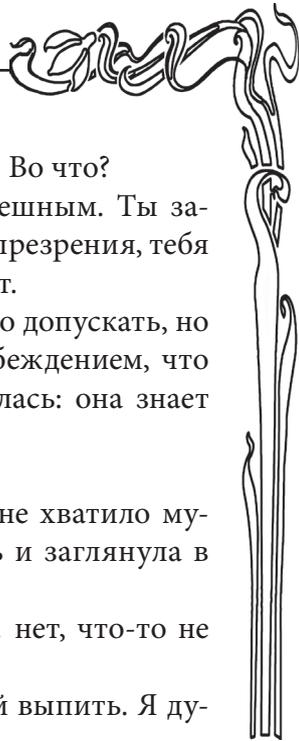
– Это так немного, – ответила она после короткого раздумья.

– Для него много. Гораздо больше, чем просто потерять тебя... как женщину.

– Что же еще?

– Веру.

– Как-как? – улынулась она почти зло.



– Так он сказал.

– Боже мой! Он – веру? Ты с ума сошел. Во что?

Теперь ты стал жалким, неумным, смешным. Ты заслуживал снисхождения. Ты заслуживал презрения, тебя просто не нужно было принимать в расчет.

Я не верил своим ушам. Я не хотел этого допускать, но она говорила с таким непреодолимым убеждением, что я испугался до того, как мысль оформилась: она знает какую-то грустную правду.

– А ты сказала ему, что разлюбила?

– Он пришел такой убитый!.. У меня не хватило мужества, – прошептала она, придвинулась и заглянула в глаза.

– Послушай! Ты к нему относишься... нет, что-то не складывается, не сходится.

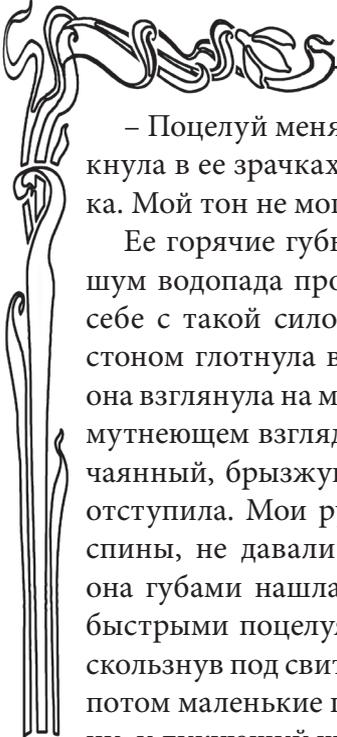
– Как жаль, что ты не захватил с собой выпить. Я думаю, тебе надо сейчас выпить.

От близости ее тела, пышущего знобкой лихорадкой ожидания, от дыхания, прерываемого мелкими горловыми судорогами, я окончательно лишился всего, с чем ехал на это свидание. Внутреннее сопротивление почти иссякло, чужеродная нравственность отступила. Обеими руками я взял ее лицо, и уже издали пронеслось: «Нас никогда не вспомнят порознь!»

Душный полужной бабьего лета повлек нас, уже стоящих на краю пропасти, в чашу. Мы слышали, как шуршат, ложась на землю, красные и желтые листья. Серебрясь на солнце, поплыла легко развевающаяся волокнистая паутинка, и маленький желтый паучок пробежал по моему лицу. Вдыхая дурмящий синий воздух, она склонилась надо мной:

– Не может быть, чтобы ты не любил меня!

Я чуть не задохнулся от ударившей в горло волны.



– Поцелуй меня! – сказал я властно, и торжество мелькнула в ее зрачках, по лицу пробежала счастливая улыбка. Мой тон не мог обмануть. Стало ясно: я сдался.

Ее горячие губы были совсем близко, отчего грозный шум водопада пронесся у меня в голове. Я потянул ее к себе с такой силой, что она, сразу как-то смявшись, со стоном глотнула воздух. Все еще не веря в свою победу, она взглянула на меня и попыталась вырваться. Но в моем мутнеющем взгляде ненависть и любовь смешались в отчаянный, брызжущий слезами поток, и ненависть вдруг отступила. Мои руки, кольцом сомкнувшиеся вокруг ее спины, не давали ей дышать, и, захлебываясь слезами, она губами нашла мои губы. Расстегнув рубашку, стала быстрыми поцелуями покрывать мою грудь, а мои руки, скользнув под свитер, расстегнули пряжку лифа. Потом... потом маленькие прохладные груди заполнили мои ладони, и ликующий хмельной крик сорвался с ее губ. Уже совсем заходясь от нежности, она хрипло прорыдала:

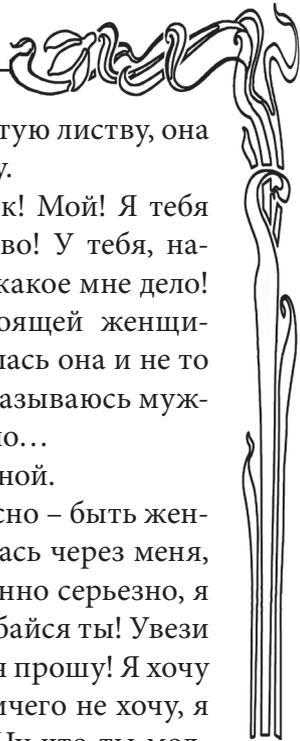
– Ты мой! Мой?! Мой!! О господи, мой! Да простит тебя Бог!.. Да подожди же, я сама, – она отстранилась.

– Ты что думаешь, я не сумею? – спросил я, и минутная передышка вернула мне чувство юмора.

– Нет, мой милый, чего-чего, а этого я уж никак не думаю, – ответила она с веселой убежденностью и нежно прибавила: – Но я хочу сама... сама! Понимаешь – сама!

Она стянула с себя свитер и юбку и, вдруг притихшая, сосредоточенная и торжественная, предстала передо мной, протягивая руки.

Ошалевший и обалдевший, я глядел на нее и не мог двинуться. Приблизившись, она взяла мою руку и потянула к себе. И снова ополоумев, летели красные и желтые листья, и ковер их становился гуще и гуще, пока не покрыл нас с головой.



Опершись на локти, погруженные в густую листву, она склонилась и прижала грудь к моему лицу.

– Нет! Ты мой! Волшебник! Волшебник! Мой! Я тебя никому не отдам! Боже! Какое волшебство! У тебя, наверное, было много любовниц? Впрочем, какое мне дело! Впервые сегодня я чувствую себя настоящей женщиной. Ты знаешь, – неожиданно приподнялась она и не то улыбнулась, не то вздохнула, – всегда я оказываюсь мужчиной... нет-нет, не в этом смысле, конечно...

– Женщине иногда нужно быть мужчиной.

– Но не постоянно же! Ах, как это чудесно – быть женщиной! Послушай! – она легко перекатилась через меня, на колени. – Я прошу тебя, нет, я совершенно серьезно, я просто умоляю тебя! Я не шучу. Да не улыбайся ты! Увези меня отсюда за тридевять земель, срочно, я прошу! Я хочу быть с тобой, только с тобой, я больше ничего не хочу, я не хочу возвращаться к тому, что было. Ну что ты молчишь? Ты согласен?

– Конечно! Еще бы! Но послушай. Побудь еще немножко мужчиной. Я хочу спросить у тебя.

– Мужчина-то я хороший. Баба вот – никудышная!..

Мы долго лежали, болтали чепуху, смеялись, плакали и курили. Потом наступило долгое молчание.

– Ты спишь? – спросила она одними губами.

Я приоткрыл щелочку век.

– Который час?

– Без пяти три, – ответил я, машинально взглянув на часы.

– Значит, в нашем распоряжении еще шесть минут.

Я подскочил и посмотрел на нее, торжествуя. Она вспомнила, и глаза ее расширились от ужаса.

– Что же это такое, – простионала она, – теперь я тоже совсем запуталась. – И немного погодя, сказала: – Да, ты

должен меня презирать. Но... мне так хотелось побыть с тобой.

– Ты говоришь от себя?

– Да что ты так казнишь себя?! – взорвалась она, – произошло то, что должно было произойти, что не могло не произойти.

– Я тоже так думаю. Но я должен осознать, осмыслить.

– Ну что ж! Я опять становлюсь мужчиной, – спокойно проговорила она.

– Да. Наконец-то у тебя все снова в порядке! – не удержался я.

– Послушай! Не будь педантом!

– Я просто думаю о том, кто ты.

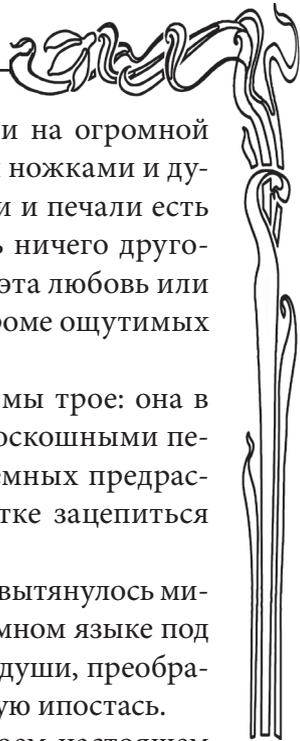
– В этом вся разница. Я ничего не думаю, я... хочу, – она обняла меня.

Потом мы ненадолго уснули.

В шесть часов утра на улицах было пустынно. Ворчали, не торопясь, первые автобусы, нежный ветерок шевелился в ершистых кустиках, посаженных вдоль тротуаров, краснели от встающего солнца верхние этажи домов, ползла, оцетинившись длинными усами холодной воды, поливальная машина.

Мы шли молча, и я прислушивался к внезапной и оглушительной тишине, наступившей вокруг и, казалось, низринувшейся с головокружительной высоты.

Вчерашняя буря улеглась, выпала в осадок, и прозрачная чистота душевного озарения мелодично перекликалась с лучами поднимающегося солнца, с ощущением единственности и необходимости всего происходящего. И это, хотя случилось только что, вдруг оказалось переброшенным на тысячелетия назад, в давно ушедшие времена, в какую-то прошлую и мелочную жизнь, где



мы были только крошечными игрушками на огромной шахматной доске, смешно и жалко топали ножками и думали, что наша тогдашняя жизнь, радости и печали есть единственное и главное, и не может быть ничего другого, только эти сиюминутные радости, вот эта любовь или вот эта измена, и нет других ценностей, кроме осязаемых материально и во плоти.

С пронзительной ясностью увиделись мы трое: она в своем белом костюмчике, ты со своими роскошными пепельными волосами и я, весь во мраке земных предрасудков, заблуждений, в отчаянной попытке зацепиться за них, удержать.

И так отрадно и спокойно выстроилось, вытянулось мироздание в одну звенящую струну, на неземном языке под неземную музыку певшую о возрождении души, преображенной вечностью и отвергшей свою земную ипостась.

И она теперь шла рядом со мной в своем настоящем облике, поблекшая и потускневшая, веки ее опухли, под глазами набрякли мешки. И чем дальше мы шли, тем больше растворялась она в окружающей природе, стекленела, становилась тенью, остовом безжизненным и безликим. И, постепенно утрачивая плоть, превращалась в ослепительный блик, вспыхнувший на малое мгновение и тут же погасший.

«Любимая, возлюбленная, – думал я, – что это такое? Только мы сами своим окаменевшим сердцем можем произнести эти глупые и бессмысленные слова! Что она перед ликом Вечности, которая теперь озарила меня и всегда будет вести назначенным путем? И что такое любовь, разгоревшаяся в моем неумном сердце, которую, не поняв, вообразил я к женщине.

И опять, как под мерный успокаивающий ночной стук вагонных колес, играючи и переливаясь, приплыло:

– Нас ни-ког-да не вспом-нят по-рознь!

Мы прошли мимо галантерейного магазина, в витрине которого были выставлены убогие дамские сумочки.

– Посмотри-ка! – воскликнула она откуда-то издалека.

– Какие элегантные! Правда? Если у тебя есть любимая женщина, ты можешь выбрать ей подарок.

– Прекрасно-о-о! – крикнул я ей в далекую пустоту. – Я сделаю его тебе-е-е!..

– А я беру только деньгами, – ответила она, внезапно возвращаясь и сузив глаза.

– Теперь я даже не захочу тебя ударить.

– Я ничего не понимаю, – произнесла она после некоторого раздумья, – ты такой прекрасный и такой иногда грубый.

– Да ничего не нужно понимать, – откликнулся я, – до свидания!

– Ты позвонишь? – встрепелась она.

– Не знаю.

– Обещай мне! Позвонишь? Ладно?..

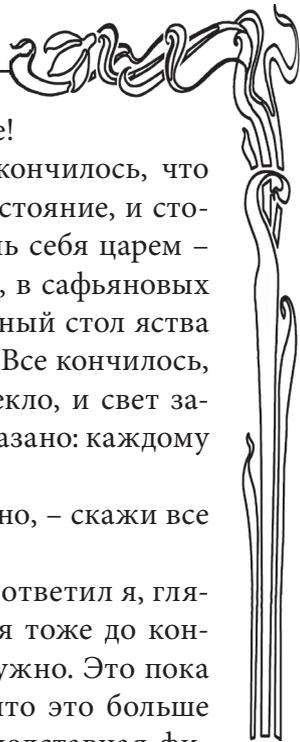
– Попробую.

– И все-таки ты должен быть пианистом.

А утром мы с тобой снова сидели на той же поляне. От реки тянуло прохладой, и крупные капли росы, сливаясь вместе, отрывались от набухших листьев в лучах встающего солнца.

Когда я вышел из остановившегося Лабиринта, ты уже ждал меня. Лицо твое было бледно, под глазами – прозрачные синяки, очевидно, ты тоже провел бессонную ночь.

Только теперь я увидел, как страшился ты исхода! Тяжелым безнадежным взглядом ты читал на моем лице неопровержимые признаки преобразования. Ты видел, что я где-то далеко и что самые страшные твои подозрения оправдались.



– Не молчи, – попросил ты, – говори же!

– Закрой глаза и представь, что все кончилось, что мы, как в сказке, перекрыли прежнее расстояние, и стоит тебе только открыть глаза, ты увидишь себя царем – королевичем в расшитом парчой камзоле, в сафьяновых сапогах, а вокруг холопы подают на бранный стол яства заморские, и полнятся чаши зелена вина. Все кончилось, одним движением руки ты протрешь стекло, и свет залетит твою душу. Или не веришь? А ведь сказано: каждому исполнится по вере его.

– Не пугай меня, – попросил ты жалобно, – скажи все как есть.

– Все кончилось, – так же безмятежно ответил я, глядя, как вытягивается твое лицо, – хотя я тоже до конца не понял. Я чувствую, что так было нужно. Это пока единственная определенность. Потому что это больше тебя, больше меня. А она... она только подставная фигура.

Я хотел объяснить тебе, что это не любовь, не измена, не предательство, что это больше, сильнее. Слова не получались, застревали во рту.

– Для чего это было тебе?

– Для того, чтобы наши сердца оттаяли, прозрели, чтоб окаменевшим сердцем увидели, сколь ничтожно все, что мы исповедуем, что наши добродетель и правда, наше благородство – пыль и плесень. И наша дружба, и наша любовь... Все это не то и не имеет отношения к тому, что было до и будет после...

– Я ничего не понимаю, – не выдержал ты, – мелешь какую-то чушь. Ты мне скажи, у тебя с ней было все?

– Ты что-то вчера говорил о литературе, – усмехнулся я, – ну как тебе объяснить? Я не уверен, что ты... Да думал ли ты вообще об этом? Хотел ли ты постичь?

– О чем ты?

– О нас с тобой. Нас никогда не вспомнят порознь. О людях. Откуда мы? Почему мы здесь, сейчас? Не казалось ли тебе когда-нибудь, хотя бы во сне, что человек живет только для познания самого себя? Что мы откуда-то пришли в этот мир? А куда дальше? Куда мы направляем стопы свои? Я думаю, кому из нас теперь назначено? Ведь не всем же! А кому-то надо. Песок промывается, и остаются несколько золотинок. Так кому быть т а м, а кому превратиться в пыль и плесень?

– Что тебя к этому привело?

– Ты требуешь языка фактов? Нет, тут ничего не скажешь. Я, знаешь, сегодня ночью, утром... впервые в жизни...

– Значит, все-таки было, – тихо произнес ты.

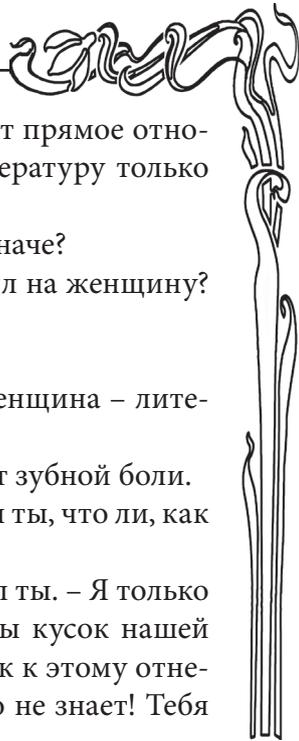
– Я вдруг понял: наша уверенность, наше благородство, жажда прекрасного – такая чушь! Есть н е ч т о, что вне этого, что было Вчера и что будет Завтра, а жизнь, смерть... – я махнул рукой, не найдя слов. – Таких, какие мы теперь, -- продолжал я после перерыва, – не будет. А мы, – я сделал паузу и, неожиданно для себя, расхохотался, – мы любим женщину и считаем это чувство «самым высоким и благородным».

– Я не узнаю тебя, – изумился ты, – а говорил, что это дар небес!..

– Мы оба не спали, – улыбнулся я, – нужно немного выпить, чтобы привести себя в порядок. Вот теперь, – продолжил я с нажимом и обращаясь к самому себе, – теперь в самый раз, теперь самое время.

На круглом столике выстроилась батарея пивных бутылок. Ты взял с тарелки последний ржаной сухарик:

– Нет, я не понимаю, не понимаю, как ты мог?



– Подожди! – воскликнул я, – это имеет прямое отношение ... Ты в самом деле считаешь литературу только словом?

– Но ты живешь среди людей, как же иначе?

– Тогда почему ты любовь свою обратил на женщину?
– вспыхнул я внезапно.

– Что такое? – нахмурился ты.

– Нет, дорогой мой, ты слепец! Твоя женщина – литературная фантазия!

– Причем тут это? – закачался ты как от зубной боли.

– Да притом, что ты забыл о Боге! Забыл ты, что ли, как слово стало плотью?

– Бог мой! Какой каннибал! – побледнел ты. – Я только теперь понял. Ты все сделал наоборот. Ты кусок нашей жизни превратил в слово. Но подумай, как к этому отнесутся! К этому не привыкли! Этого никто не знает! Тебя выбросят!

– Я исполнил свой долг. Ну а кто к чему привык – им и воздастся сполна.

– Я люблю ее. А ты превратил все в фарс.

– Не искушай Господа! – сказал я. – Женщину хотела твоя плоть, но зачем вообразил ты, что в женщине Дух, которого ты любишь?

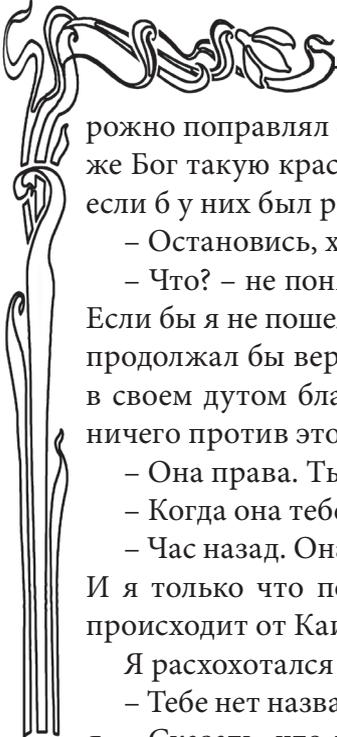
– Да ведь так было на самом деле! – воскликнул ты. – У меня ничего такого не было! Я знаю ее два месяца! Это достаточный срок!

– Достаточный – для чего? – спросил я, не скрывая иронии.

– Таких женщин больше нет.

– Нет, проще, – возразил я тем же тоном, – т а к и х женщин нет.

Я медленно поднял на тебя глаза. И опять ничего, кроме слепого отчаяния, не увидел. Дрожащей рукой ты судо-



рожно поправлял свои красивые пепельные волосы. «Дал же Бог такую красоту, – усмехнулся я про себя, – правда, если б у них был ребенок, волосы были бы такие же».

– Остановись, хотя бы ради меня, – попросил ты.

– Что? – не понял я. – Нет! Все умрет с нашей плотью. Если бы я не пошел на это, если бы не преступил, то так и продолжал бы верить, что всемогущ в своих убеждениях, в своем дуте благородстве, что не имею права сделать ничего против этого. Нет, все умрет с нашей плотью.

– Она права. Ты страшный человек, ты дьявол!

– Когда она тебе это сказала? – спросил я весело.

– Час назад. Она мне позвонила, когда проводила тебя.

И я только что по-настоящему понял, что «раскаяние» происходит от Каина.

Я расхохотался и набрал ее телефон.

– Тебе нет названия на человеческом языке, – закричал я. – Сказать, что ты чудовище – слишком лестно, а что ничтожество – слишком мягко!

Она повесила трубку.

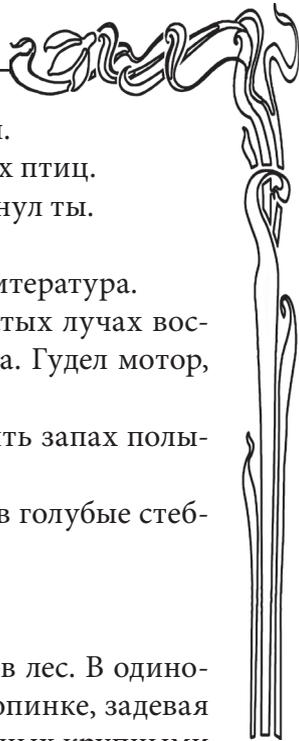
Шесть страстных вступительных аккордов, затем жгучий вихрь пассажей на последнем дыхании – без оглядки, до конца, до конца – пока не разобьется насмерть. Веселая, рыжеволосая, задорная, нежная, задумчивая и грустная – настоящая Суламифь – Шестнадцатая прелюдия Шопена.

– Ты мои Алые паруса! – говорила она мне и плакала и смеялась от восторга. – Мы пришли друг к другу из глубины веков!

– Какие у тебя волосы! – говорила она тебе.

– Я тебе удивляюсь, – ты смотрел на меня.

– Это пройдет, – ответил я, – ты слишком много вообразил.



– Посмотри скорее! – вдруг крикнул ты.

Я встал. Над домами неслась стая белых птиц.

– Это чайки, – с восхищением воскликнул ты.

– Да! Чайки над городом!

– Ну вот, у тебя уже вступает в строй литература.

Я сидел в кабине самолета. В красноватых лучах восхода вставали далекие, как церкви, облака. Гудел мотор, плыли под крыльями леса, дороги...

Если бы можно было навсегда сохранить запах полыни! Нет! Не в памяти, а сам запах!

Но увядают заложенные в книгу стихов голубые стебли, и исчезает такой же голубой ее запах.

Неделю я прожил в деревне.

Я вставал в шесть утра и отправлялся в лес. В одиночестве бродил по опушке, по узенькой тропинке, задевая и встряхивая листья лопухов, густо усеянных крупными каплями росы. Погуляв немного, возвращался к опушке, садился на пригорок и долго смотрел, как в лучах встающего солнца просыпается село, лежащее в ложине.

Огромные черные грачи кружили над свалкой. Их тени в солнечных лучах бесшумно скользили по холмикам, по деревьям, по кладбищенской ограде. А потом я углублялся далеко в чащу, дышал первым запахом неслышно приближающейся осени, и смутные, тревожные мысли будоражили меня, как первый утренний хмель после разгульной ночи.

Однажды вечером через задний двор дома, где жил, я вышел в поле, взглянул на садившееся солнце, на утихавший закат, и по спине у меня поползли мурашки.

Передо мной на фоне оранжевого неба огромные, в человеческий рост, встали конопляные заросли.

Солнце садилось...

Солнце уже касалось листьев, травы...

Солнце коснулось стебельков конопли, и белые тени облаков, медленно оседавших к горизонту, на мгновение оранжево вспыхнули и погасли. Сверху, распластавшись, полетела серебристая темень и окутала хрупкие вершины, тающие в тихом звоне замолкающей зари. Исчезли таинственные дубы и сосны, на траву пала мерцающая влага, и не стало определенности в ажурных контурах высоких кустов, волнистой россыпью усеявших луговину.

Пробежав по верхушкам деревьев и достигнув опушки, Тень спрыгнула на землю и огляделась. Вдоль леса тянулось кладбище. Синие, зеленые, ржавые, полусгнившие, покосившиеся от времени кресты...

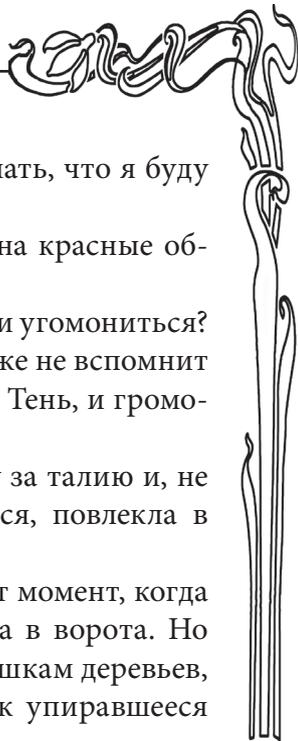
Несмотря на ранний час, к кладбищу со всех сторон тянулись процессии.

Тень скользнула вдоль ограды и, стараясь опередить приближающиеся колонны, направилась вдоль кладбища, вглубь могил. Заметно выделяясь среди других простотой и безыскусностью отделки, этот крест возник перед ней так неожиданно, что она, чуть не налетев на него, едва успела остановиться.

Слегка помедлив, Тень взялась за поперечины и натужилась. Почти тотчас в основании креста что-то хрустнуло, послышался тихий стон, и, не удержавшись, Тень опрокинулась на спину, зарываясь ногами в комьях вывернутой земли. Тогда могила зашевелилась, и что-то прозрачное, как дымок погасшего костра, робко высунулось из образовавшейся расселины и изумленно уставилось на Тень:

– Кто ты?

– Ты опять не узнаешь меня?



– Ты... ты... что тебе нужно опять?

– Я твое Вчера. Но ты не можешь не знать, что я буду твоим Завтра.

Привидение с сомнением посмотрело на красные облака и нерешительно прошептало:

– Неужели тебе все еще мало? Не пора ли угомониться?

– Проснись! Ты все забыл! Нас никто уже не вспомнит порознь! И нам надо спешить! – ответила Тень, и громовой ее голос покотился в воздухе.

Тень схватила извивающуюся фигурку за талию и, не внемля слабым попыткам сопротивляться, повлекла в обратный путь.

Они миновали границу кладбища в тот момент, когда первая процессия торжественно вступала в ворота. Но едва они взобрались и побежали по верхушкам деревьев, раскачивающихся в немом отчаянии, как упирившееся Привидение воскликнуло:

– Подожди! Дай мне хотя бы опомниться и привыкнуть к этой мысли!

– Зачем это тебе? Неужели не помнишь: блаженны не видевшие и уверовавшие? – сказала Тень.

– Но хотя бы объясни, что это? – показало Привидение на ослепительно сверкающие очертания.

– На этот раз – действительно Лестница, падающая на Небо, – ответила Тень и загадочно улыбнулась.

Наступило утро завтрашнего дня.

1976 год.



Далёкий остров постоянства

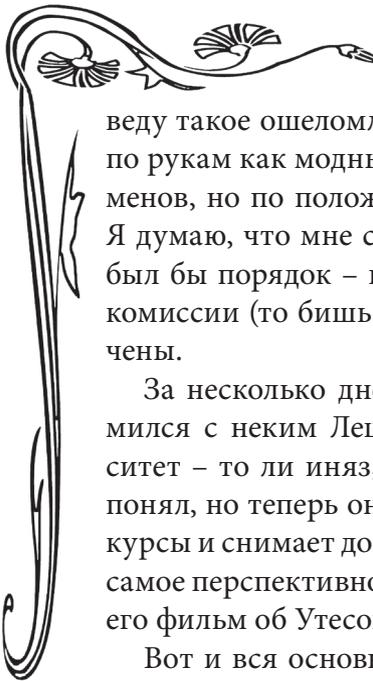


Переписка с Л. С.

09.07.72.

Итак, сегодня твое первое письмо. За все время – первое. Своеобразно, не правда ли?

Прежде всего – информация. Высшие режиссерские курсы – полноправный ВУЗ для людей вроде меня. К сожалению, он функционирует непостоянно. Набор студентов на сценарное и режиссерское отделения будет в январе-феврале. Вступительные экзамены только творческие, при обучении дисциплины только специальные. Срок обучения два года, что является большим плюсом. Права по окончании те же, что после ВГИКа. Полученная рекомендация дает право держать вступительные экзамены, ибо без рекомендации на порог не пустят. Конкурс посерьезнее, чем во ВГИКе (даже я не ожидал, что произ-



веду такое ошеломляющее впечатление – «Кони» ходили по рукам как модный детектив, хотели принять без экзаменов, но по положению министерства... увы, возраст!.. Я думаю, что мне стоило только написать в анкете 34, и был бы порядок – паспортов не проверяют. В приемной комиссии (то бишь Герасимов и К°...) были весьма огорчены.

За несколько дней до отъезда из Москвы я познакомился с неким Лешей Симоновым. Он кончал университет – то ли иняз, то ли исторический факультет, я не понял, но теперь он закончил режиссерские (эти самые!) курсы и снимает документальное (как оказалось, сейчас – самое перспективное) кино. Недавно по телевидению был его фильм об Утесове – довольно приличный.

Вот и вся основная информация. В Эстонии пробуду числа до 12–13. В Саратове до 25 августа.

13.01.73.

Юрочка!

Сегодня у меня приятный день. Выпал снег, и от тебя пришло письмо с фотографиями. И еще сон приснился. Очень необычный. Весь день нахожусь под его впечатлением. Мне приснилась весна, ранняя. Талая вода, мокрый снег и красота дня. Потом вдруг оказываюсь в аэропорту, встречаю М. Вижу, он обрадовался, и его радость передается мне. Думаю, он простил мне все. Затем вижу – идешь ты. Это неожиданно. Я бросаюсь к тебе, меня вдруг охватывает чувство тревоги, потому что понимаю: что-то случилось. Говорю: «Пойдем ко мне». Идем, и я спрашиваю: «Ты надолго?» – «Не знаю. Наверное, до ноября». Дальше идем молча. Про себя знаю, что ты приехал совсем, и я с облегчением думаю: наконец вернулся навсегда.

Вдруг ты начинаешь целую речь. Говоришь, что больше не мог оставаться там. Все попытки устроиться на работу ни к чему не привели. Никто из тех, к кому ты обращался, не отказывали прямо, но просили прийти в выходные или праздничные дни, когда ты, конечно, не можешь застать их на работе. Мне жалко тебя. Я тебя обнимаю и просыпаюсь. По фабуле сон вполне обычный, но необычен по глубине переживаний. И я думаю об этом весь день как о реально случившемся событии.

Твои фотографии прелестны, особенно портрет отца.

Кстати, мне отдали варежку, которую я потеряла в день твоего отъезда.

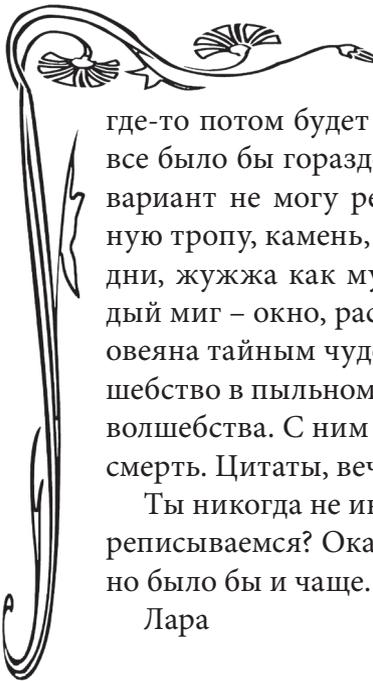
Юрочка, пожалуйста, не сердись, если я пишу не так часто, как должна. Иногда я действительно не знаю, о чем писать. Я очень тебя люблю и всегда буду любить.

Целую. Лара

01.03.73.

Юрочка, милый!

Описать мое состояние просто невозможно. Мне необходимо видеть твои глаза, чтобы оценивать ответные реакции. Вернусь к твоему письму. Живу сейчас здесь и не очень долго (возможно), хочу быть счастливой на этой земле, а не на какой-нибудь другой. Ровно год назад я проживала каждый год как последний. Я никак не могла смириться с уходящим. Казалось, если я упущу что-то сегодня, не наверстаю никогда. На этом прогорело много душевного запала. Долго так тянуться не могло. Во всяком случае, сейчас этого нет. Иначе единственным моим решением сегодня было бы уйти, как говорится, в мир иной. Теперь другая стадия – сегодня день не последний, а вот послезавтра... Поверь я хоть на минуту, что



где-то потом будет та стабильность, которую ты ищешь, все было бы гораздо проще. А тут даже на оптимальный вариант не могу решиться. Бесполезно искать утраченную тропу, камень, лист, потайную дверь... Мимолетные дни, жужжа как мухи, устремляются в небытие, и каждый миг – окно, распаханное во все времена. Ведь судьба овеена тайным чудом случайности, творящей новое волшебство в пыльном мире. Что ж, приходится ждать этого волшебства. С ним не так печальна жизнь, не так ужасна смерть. Цитаты, вечные цитаты...

Ты никогда не интересовался, с какой частотой мы переписываемся? Оказывается, одно письмо в месяц. Можно было бы и чаще.

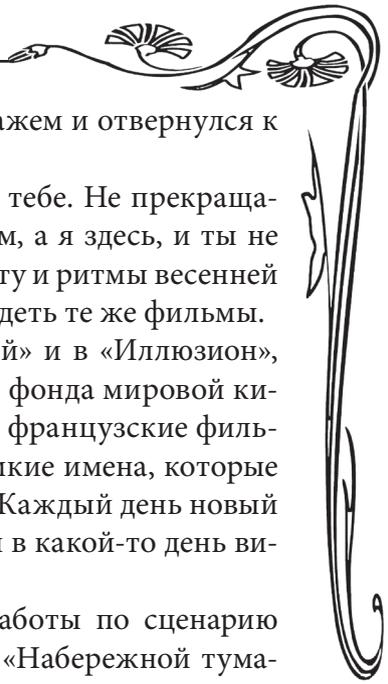
Лара

20.05.73.

Моя милая пусенька!

Первые дни совершенно захватили меня своей оголтелой суетой, и меня сосет этот червь: когда же я сяду и напишу тебе?

Начну с жуткого впечатления от саратовского прощания, которое было многократно усилено тем, что отец, оказывается, не ушел домой, а просто отошел куда-то, чтобы дать нам возможность побыть вдвоем. Когда поезд пошел и ты, отставая, шла за вагоном, я вдруг услышал свое имя и увидел его. Начался дождь, он натянул на голову болоньевую шапочку и сразу стал маленьким-маленьким. Он махал мне рукой, и такая жалкая улыбка была у него на лице!.. Вернее, не улыбка, а попытка улыбнуться. В этом было то, что он никогда не мог сказать словами, я до сих пор, как вспомню, не в силах удержаться от слез. Однажды, в квартире у знакомых, я вынужден был



сделать вид, что заинтересован пейзажем и отвернулся к окну. Такие дела.

Как и раньше, все время думаю о тебе. Не прекращается связь с тобой и боль, что ты там, а я здесь, и ты не можешь вместе со мной видеть красоту и ритмы весенней Москвы, ходить и ездить со мной, видеть те же фильмы.

Я повадился ходить в «Повторный» и в «Иллюзион», где идут только шедевры из золотого фонда мировой кинематографии! Идут американские и французские фильмы тридцатых годов. Все самые громкие имена, которые мы с тобой читали у Жоржа Садуля. Каждый день новый фильм или даже несколько. Так что я в какой-то день видел три фильма.

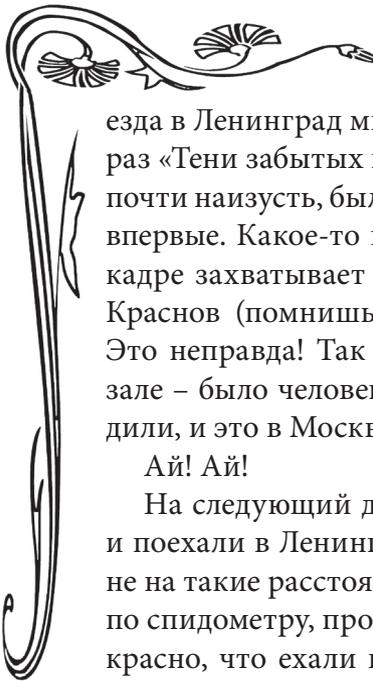
Самое сильное впечатление от работы по сценарию Жака Превера (тот же дуэт, что и в «Набережной туманов») – «Дети райка». Двухсерийная кинодрама.

Пиши, я очень прошу тебя. Я очень люблю тебя. Я могу это повторить на Страшном суде. Очень жду писем. Целую.

08.06.73.

Пусенька!

Я даже не знаю, с чего начать – столько впечатлений от этой поездки. Они разбегаются, перебивают друг друга. Хочется и о том написать, и об этом... Хочется, чтобы ты могла шаг за шагом проследить все, что со мной было. Все время не оставляет чувство досады и горечи, что тебя нет со мной. То есть ты со мной каждую минуту, каждую секунду. Ты живешь внутри меня, во мне. Но ты не можешь видеть того же, что я, и это самое ужасное. Для меня всегда такая радость совместного с тобой переживания любой мелочи! А тут столько всего! За день до отъ-



езда в Ленинград мы ходили в «Иллюзион» смотреть еще раз «Тени забытых предков». И хотя я этот фильм помню почти наизусть, было полное ощущение, что я смотрю его впервые. Какое-то невероятное произведение. В каждом кадре захватывает дух, и хочется крикнуть, как Володя Краснов (помнишь?) на «Вестсайдской истории»: «Нет! Это неправда! Так не может быть!» Смотрели в пустом зале – было человек пятнадцать, причем некоторые уходили, и это в Москве! В субботний день!..

Ай! Ай!

На следующий день в восемь утра сели в автомобиль и поехали в Ленинград. Еще никогда я не ездил в машине на такие расстояния. За эти пять дней, мы подсчитали по спидометру, проехали 1870 километров. В общем, прекрасно, что ехали втроем в мужской компании: Володя Крайнев, Сережка и я. В поездке было столько разных разностей, столько «слоев», что о каждом из них можно написать большой рассказ.

Прежде всего, само ощущение, что ты едешь в машине, ощущение полной свободы и раскованности, независимости от расписания общедоступного транспорта, возможность останавливаться, где хочешь, смотреть, что хочешь.

Далее – скорость. Средняя 130–140 километров в час, временами – до 150! На такой скорости через каждые 200–300 километров приходилось останавливаться и отмывать ветровое стекло от разбившихся об него в лепешку мошек, мух, ос и прочих тварей. Один раз в стекло ударился зазевавшийся воробышек. И как же было его жалко! Конечно, от него даже следов не осталось. При всем этом нужно сказать, что Вовка водит машину блестяще. Скорость развивает, но не очертя голову, а с умом. Так что опасных ситуаций ни разу не было. Перед Новгородом

дом, километров за 50–60, впереди нас вынырнул из леса «фиатик», как у Вовки, судя по номеру, ленинградский, и начал «чесать». В общем, обогнать мы его не смогли из-за встречных машин, но до самого Новгорода так и висели у него на хвосте при скорости 150 км.

Далее – пейзаж. Среднерусский пейзаж, в общем-то, известен. Но боже, как же это красиво, особенно вокруг Валдая! Дорога (очень прилично асфальтированная трасса международного уровня – на ней полно иностранных машин) представляет собой 720-километровую аллею, которая временами, по прихоти Господа Бога, сменяется равнинами, пригорками, лощинками, мостами. И леса, леса, леса! Весенняя зелень травы и деревьев такая чистая и сочная, что зубы ломит, как от колодезной воды. И среди всего этого мчится автомобиль, этакий глотатель километров, покоритель расстояний. Мчится с уже не автомобильной скоростью, ибо 130 км в час – крейсерская скорость самолета АН-2.

Далее – красота рек, которые проезжаешь. Видела бы ты Волгу в ее верховьях! Ручеек! А названия, одни только названия рек чего стоят: Сестра, Шоша, Цна, Мста, Лаговежа, Холова, Кересть, Полисть. Проговори названия медленно и тихо, и ты услышишь, как вкусно и гармонично поворачивается язык во рту и каждый звук отдается рыданием счастья от познания красоты. О, это не красивость, не громкие слова! Я отдаю себе отчет, что говорю! А?! Музыка! Господи! И как же нужно было быть далеким от этого, чтобы только раз проехать и все заново для себя открыть, увидеть как бы прозревшим оком и замереть душою от пронзительного очарования русской природы.

Стоп! Хочу спать. Продолжение в следующем письме. Очередная просьба: пиши как можно чаще, пусть понемногу. Хочу все о тебе знать.

В конце июня рассчитываю приехать в Саратов, конечно, в основном, чтобы повидать тебя. Как же я о тебе скучаю! Я целую твои письма, потому что они были в твоих руках, потому что ты сидела над этой бумагой, и ее касалось твое дыхание. Мне дорого каждое воспоминание о тебе, каждое прикосновение!

Целую тебя, мою славную, мою любимую.

Твой Юра

P. S. Завтра-послезавтра будет продолжение.

11.06.73.

...Записки мои, конечно, сумбурны и непоследовательны, но объясняется это стремлением сообщить тебе все, что со мной происходит.

Я в прошлый раз забыл рассказать о домашнем спектакле из жизни Древней Руси.

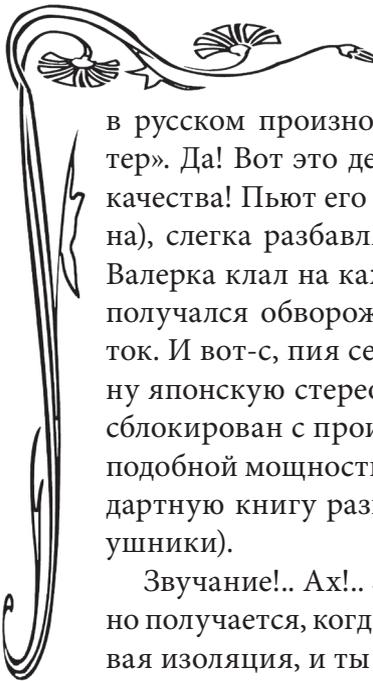
С фабульной стороны, которая не больше предлога, непосвященному ничего не понятно. Я, однако, был несколько предварен моим приятелем, который является участником действия. Эпоха царя Алексея Михайловича. Борьба двух ветвей православия. Никон и Аввакум.

(Пишу под пение Элен Делмар – лауреата «Золотого Орфея» 1971 года. Она тянет из меня кишки – нечто феноменальное в духе Эллы Фитцджеральд, такой неприкрытый секс – что-то чудовищное.) В общем, картина тебе понятная. Однако это чепуха.

Происходит дело так. Спектакль идет в восемнадцатиметровой комнате. Зрителей (не больше восьми-десяти человек) запускают, когда мизансцена уже началась. Зрители стоят в центре комнаты, пять актеров (четверо мужчин, одна женщина) играют вокруг на расстеленных по квадрату половиках из мешковины. На всех актерах

рубища из этой же мешковины. Освещение – только свечи. Действо идет около часа. И все это – не драматическое действо в привычном смысле, а скорее, сложная, но очень четко построенная и филигранно исполненная полифоническая fuga. Актеры медленно, но непрестанно перемещаются, время от времени образуя настоящие скульптурные группы. Масса пантомимических элементов. И непрерывные церковные тексты, положенные в форме монологов или диалогов, очень часто – двое, трое и даже четверо (!) говорят одновременно на разной высоте звука, в разном темпе, так что вслушиваться в отдельные слова все равно бесполезно, да это и не нужно. Они говорят, бубнят, кричат, спорят, а fuga бушует. В целом впечатление потрясающее. Участие женщины выражается в том, что она периодически на фоне «говорения» тихо и заунывно поет молитвы или старинные русские песни вроде «Встане-е-т со-о-олнышко кра-а-а-а-сное». Это, конечно, образец умного, хотя для завоевания популярности и преждевременного, синтетического соединения драмы, музыки и пантомимы. Режиссер – Игорь Васильев (он же исполнитель роли священника), может быть, знакомый тебе по главной роли в плохом телефильме «Инженер Прончатов». Очень приятный и интеллигентный парень. Обратил внимание, как я профессионально смотрел и раскованно держался. Потом Эмиль Левин (мой приятель) ему пояснил, что такое мое поведение не совсем случайно. А я, признаться, и не думал о том, как выгляжу. А оно, видишь, как в глаза бросилось... Вот.

Да-с, вот еще одно из московских, предотъездных в Ленинград впечатлений. Собрались мы как-то с Сережкой поиграть в преферанс у кларнетиста из Кондрашинского оркестра. Валера Жестов, живет в том же доме, что и Крайнев. Пили настоящий английский джин, который



в русском произношении звучит примерно как «Бифитер». Да! Вот это действительно алкоголь превосходного качества! Пьют его без закуски (она просто не обязательна), слегка разбавляя минеральной водой или тоником. Валерка клал на каждую порцию апельсиновую дольку, и получался обворожительного вкуса обжигающий напиток. И вот-с, пия сей напиток богов, я включил Валеркину японскую стереофоническую установку (магнитофон заблокирован с проигрывателем, два динамика неправдоподобной мощности и диапазона звука размером со стандартную книгу разнесены для стереоэффекта, и еще наушники).

Звучание!.. Ах!.. Эх!.. Ох!.. Особенно умопомрачительно получается, когда надеваешь наушники. Полная звуковая изоляция, и ты со всех сторон окружен музыкой: она и спереди, и сзади, справа и слева, и пронизывает тебя насквозь, целиком заполняет тебя. Магнитофон кассетный, кассета величиной с пачку сигарет, время звучания два часа. Слушал американский и японский джаз. Качество исполнения, записи и звучания – об этом и говорить не стоит. Ничего подобного в обиходе не бывает. Это совсем другой мир, в котором уже не действуют законы привычной шлягерной музыки. Это большое и настоящее искусство, которое может на время сделать человека сумасшедшим. Мое состояние было таким, что мысли поддавались контролю с большим трудом.

Я, может быть, не писал бы обо всем этом так подробно, если б не ощущал так остро во всех мелочах твое отсутствие и присутствие одновременно. Ты и со мной и не со мной, где-то далеко, а зачем, почему, для чего? Величайшая из нелепостей моей жизни, наверное, потому, что она проистекает из величайшей в моей жизни любви! Единственное, хотя и очень слабое утешение для меня,

что на данном этапе иначе нельзя было и что ты все равно будешь со мной. Пусенька моя! Я так люблю тебя!..

В этом письме я не возвращаюсь к ленинградской поездке, так как объем его может превысить приемлемые размеры. Но в следующем письме (через пару дней) обязательно продолжу. Пиши и ты, хотя бы так же часто.

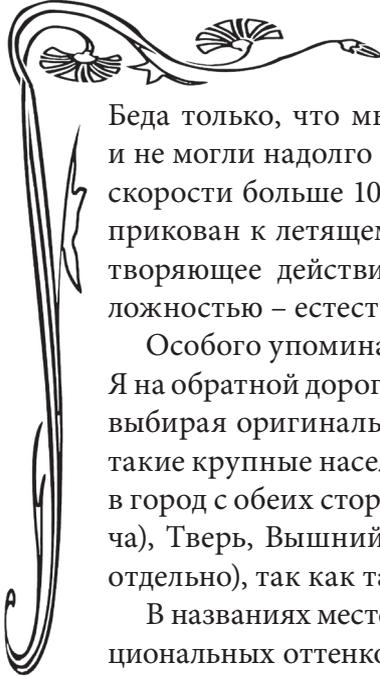
Целую тебя бесконечное количество раз. Твой всегда.

Эдит Пиаф (одно из последних моих приобретений – новая пластинка «Мир Эдит Пиаф») поет «Счастливая!.. Счастливая, бесконечно счастливая, несмотря ни на что... И мне досталось немного неба, солнца, счастья... Я счастлива, даже если должна любить за двоих, даже если тебе не приходит в голову, как я люблю тебя». Счастливая... – Как это похоже на то чувство, которое Господь подарил мне!

15.06.73.

Итак, после нескольких «литературно-лирических отступлений», возвращаюсь на трассу Москва – Ленинград. Помнишь, одна из миниатюр Солженицына начинается словами: «Пройдя поселками средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего действия русского пейзажа. Он – в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы царевнами белыми и красными, вышедшие к широким рекам колокольнями стройными, точеными, резными, поднявшиеся над соломенной и тесовой нашей повседневностью, они издали издали кивают друг другу, они из сел разобщенных, друг другу невидимых, поднимаются к одному небу».

Я не хочу перепевать своими, несравненно более бедными словесными ресурсами столь прекрасно и точно переданную атмосферу «умиротворяющего действия».



Беда только, что мы все-таки спешили (не мы, а Вовка) и не могли надолго задерживаться и рассматривать. А на скорости больше 100 км/час глаз невольно сильнее всего прикован к летящему на тебя вееру асфальта, и «умиротворяющее действие» часто оборачивается противоположностью – естественным возбуждением от движения.

Особого упоминания требуют названия городов и сел. Я на обратной дороге специально выписал 59 (!) названий, выбирая оригинальные. Причем в этот список не вошли такие крупные населенные пункты, как Клин (при въезде в город с обеих сторон висит эмблема музыкального ключа), Тверь, Вышний Волочек, Новгород (о нем опять же отдельно), так как там мы останавливались.

В названиях местечек проявляется огромное число эмоциональных оттенков, прихоти и богатства языка, юмора, насмешки, даже нежности. Вот, например, какие милые и нежные слова: Миронушка, затем Миронежье, Миронечи, Кисленка, Вишенки, Холохоленка (нечто малохольное, верно?), Мшага. А вот уже юмор: Долгие Бороды, и через 200 километров – Безбородово. Мелькают Ижицы, Тютюцы, Стуковья, Зизино. И вдруг: Дурыкино. Через некоторое время: Думаново. А?.. Каково? И вот нечто совершенно фантастическое. Подряд, через несколько километров друг от друга: Мясной Бор, Харчевня, Добывалово, Лежнево, Выползово, Хотилово, Опочивалово, Домославль, Раек! И завершает эту серию блямба: Выдропужск! Есть и спокойные, «констатируемые», «описательные» названия: Спас-Зеулок, Наволоки, Жары, Болотница, Тутань, Любань.

Почитаешь все это и невольно призадуматься. Перед Новгородом заметили придорожный трактир «Любава». Так и называется: трактир. Первый раз вижу в наше время действующий трактир. Решили, что на обратном пути непременно заедем пообедать. Уж больно романтично!

Новгород, надо признаться, меня не поразил, Может, конечно, что не так и мы не то, и не с той стороны смотрели, но факт. Около часа мы обходили кремль, знаменитейшее и древнейшее сооружение. Все это экзотика, кажется, образцы архитектуры, однако на фотографиях, на открытках и в кино все это выглядит эффектнее. Повторяю, может, я смотрел невооруженным глазом и не увидел. После эстонских средневековых сооружений не смотрится. Там одни развалины замка ливонского монашеского ордена чего стоят! Я, лоботряс, до сих пор так и не проявил пленки.

Перечитываю написанное, вспоминаю то, что писал в прошлых письмах, и вижу, как язык мой беспомощен в описаниях. И хоть я не «работаю над стилем», пишу эти письма из головы на бумагу – как Бог на душу положит, все же в психологии отношений моя литература гораздо сильнее (ты должна это признать). Там я сам чувствую в себе этакую мощь. А здесь!.. Ну да Бог с ним. Важнее другое: чтобы ты была со мной. А переживая впечатления, я неизбежно чувствую твое присутствие.

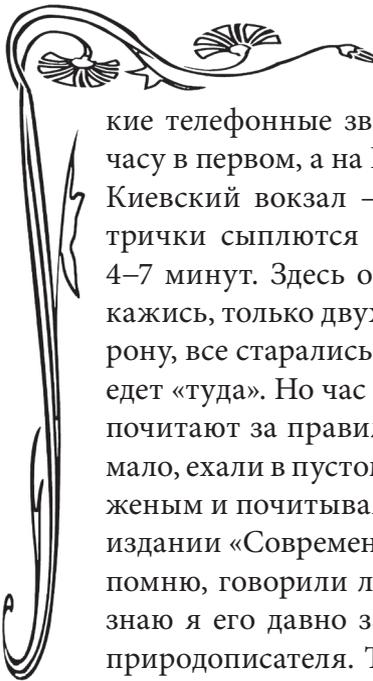
Целую, люблю, скучаю.

Надеюсь скоро увидеться (если с работой все будет улаживаться).

15.06.73. Вечер (то было утро).

30 мая было Переделкино. В этот день годовщина (13 лет) смерти Б. Пастернака и по традиции собирается народ литературных и околослитературных кругов возложить цветочки, повспоминать об ушедших днях, почитать стихи и так, поглазеть да послушать всякие всякости.

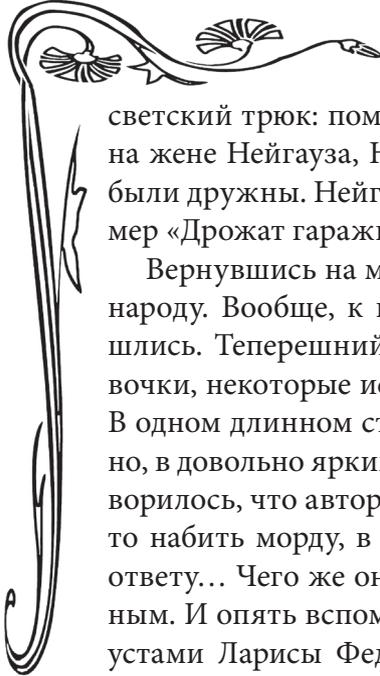
Встали в этот день поздно, мы с Сергеем заспались часов до десяти. Пока раскачивались туда-сюда, были вся-



кие телефонные звонки, одним словом, из дома вышли часу в первом, а на Киевский вокзал приехали во втором. Киевский вокзал – это не Казанский, с которого электрички сыплются как из рога изобилия через каждые 4–7 минут. Здесь они ходят реже. Попали мы на поезд, кажись, только двухчасовой. Пока околачивались по перрону, все старались по одежке да по носу определить, кто едет «туда». Но час был поздний («туда» едут спозаранку, почитают за правило быть там не позже десяти), народу мало, ехали в пустом поезде, пробавляясь каким-то мороженым и почитывая только что вышедший в кошмарном издании «Современника» сборник В. Белова «Холмы». Не помню, говорили ли мы с тобой об этом сочинителе, но знаю я его давно за весьма и весьма толкового быто- и природописателя. Творильщик он изрядный и заслуживает внимания. Буде случится оказия – прочти всенепременно. Расстояние до Переделкина от Киевского вокзала близкое. Я, собственно, уже не первый раз там, а братец впервые. Доехали за 20 минут. А дальше я был проводником. Места благодатные. За церковью кладбище, и через поле вид на дачу Бориса Леонидовича. Глянешь окрест, и сразу вспоминается соседний лес, дома поселка, мелкий, нищенский, нагой трепещущий омшаник, который за двадцатилетие со времен написания «Августа» изрядно подрос и стал совсем не «нищенским» и не «мелким». Теперь был май, а не «август», поэтому он был не нагим, а «лес кладбищенский» не был «имбирно-красным». И все же атмосфера та. Угадывается безошибочно. Кажется, даже ветерок в листьях сочиняет стихи или повторяет услышанные.

На кладбище немного поплутали. Там за три года появились новые могилы, да кустарник разросся. Но нашли. В этот раз шли со стороны ручья и перед Пастерна-

ком наткнулись на могилу Корнея Чуковского. Простая железная ограда и два выкрашенных зеленой масляной краской деревянных креста – его и жены; еще внутри аккуратная деревянная скамеечка, на которой мы посидели и покурили. На кресте написано просто: «Корней Иванович Чуковский» и даты рождения и смерти. Не помню, чей некролог (не напечатанный, конечно, в прессе) начинался словами: «Умер последний честный писатель России». Ни памятника, ни упоминания, кто это. Отрадно только, что на могиле лежали свежие еще тюльпаны, ландыши и сирень. Да и то, наверное, шли в этот день к Пастернаку да заодно и положили. Но самое изумительное – крохотная фигурка пластмассового медвежонка, которую кто-то любовно пристроил на кресте. Мы этого медвежонка укрепили прочнее, чтоб не свалился от ветра, и пошли к Борису Леонидовичу. Народу у него было мало – в основном молодежь, судя по виду – студенты Литинститута. Постояли мы немного и пошли (опять же по традиции) к даче Пастернака. Улицы в Переделкино, где помещается Дом творчества союза писателей, названы именами виднейших советских художников слова – Леонова, Бабаевского, Прокофьева и т.д. Дача Пастернака находится теперь на улице Павленко (!!!), как эта улица называлась раньше, не узнали. Проходя мимо дачи, видели сына Бориса Леонидовича. Он в сапогах и в грязном комбинезоне (наверное, возился в саду) вышел на улицу, поискал кого-то и ушел обратно. Потом выяснилось, кого он искал. Немного времени спустя мы встретили Станислава Нейгауза, который чинно прогуливался с кавказской овчаркой на поводке и с немолодой, весьма аристократического вида, дамой. Знаешь ли ты, что сын Генриха Густавовича Нейгауза – Станислав является также сыном второй жены Пастернака. Был у них такой велико-



светский трюк: поменялись женами. Пастернак женился на жене Нейгауза, Нейгауз – на жене Пастернака. Очень были дружны. Нейгаузу посвящено много стихов, например «Дрожат гаражи автобазы...»

Вернувшись на могилу, застали там несколько больше народу. Вообще, к нашему приезду, наверное, все разошлись. Теперешний народ – молодежь. Мальчики и девочки, некоторые истерично читали фрондерские стихи. В одном длинном стишке, который мальчик читал ужасно, в довольно ярких, хотя и непонятных выражениях говорилось, что автор со всеми хочет вступить в бой, кому-то набить морду, в кого-то выпустить пулю, призвать к ответу... Чего же он все-таки хотел, так и осталось неясным. И опять вспоминается Борис Леонидович, который устами Ларисы Федоровны повторяет в разных местах романа: «Мальчики стреляют». Стреляют, и все мимо. А если и попадут, то не в того. А если в того, то не в... Не дослушав до конца, уехали. Скучно, хотя парнишка, видно, не бесталаный.

Да, вот еще «довесочек» про Новгород. Сувенир. Надпись на бересте: Четырнадцатый век. «От Микиты к Ульянише. Выходи за меня. Я хочу тебя, а ты мя. А на то свидетель Игнат».

Нежданно-негаданно получилось еще целое письмо...

04.07.73.

Моя милая!

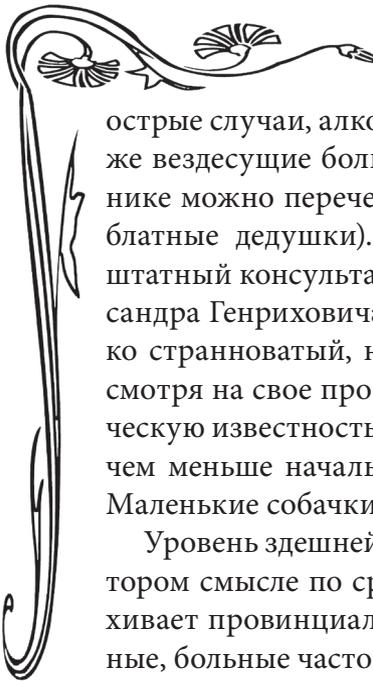
Не писал тебе с субботы, а уж кажется, что целая вечность прошла. От тебя писем еще нет. Как всегда, ты, наверное, ленишься. Пожалуйста, помни, я повторяю это в который раз, что мне интересно буквально все, что с тобой происходит, что (и кто) тебя окружает, даже если

тебе самой все это кажется малозначительным. Ведь иначе твое нытье и жалобы на скуку остаются для меня пустым звуком. А ведь и из скучного (чаще всего только внешне скучного) окружения всегда можно извлечь что-то остренькое. Ты только попробуй – сядь за бумагу, и сразу получится. Простой факт («мимо окна прошел пьяный», «на улице жара», «подул ветер») при свежем на него взгляде (не разучилась же ты удивляться) оборачивается чем-то значительным, комическим, гротескным, глубоко-философским.

Все зависит от способности к ассоциированию. И посмей только утверждать, что у тебя ее нет!.. Ужо я тебе!..

Второй день работаю в 14-м отделении больницы им. Ганнушкина на ставке врача-ординатора (163 р.). Принят временно (на два месяца). Полагаю, если мне очень захочется (что вряд ли!), это будет и постоянно. В отделении меня приняли хорошо, безо всякого чванства, но и без восхищения моим психиатрическим анамнезом. Здесь этим никого не удивить. Правда, в отделении я единственный (хоть и неутвержденный) кандидат наук. Моя заведующая – очень милая, даже несколько домашняя женщина лет сорока. Понимает, что мне трудно после тепличных условий кафедры (в смысле контингента больных) и десятилетнего перерыва переключиться на «большую психиатрию». Вообще атмосфера совсем другая. Никто никого не подковыривает, не подсиживает. Стараются друг друга поддерживать. Все очень по-человечески. Ни для кого не секрет, что в нашей профессии промахи – вещь настолько ординарная, что об этом специально даже говорить не стоит. Никто этого не делает сознательно, следовательно, нечего нервы трепать.

В отделении 90 коек. У каждого врача больных человек по двадцать. Профиль отделения очень широкий –



острые случаи, алкоголизм и алкогольные психозы, а также вездесущие больные-хроники, которых в нашей клинике можно перечесть по пальцам (в основном – только блатные дедушки). Отделение мужское. Ему «придан» штатный консультант в лице известного нарколога Александра Генриховича Гофмана. Человек, видимо, несколько странноватый, но в обращении прост и спокоен, несмотря на свое профессорство и всесоюзную психиатрическую известность. Это не наш чинуша! Давно известно: чем меньше начальник, тем он хуже для подчиненных. Маленькие собачки всегда самые злые!

Уровень здешней психиатрии меня не поразил. В некотором смысле по сравнению с кафедральной даже попахивает провинциальностью. Методы более консервативные, больные часто без призора – конечно, те, которые не вызывают опасений по своему физическому состоянию. Ничего подобного на кафедре себе представить было нельзя. Но зависит это не от «мягкотелости», к чему сразу прицепился бы Гамбург (он всегда ищет недостатки, которые могут выгодно оттенить его деятельность или, по крайней мере, оправдать ее). Это зависит просто от нехватки врачей. Ну что это, в самом деле – 20—25 больных на врача! Но по штату больше не положено... Только одно здесь для меня хорошо. В отделении полно милых моему сердцу настоящих сумасшедших, с которыми за годы работы на кафедре мне приходилось так мало общаться.

Вот-с, это первые впечатления. Что-то будет дальше.

А у меня новость. Купил пишущую машинку. Правда, «Москву», но зато в новом оформлении. Работать на ней можно, хоть это и не «Эрика». Да и стоит 135 (вместо 180).

Посмотри фильм «Черный принц». Детектив, но есть несколько великолепных по тексту и по сыгранности сцен.

Очень хочется знать, как тебе мой кроссвордик? Посылаю тебе еще один, я его упростил (не все хорошо «ложилось»).

Целую тебя крепко-крепко. Люблю. Очень. Скучаю.

Пиши же, Бога ради!

Юра

07.07.73.

Милая моя!

...И вновь мне пришлось тревожиться, когда я прочитал твое последнее письмо. И вновь отравя неуверенности стала разъедать мою только было начавшую успокаиваться душу. Конечно, самая тревожащая фраза заключалась (почти затерялась!) где-то в середине абзаца: «неопределенность стала неустроенностью, а к чему это приводит, ты мог наблюдать неоднократно». Или что-то в этом роде – не хочется доставать уже спрятанное письмо, да это и неважно. Смысл воспроизведен точно. Да, я мог наблюдать, к чему приводит твое восприятие «неустроенности». Истерическое захлебывающееся отчаяние, порождаемое ситуацией, субъективно квалифицируемое тобой как «неустроенность» или нечто ей родственное, в свою очередь, порождает «метание», «хватание за соломинку», когда в этом нет настоящей необходимости. И в этот момент ты уходишь от меня «к кому-нибудь» – тебе в этой ситуации все равно, к кому. Потом ты осознаешь опрометчивость своего поступка и возвращаешься «на круги своя», но при этом успеваешь причинить кучу боли и себе, и мне. Но об этом потом (надеюсь, что ты правильно улавливаешь соответствующую интонацию)...

Сегодня – суббота 7 июля, мой первый субботний выходной. Тринадцать лет я работал на шестидневной не-

деле. Когда это было в Энгельсе, пятидневки еще не существовало, когда появилась пятидневка, я работал уже на кафедре.

Огромное ощущение – два выходных. Как будто Новый год или Первое мая. Или Седьмое ноября. Работаю теперь уже на 1,5 ставки. Рабочий день – 9 часов. Имею двадцать больных и буду иметь еще больше – до тридцати.

Положение это вынужденное, так как врачей не хватает, и все равно придется выполнять ту же работу, только за меньшие деньги. Но так будет не всегда. Отношения на работе складываются (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!) неправдоподобно, сказочно хорошо. Ко мне все прекрасно относятся, почувствовали мои железные «профессиональные зубы», мою диагностическую и лечебную хватку и зауважали.

Очень утомительно только то, что много больных, Каждый день один-два новых, все очень сложные, непривычные по клинике – все-таки отделение широкого профиля. Временами от этого разнообразия просто глаза разбегаются» – не знаешь, за что раньше хвататься. Но пока справляюсь, держу марку.

Мою работу всегда окрашивают два момента: студенты и сумасшедшие. Недавно в отделение поступил наркоман в состоянии жестокой абстиненции. Он стонал, клял всех на свете, был агрессивен, орал: «Вы ни хрена не понимаете в жизни. Вы лишены лучших ее сторон. Вы не понимаете, что человек без кайфа жить не может! Что вы знаете о жизни? Н и ч е г о! А я без кайфа не могу!! У меня лекарство кончилось! Что делать? Хоть на стену лезь! Хорошо еще, что под рукой оказался «Манифест коммунистической партии». Я его прочитал, так вот уж был кайф». Каково? По-моему, хорошо.

Целую, обнимаю. Пиши чаще. Помни, как на расстоянии воспринимается отсутствие писем. Я уже говорил, что тут важен результат, а не причины.

Твой Юра

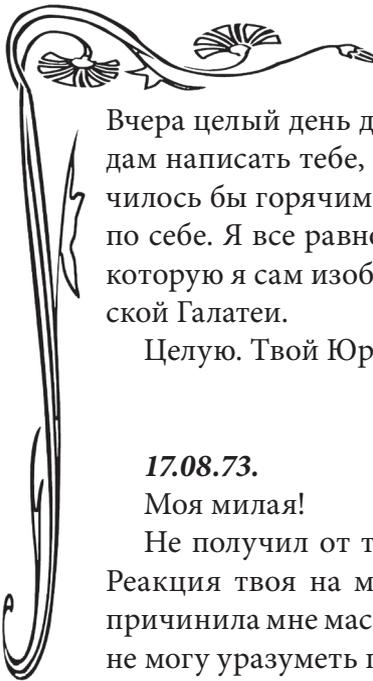
Да! Напиши что-нибудь о моих кроссвордах. Третий, с моей точки зрения, самый удачный в смысле профессионализма конструкции. В следующем письме начну присылать ответы.

08.08.73.

Моя милая пусенька!

Сел писать тебе и вдруг ощутил, как это трудно и неожиданно непривычно, как неудобен и неуклюж этот способ общения. Еще так свежи ощущения твоего присутствия. Еще все вещи лежат на тех же местах, еще не вытерта пыль. Еще валяются брошенные тобой газеты, «Весы» лежат так же, как ты их оставила. И только хрустальные бокальчики я сегодня вымыл и поставил на место. На всем лежит отпечаток твоего движения, следы твоих действий.

Твое ко мне отношение нуждается в серьезнейшем анализе. Вот какой вывод я сделал в результате твоего так быстро промелькнувшего приезда. Имей в виду, что личность – синхронно работающая система взаимно относящихся параметров, и целостность ее функционирования невозможно скрыть от вооруженного глаза. А у меня глаз вооруженный. Но я настолько тебя люблю, что, при условии твоей преданности, готов принять тебя и такой. В конце концов, не все ли мне равно, что именно тебе нужно во мне (или от меня), если я тебе нужен. Мне несколько иначе раскрылись черты твоего отношения ко мне, которое одно только и интересует (наряду с тобой) меня.



Вчера целый день думал об этом и хотел по горячим следам написать тебе, но по горячим следам и письмо получилось бы горячим. Во всяком случае, вчера мне было не по себе. Я все равно буду любить тебя всегда, пусть – ту, которую я сам изобрел и создал наподобие пигмалионовской Галатеи.

Целую. Твой Юра

17.08.73.

Моя милая!

Не получил от тебя еще ответа, поэтому беспокоюсь, Реакция твоя на мои «излияния» была неадекватной и причинила мне массу боли. Уже успокоившись, я и теперь не могу уразуметь простой вещи: неужели так мало нужно, чтобы разрушить столь прекрасное здание? Ты многое понимаешь, тебе дано тонко чувствовать, и вдруг... что происходит?.. Ну да ладно, может быть, ты мне когда-нибудь это объяснишь.

Ну а теперь (прости мою назойливость в этих неоднократных напоминаниях) я еще раз скажу, что страх потерять тебя для меня слишком нешуточен, и его очень легко извлечь из недр. В этом я мнителен до умопомрачения, до полнейшей истерики. Я понимаю, какой это, наверное, унижительный страх, но тут я утрачиваю всяческое чувство юмора и не могу ничего с собой поделаться. Поэтому я прошу тебя, поелику это возможно, бережнее обращаться со мной. Я не в состоянии воспроизвести всю последовательность захлестывающих меня ассоциаций при появлении в моем поле зрения знакового сигнала (иначе – факта), который, с моей точки зрения, может быть прелюдией к катастрофе. Возможно, хотя я это и не проанализировал, страх мой в значительной мере

подталкивается не полностью утвердившейся уверенностью в тебе, так как ты склонна к опрометчивым поступкам и для совершения их тебе не так много нужно, иногда достаточно поверхностного выражения факта (как было с моим письмом). Это печально, но, надеюсь, исправимо.

Целую.

21.08.73.

Моя милая, моя нежная!

Ты права, конечно. Но твои упреки были бы совсем справедливы, если для моих теперешних просьб и даже требований ты раньше не давала бы оснований. Если ты хорошенько вспомнишь, я думаю, ты не сможешь меня упрекнуть в излишней требовательности и придирчивости к тебе.

А не написал (просто забыл) я тебе о «приятных и неожиданных» делах на работе потому, что в последнее время, как могла ты судить из моего прошлого письма (надеюсь, оно не очень выбило тебя из колеи), у меня возникли кое-какие отвлекающие моменты – как эмоционального, так и чисто рабочего плана.

Ну так вот. Я уже писал, что меня на работе прекрасно приняли, хорошо относятся и что в связи с этим открываются всяческие благоприятные перспективы в смысле развития дальнейших отношений, возможности трудоустройства и прочее. Ничего принципиально нового в этом смысле нет. Только некоторые, на мой взгляд, не очень значительные, но все же в какой-то мере показательные факты: 1) Получил два предложения (что очень важно, без всякой моей инициативы и намека на какую бы-то ни было просьбу) по трудоустройству – в НИИ су-

дебной психиатрии и в НИИ МЗ РСФСР, причем второй институт располагается на территории больницы, где я работаю. На эти предложения я пока ответил неопределенным мычанием, что вполне соответствует моим, тебе известным, установкам. В противном случае за эти предложения нужно хвататься как за манну небесную, ибо оба названных института – крупнейшие в стране, так сказать, «головные», и любой мало-мальски нормальный и разумный человек, узнав о моем вышеупомянутом мычании, счел бы меня рехнувшимся. Человеку делают предложение, о котором только мечтать могут тысячи психиатров, а он мычит! 2) Получил приглашение консультировать!! научную тему по манифестации привычных психозов, так как там прослышали, что я «владею математической обработкой» и уже «имел работы с ЭВМ». Как я «владею» и какой имею «опыт», ты должна хорошо помнить – цифирь в мои колонки вносилась при тебе, и ты представляешь себе точность и пунктуальность моих вычислений. С этим «опытом» и с этим «владением» я, как и полагается, несколько поколебавшись и придав своему лицу скромное выражение, согласился «помочь» им в составлении программы. Подержав на лице в течение времени, достаточного для приличия, скромную маску, я отверз уста и «между делом» заметил: «Очень важно построить правильный алгоритм, так как для машины безразлично, из чего вы исходите». На этом моя «консультация» закончилась, потому что особе, услышавшей слово «алгоритм», который нужно «правильно строить», это слово показалось музыкой, и она поспешила удалиться, дабы посмотреть его в словаре.

Вот и все основные «неожиданные» и «приятные» факты. К «не основным» относятся непередаваемые нюансы атмосферы на работе.

В прошлое воскресенье приступил к продолжению «Весов». Написал сразу почти половину того количества, что было, и увидел, что временной промежуток благотворно подействовал на мое представление об этой вещи. Как-то четко увиделось все в целом, и теперь я почти ясно вижу всю конструкцию – и то, что уже сделано и то, что должно быть сделано. Таким образом, конечный результат – вопрос времени. Сейчас остановился на 58-й странице и считаю, что примерно четверть чернового текста написана. Может быть, в процессе дальнейшей работы, что вполне естественно, выяснится необходимость сокращения или, наоборот, расширения предполагаемых текстовых «рамок».

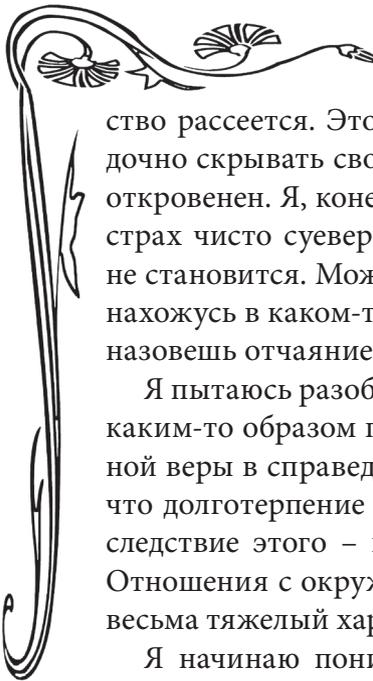
Теперь о кинофестивале. В целом он, видимо, скучноватый (ходил всего на три фильма, но отзывами земля полнится), однако отдельные крупинцы есть. Например, блестящий французский фильм Ива Робера с Луи де Фюнесом «Высокий блондин в черном ботинке» – пародийный комический детектив с изумительным актером в главной роли. В чилийском полудокументальном фильме «Операция альфа» впервые увидел полный стриптиз – зрелище, честно сказать, приятное для глаз, но не для возбуждения эротических эмоций – по крайней мере, для меня. Музыка в этом смысле на меня действует гораздо сильнее.

Вот и все (лучшие – почти все) мои дела.

Целую тебя. Юра

05.09.73.

Юрочка, получив твое письмо, я испытала чувство, сходное с отчаянием. Вероятно, это признание вызовет новые нарекания. Долго не писала, ждала, что это чув-



ство рассеется. Этого не произошло. Подумала: непорочно скрывать свои чувства, в то время как ты со мной откровенен. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что твой страх чисто суеверного свойства, но мне от этого легче не становится. Может быть, осень так на меня действует, нахожусь в каком-то оцепенении, которое, пожалуй, и не назовешь отчаянием.

Я пытаюсь разобраться, в чем дело... Мне кажется, что каким-то образом произошло разрушение подсознательной веры в справедливый ход вещей, наивной веры в то, что долготерпение и страдание вознаграждаются. И как следствие этого – новый взрыв всех моих комплексов. Отношения с окружающими меня людьми приобретают весьма тяжелый характер.

Я начинаю понимать, что перестал срабатывать некий механизм, который позволял мне долгое время быть высокомерно отстраненной от толпы. Теперь она душит меня. Сколько бы я ни уговаривала себя, что ничего не произошло, что это лишь мое субъективное восприятие, ощущение с каждым днем усиливается.

Мне очень плохо. Я еще надеюсь, что это пройдет.
Целую. Твоя Лара

06.10.73.

Вот уже две недели читаю с утра до вечера научно-фантастические романы.

Никуда не хожу. На работу не устроился – нет сил ходить и что-то делать.

Получил твое письмо. Ты так ничего и не поняла. Продолжаю читать научно-фантастические романы.

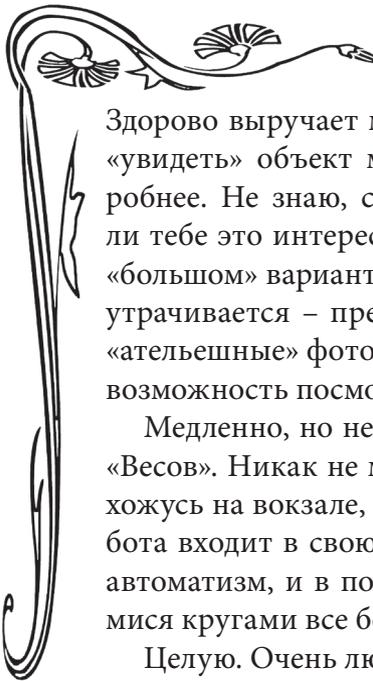
3-й закон Ньютона: всякое действие рождает равное ему противодействие.

27.11.73.

Ларочка!

По всему чувствуется, что ты начинаешь отвыкать от меня – пишешь письма без обращения, просишь приехать, мотивируя это тем, что утратила реальность моего существования, в конце заявляешь, что чаще писать можешь лишь за счет сокращения писем... Значит, тебе не о чем рассказать мне, значит, у тебя какая-то своя жизнь, о которой я не знаю и которая проходит стороной – мимо меня. И тон письма не то чтобы равнодушный, но, пожалуй, уж очень будничным. И настроение у тебя, как ты сказала по телефону, хорошее – это значит, что у тебя все хорошо, и ты находишь полное удовлетворение от той жизни, которой живешь и в которой происходит что-то, быть может, для меня губительное. Все плохо: и когда у тебя плохое настроение, и когда хорошее... Ты забываешь меня, все проблемы, связанные со мной, по-видимому, отошли на второй план, стали привычным «шумом», который уже никак не влияет на ход повседневной жизни. И это в то время, когда я так скучаю и тоскую о тебе, хотя и не строю планов на ближайшее свидание: сейчас так плохо с финансами, как, кажется, никогда раньше.

Сделал несколько, с моей точки зрения, удачных портретов детей, родителей (они были в Москве), несколько женских (знакомых) портретов. Снимки по форме своей совершенно реалистические; по содержанию, думаю – импрессион (слишком выражено мое субъективное видение данного человека). Теперь перехожу и на не импрессионистическую форму, хочу посмотреть, не усилит ли это настроенческого аккомпанемента. Судя по тому, как люди воспринимают мои портретные работы, видно, что я психиатр, и нажимаю спуск затвора именно как психиатр – ловлю мгновение эмоциональной выразительности.



Здорово выручает моя новая оптика, которая позволяет «увидеть» объект много интереснее, если хочешь, подробнее. Не знаю, стоит ли присылать портреты? Будет ли тебе это интересно? Ведь их стоит смотреть только в «большом» варианте. На открытках вся выразительность утрачивается – превращается в хорошие, но банальные «ательешные» фотографии. Я уверен, что у тебя появится возможность посмотреть их в оригинале.

Медленно, но неуклонно подбираюсь к продолжению «Весов». Никак не мог избавиться от ощущения, что нахожусь на вокзале, сижу на чемоданах. Но поскольку работа входит в свою нормальную колею, вырабатывается автоматизм, и в последнее время мысли мои сужающимися кругами все больше вращаются вокруг «Весов».

Целую. Очень люблю.

Вижу тебя во сне, вспоминаю по ночам, когда не спится. Тревожусь. Уверенность в тебе иногда колеблется, и это страшно.

Твой Юра

27.12.73.

Моя милая!!!

Поздравляю тебя с Новым годом, желаю в 1974 году всех благ и свершения всех надежд. Это горько, что мы на Новый год не вместе, но я надеюсь, что это в последний раз. Мне тоже надоело зависеть от каких-то обстоятельств.

Я хочу, чтобы ты верила: я не сижу сложа руки. Как и во всяком деле (проверено опытом), легко действовать, когда найдешь свою тему, то есть стержневой способ самовыражения в данной сфере, своеобразную «печку», от которой нужно «танцевать». Самое трудное – найти тему.

Этот мир полон непонятных и чуждых мне неожиданностей, угроз и опасностей, пугающих меня уже тем, что я о них ничего не знаю, хотя и осведомлен, что они существуют. Самое обидное, самое унылое и, в общем-то, безвыходное – это людская косность, тотальная вегетативная жизнь, растительная жизнь, которую ведут люди. Эти люди, которыми населен наш мир – вода, в огромной массе которой плавают чуждые ей молекулы вроде нас с тобой и еще нескольких десятков таких же изгоев. Эти люди не понимают и не принимают ни наших чувствований, ни наших мыслей. Они, может быть, добры сами по себе, но чужая доброта им кажется злом. Они не понимают, что у них просто испорчено зрение и слух, они забиты, замучены постоянной заботой: как прожить, как заработать, как продлить существование? Они оглушены, они мертвы и не знают этого. Я пишу тривиальные вещи, потому что здесь, в Москве, все обнажается с особой силой. Москва – неистовая схема нашей жизни. Москва – жестокая и голая правда, заостряющая все витальные инстинкты на всех социальных уровнях. Нищие озабочены тем, что они будут есть, богатые тем, как они будут есть. Для того чтобы сохранить что-то живое в душе, требуется огромное мужество.

Я вижу и знаю, как ты сейчас живешь. Как ты не могла догадаться, что вырвать тебя из этой жизни и дать тебе все, чего ты заслуживаешь, просто моя честолюбивая цель.

И я твое непонимание (что мне при твоём уровне показалось диким) осознал только в этот приезд. Тебе я, наверное, кажусь мягким интеллигентом, о чем могут свидетельствовать некоторые мои промахи практического свойства. Я таким кажусь многим. Но уж ты-то должна была знать и чувствовать, как я внутренне собран, тверд и принципиален, как я ни разу не отступил от своих

нравственных принципов и как до конца следую им, хотя этот путь жесток.

Принимая меня за такого, каким я тебе мог казаться из-за своей внешней мягкости (это очень обманчиво, это годами выработанная «психотерапевтическая маска»), ты, конечно, должна была бояться, что я вообще ничего не сумею добиться. Твоя близорукость довела тебя до того, что ты не поняла, что мой «побег» в Москву – принципиальнейшее решение, которое было задумано давно и смысл которого заключается в стремлении перестать быть мальчиком на побегушках, в стремлении стать наконец самостоятельным. Не зная еще ничего о твоём существовании, я выбрал далеко не худший способ осуществления своих намерений – жениться на приличной интеллигентной девушке, хотя и без большой любви.

Ларочка! Ты, может быть, не подозреваешь, что не могла бы меня любить, если бы я не был именно таким. Разум твой воспринимает только внешнюю мою разбросанность, а подспудные, не осознаваемые тобой эмоции чувствуют мою цельность.

Я всю жизнь живу по одной линии, которая начинается в том далеке, когда мне было пять лет и когда я совершил первый принципиальный поступок (хотя по-детски наивный!), не приняв подарка от женщины, на которую был обижен (она дарила мне в день рождения мою любимую пластинку). С тех самых лет (и это совершенно серьезно!) я стал мечтать о тебе. Я знал и верил, что ты где-то есть. Временами эта вера ослабевала, и однажды (когда я принял решение жениться) она покинула меня совсем – для того чтобы ровно через три месяца возобновиться с новой силой и наказать меня за это неверие.

Мог ли я отказаться от намерения встать на свои собственные ноги, когда ты (!) появилась? Мог ли я продол-

жать лежать, чтобы по мне ходили другие? Или ходить на чужих ногах? Любила ли бы ты меня такого? У тебя все эти вопросы не возникают?..

Таким образом, если уж я (!) все-таки нашел тебя, то прошу (в который раз!) не мешать мне своими истериками. Твои всхлипы: «скорее!.. лишь бы!..» надолго выбивают почву из-под ног. Участливость и ласка, которых я в своей жизни не вижу, гораздо лучше, чем прямые требования, будут стимулировать меня.

Все. Целую.

Да!..

16.01. 74.

Ларочка!

Вчера был на «Земляничной поляне». Показывали не переведенную на русский язык копию – без купюр! В первый раз за все время даже в «Иллюзионе» я видел только одни интеллигентные лица. Аудитория подобралась в этом смысле весьма «густая». И парень, который перед этим минут двадцать говорил о Бергмане, был на таком высоком уровне, о котором можно только мечтать. Было полное впечатление, что в этот день советская власть в эти стены каким-то чудом не проникла. Какая речь! Какая глубокая интеллигентность, какие ассоциации! И ни одной уступки публицистике, все в расчете на аудиторию очень высокого уровня.

В третий раз (с большим перерывом) я смотрю этот фильм, и каждый раз почти с начала до конца со слезами на глазах. Все это про меня, обо всем этом я и сам бесконечно думаю, все эти образы беспокоят и меня...

Вечером я поехал к Марку, там был Витя. Мы говорили о «Земляничной поляне», пили «Украинскую степную»

и играли в преферанс (чисто символически, так как денег ни у кого нет). Такая мужская компания меня вполне устраивает (жена Марка на работе). Целую. Все.

23.01.74.

Мой милый!

Сегодня, когда я прочла письмо, подумала: если бы получала от тебя только такие письма, смогла бы совсем излечиться от стервозности. С тех пор как ты написал мне после долгого молчания, и я успокоилась, меня не покидает хорошее настроение. Чем дальше, тем все больше я начинаю зависеть от тебя, все определяется тобой, твоим отношением ко мне. От всего прочего мира во мне возникла какая-то стена, Я сама удивляюсь своей уравновешенности во всех ситуациях, которые не имеют отношения к тебе. Я веду себя как-то отстраненно. Я здесь и одновременно не здесь, не с ними, и стоит мне подумать, что ты бросаешь меня, как, словно в вакуум, врывается эта чужеродная волна.

Какая чудная погода здесь. Когда иду вечером домой, не хочется уходить с улицы. К бассейну отношусь преувеличенно серьезно, совсем не пропускаю и плаваю, сколько хватает сил. И еще я взяла лыжи и в субботу поеду на соревнования. Совсем оспортомнилась. Но иначе мне просто не с кем ехать. Лыжи новые. К ним нужно сделать крепления, а мне даже некого просить об этом. Дожила. Наверное, думаешь, что я изменяю тебе. Отчего еще обиднее становится от такой беспомощности (шутка).

Кажется, письмо получилось неумеренно бодрым. Это потому, что я кайфую от того, что получила твое.

Крепко целую. Лара

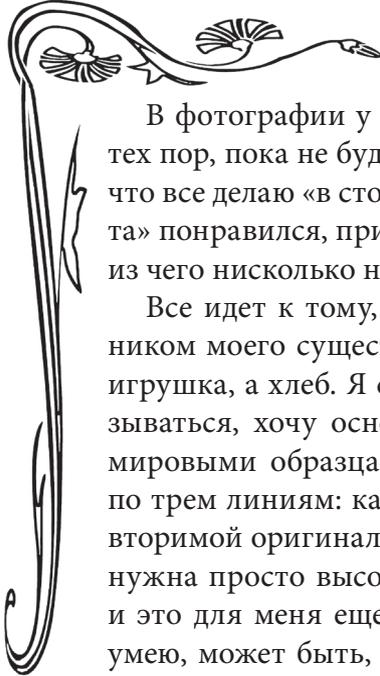
02.03.74.

Итак, перечисление дат моих писем ничего не дало, кроме предположения, что одно-два письма все же не дошли, так как интервалы непонятно большие. И я не могу теперь восстановить, какие из писем пропали, хотя бы потому, что ты не отвечаешь на мои письма, и наш эпистолярный диалог давно превратился в два монолога. Ты даже не ответила на вопросы, которые я специально оговорил, что ответы необходимы. Не зная твоего мнения по тому или иному поводу, я теряюсь в догадках, и тревога моя только усиливается, причем в еще большей степени от твоих описаний собственного пассивно-страдательного существования.

Мне это занудство (и твое, и мое) порядком надоело. Ты своим состоянием словно пытаешься меня настроить на заведомо известную тебе бесперспективность наших дальнейших отношений. И хотя для меня они пока только трудны, но далеко не безнадежны, ты своим нытьем все время выбиваешь у меня из-под ног почву, так как не могу не реагировать на большие промежутки между твоими письмами и их содержание. Я миллионы раз повторял тебе, что мне необходима твоя поддержка (моральная) и чувство (чувство, а не абстрактное знание!), что ты меня любишь. Из твоих писем этого не следует.

Фазиль Искандер совсем мне разонравился после романа «Сандро из Чегема» («Новый мир» за 1973). Раньше у него были, по-моему, занимательные вещи, была хорошая лирика и вкус. Как только взялся за большую вещь – все пошло прахом: ни идеи, ни композиции, ни элементарной связности. Так, набор анекдотов, правда, некоторые из них смешны.

Прочитал симпатичную штучку Д. Б. Пристли «31 июня» («ИЛ» семь-восемь лет назад – тогда я пропустил).



В фотографии у меня наступил временный спад – до тех пор, пока не будет реальной отдачи. А то получается, что все делаю «в стол»... Материал в журнал «Вокруг света» понравился, приняли (не помню, писал ли я об этом), из чего нисколько не следует, что будет опубликован.

Все идет к тому, что камера станет основным источником моего существования, и для меня это не дорогая игрушка, а хлеб. Я сейчас никуда не спешу идти и показываться, хочу основательно ознакомиться с лучшими мировыми образцами, для того чтобы «убивать» сразу по трем линиям: качеством, художественностью и неповторимой оригинальностью. В широкой прессе, конечно, нужна просто высокотехническая посредственность, но и это для меня еще далекий этап, хотя я умею, может быть, не меньше прожженных профессионалов. Моя задача – уметь в 10, в 20, в 100 раз больше!

У Сергея дела как будто налаживаются. Уехал неделю назад. Вчера приходила Н. К. Судя по описанию, сын ее – копия маленький Сергей, или я (по поведению), или Мика. Та же непоседливость, веселость и обилие ассоциаций.

Один знакомый композитор написал три песни на слова Марка. Сегодня собираемся (я – в качестве сводни) пойти к Вальке Никулину, который будет первым исполнителем. Хорошо бы «запустили» это дело в производство – хоть Марк заработал бы какие-то деньги.

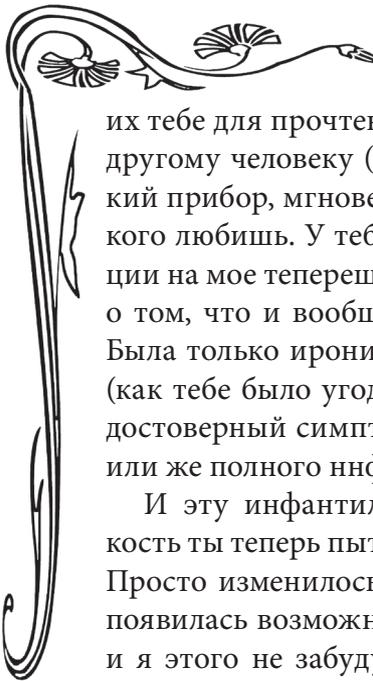
По-прежнему общение с Марком – единственная отдушина для меня.

Целую.

P. S. Кончились наборные конверты. Наборов в продаже нет. Плохо! Жаль, были очень красивые.

11.03. 74.

В противоположность тебе, я не впадаю в заблуждение относительно твоих способностей и понимаю, что арсенал их (в особенности умственных) достаточно велик. Но на твоём месте я не стал бы приписывать тебе способности, которыми не располагаю. Ибо никакой «способности любить» меня у тебя нет. Я не вижу и не чувствую твоей любви, следовательно, ты, может быть, и способна «испытывать чувства любви», но «любить» – это совсем другое. Это уже предполагает действия. Все же твои действия последних месяцев были четко целенаправленны: ты делала все, чтобы разубедить меня в своей любви, и метко била в цель. Речь шла не только (!) о более частых письмах, но и об их содержании, носившем зачастую откровенно схоластический, отстраненный, если не сказать отчужденный, характер. Я уже говорил, причем многократно, о том, как нуждаюсь в твоей ласке и совсем не нуждаюсь в оправданиях по поводу того, что «нечего писать». Когда «нечего писать» – это значит, что нет желания писать. Оно, это желание, первично, а повод всегда находится. Когда есть желание, пишут ни о чем! Но пишут! Наконец, после всех письменных просьб и увещаний, я взмолился по телефону: «Я хочу, чтобы ты написала сегодня, потом в четверг и т.д. И что же я услышал от тебя? – «Нет!» Это доказательство «способности меня любить»? И вот что. То, о чем я пишу, не «упреки и подозрения», как ты сочла возможным для себя самоуспокоительно заключить, а конкретные и окончательные выводы, основывающиеся на вполне конкретных фактах. Письма были у меня в руках, и я их читал. Жаль, что эти самые «чуждые письма» (их было гораздо больше, чем возвращенных!) я уничтожил, так как заранее почел нужным сохранять только те, что потом будет приятно читать. А то теперь я послал бы



их тебе для прочтения. Чувство, которое испытываешь к другому человеку (знаю по себе), – очень чуткий и тонкий прибор, мгновенно реагирующий на состояние того, кого любишь. У тебя же я ни разу не почувствовал реакции на мое теперешнее состояние. Ты даже не догадалась о том, что и вообще-то на него нужно прореагировать. Была только ирония и высмеивание моих «подозрений» (как тебе было угодно выразиться). Твоя реакция, Лара, достоверный симптом отсутствия у тебя чувства ко мне или же полного инфантилизма этого чувства.

И эту инфантильную (если не намеренную) жестокость ты теперь пытаешься скрасить ласковыми словами. Просто изменилось твое внутреннее состояние, так как появилась возможность приехать. Но что было, то было, и я этого не забуду при самых благоприятных обстоятельствах.

То, что я написал тебе здесь, не предъявление обвинения. Это заключение научной экспертной комиссии, которое окончательно и обжалованию не подлежит.

13 03.74.

В последние дни был занят необычной для себя, но, надо признать, увлекательной работой, в чем открылся еще один мой «талант». Лена готовится к ответственнейшему концерту и, зная мой музыкальный уровень, пригласила меня руководить ею (вроде «режиссуры»). Ты знаешь, что Лена одаренная пианистка, но что-то у нее все время не складывалось. И вот я, припомнив свой богатейший опыт подготовки, стал «учить ее музыке» в буквальном смысле. Причем мне приходится не только выстраивать концепцию, но и обучать конкретным техническим приемам для оттачивания некоторых мест, а

то и просто для полного владения музыкальной тканью. Беда многих пианистов в том, что они «сердцем и умом чувствуют», но не умеют «научить свои руки» выразить на рояле. В преодолении этих трудностей я в свое время сильно поднаторел. Ведь это уже своего рода психомоторная гимнастика и сродни моей профессии. Тут на руку играет и Фрейд, и Станиславский, и многое другое. Интересно и неожиданно, что я могу чему-то научить профессионального музыканта. И то, что она меня слушается и признает правоту мою, приятно вдвойне. В том, разумеется, смысле, что это еще одно подтверждение, что я не просто по-настоящему, как хороший дилетант, разбираюсь в музыке, но что я действительно знаю многие ее профессиональные секреты, скрытые от всякого другого глаза. Собственно, в последние годы многие знакомые музыканты часто повторяли (раньше мне в этом отказывали), что «Юрка знает и понимает музыку, как очень немногие музыканты».

На днях сделал несколько фотопортретов – комических и один серьезный. Если получится прилично, на той неделе пришлю.

В общем, как видишь, я занят главным образом своей персоной.

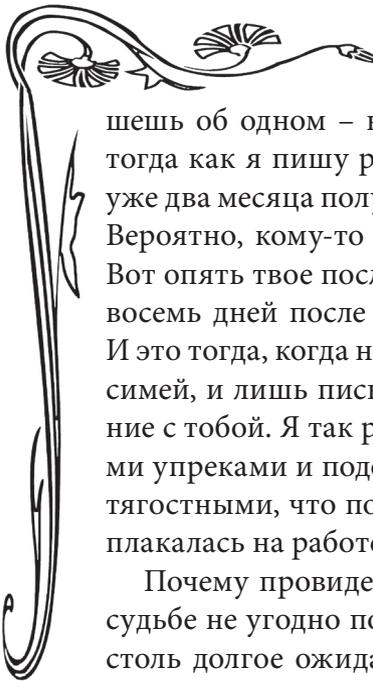
Вдруг исчезла из продажи цветная пленка, и мой «опыт» на том и приостановился.

P. S. Сегодня заработал первые «побочные» 15 рублей – была частная пациентка. Целую.

13.03.74.

Юра!

Вслед за тобой я начинаю подозревать, что твои письма ко мне приходят не все. Из письма в письмо ты пи-



шесть об одном – как редко я отвечаю на твои письма, тогда как я пишу раз в пять-шесть дней. Но от тебя вот уже два месяца получаю письма раз в неделю, а то и реже. Вероятно, кому-то любопытна наша с тобой переписка. Вот опять твое последнее письмо я получила лишь через восемь дней после предыдущего. Какая-то чертовщина! И это тогда, когда наша разлука становится все непереносимей, и лишь письма заменяют мне драгоценное общение с тобой. Я так расстроилась, получив письмо с новыми упреками и подозрениями, ставшими для меня столь тягостными, что по совершенно пустячному поводу расплакалась на работе и целый час не могла успокоиться.

Почему провидение так безжалостно к нам и почему судьбе не угодно послать случай, который прекратил бы столь долгое ожидание? Ведь видит Бог, как мы любим друг друга.

Я временами завидую тебе в том, что ты можешь как-то развлечься. Твоя одаренность спасает тебя. Я же теперь не знаю, есть ли у меня способности к чему-либо другому, кроме как любить. Эта страсть давно поглотила все другие. Теперь я отчетливо сознаю, что это единственное, что поддерживает мое существование и одновременно уничтожает все, что могло бы заменить эту любовь и что было бы ничем в сравнении с этим чувством.

Я вдруг почувствовала в себе перемену к твоей жене. Я поняла, как несправедлива была к ней без всяких причин. Она любит тебя. И уже только поэтому должна была быть мне понятна. И то, что она ложится с тобой в постель по вечерам и готовит утром завтрак, больше напоминает мне о моем существовании, чем если бы ты был один.

Теперь я жалею (но поздно!) о том, что даже не пыталась воспитать в себе хотя бы те качества, которыми она одарена без меры.

Целую. Очень жду твоих писем. Лара
Юрочка, любишь ли ты меня? Как? За что? Знаю, что любят не за что-то, а вопреки... Объясни, почему ты хочешь быть со мной? Я столько лет не слышала этого, а мне зачем-то это нужно. Хотя, может, это глупо. Может быть, я не понимаю своего несоответствия между мною и тем кругом, которому ты принадлежишь. И может быть, в этом несоответствии причина всего. Пиши чаще. Очень люблю. Целую. Лара

08.04.74.

Милая! Любимая!

Умоляю тебя взять мои письма и перечитать их. Прочти спокойно и только так, как они написаны, не пытаясь искать там никаких «скрытых тенденций». Я не предлагал тебе раскаяния, не предлагал возместить «нанесенный тобой ущерб». Я пытался (как оказалось, безуспешно) разъяснить тебе что-то, хотел в той или иной эмоциональной форме (признаю, что иногда это было резко) изменить ход вещей, но ни разу даже не намекнул, что ты в чем-то виновата передо мной и должна в связи с этим дать мне «удовлетворение». Я вообще-то никого не могу обвинять, а тебя тем более. И особенно, если считаю это не виной, а скорее – бедой твоей. И теперь мне искренне жаль тебя. Как все это ужасно! Мои письма кричали: «Мне больно! Я страдаю! Я умираю от тоски к тебе! Сделай что-нибудь! Найди ласковые слова! Во мне все леденеет!» Может быть, прямо этих слов не было, но смысл был один. А ты мне упорно вкладывала в руку камень, подозревая, что я провоцирую тебя на скандал. Ты помнишь «Снежную королеву»? Так не напоминаешь ли ты сама себе Кея? А я – Герду? Ведь я же не к жалости твоей

взываю, а к чувствам!!! А ты пишешь в ответ о своем уме и требуешь оценить твою сдержанность!

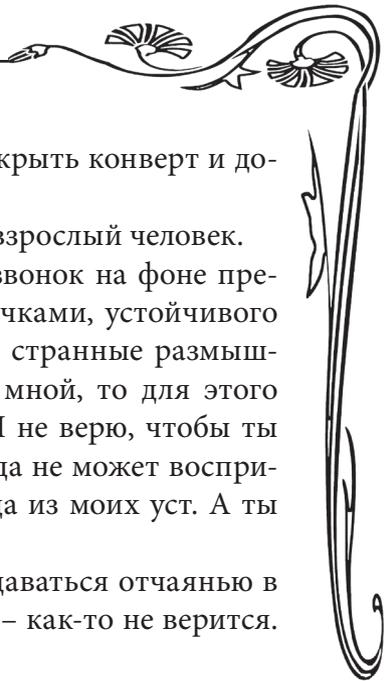
Целую. Люблю очень.

16.04.74.

Ты опять замолчала, и мне неизвестны причины твоего более чем недельного! (в который раз!) молчания.

Не помню, что я писал и писал ли (помню только, что хотел написать) о Ленкином концерте. Прошел он, на мой строгий вкус, очень хорошо. Особенно все было четко в смысле изложения, лепки формы и технически. Но у нее страдает качество звучания, особенно *piano* и *pianissimo* – то, чем в свое время так блистал я. Красивого *forte* у меня еще не было. Я много и долго над звуком работал, поэтому и употребил столь сильное и нескромное слово «блистал» – это далось титаническим трудом. У меня было 50 градаций *piano*, а *forte* я отработать так и не успел. У Лены же *piano* звучит резко, грубо для слуха, в общем, некрасиво, кроме того, бедно. Хорошо, что она это понимает. Качество звука дается особым прикосновением к инструменту и, в конечном счете, является свойством не столько слуха, сколько души музыканта. Есть счастливицы, которые красивым звуком одарены с рождения. Мне пришлось его вырабатывать большими усилиями и под собственным звуковым контролем. Лена говорит, что инструмент в моих руках и сейчас звучит прекрасно.

Сделал новую серию цветных снимков, на этот раз очень удачно. Художники, по-моему, довольны. Да и цветопередача лучше просто не бывает. Краски сочные, контрастные. Если что-нибудь останется (кой-какой брак – то пятно на пленке, то рука держащего картину), пришлю, чтобы ты посмотрела. Целую.



06.05.74.

Пришлось после твоего звонка вскрыть конверт и дописать.

Так вот: ты взрослый человек и я взрослый человек.

Твой истерический телефонный звонок на фоне предыдущего, хотя и с обоюдными стычками, устойчивого отношения друг к другу наводит на странные размышления. Если ты решила порвать со мной, то для этого должны быть серьезные причины. Я не верю, чтобы ты мои слова принимала за ложь. Правда не может восприниматься как ложь. Тем более правда из моих уст. А ты меня как будто знаешь.

Да, ты устала. Но из-за этого предаваться отчаянию в разумные двадцать пять (почти) лет – как-то не верится. Что-то тут не то.

И не верю я, чтобы любовь могла оборваться так внезапно. Или тогда это – не такая любовь, как я возомнил. А возомнил я, что это навсегда.

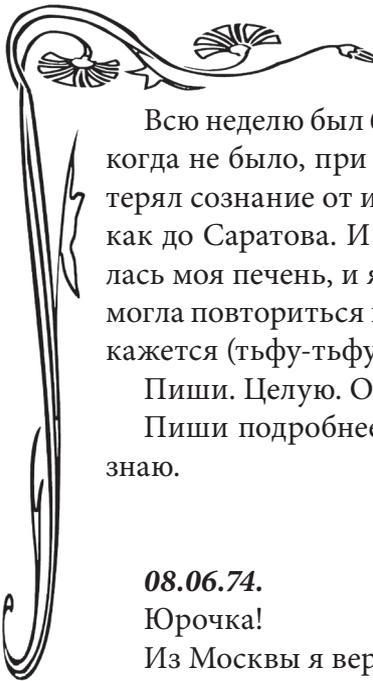
25.05.74.

Лара!

В Москве стоит ужасный май. Температура воздуха вот уже третью неделю 2–3 градуса, идут дожди, на улице тоскливо, дома не лучше.

Перечитал «Мастера и Маргариту» (в пятый или шестой раз). Наслаждался изумительной прозой. Теперь читаю Марселя Пруста и словно заново его для себя открываю. Вот кто был подлинный родоначальник экзистенциализма! В чистейшем виде! Но это неповторимо.

Посмотрел наконец «Жил певчий дрозд». Ох! Ах! Эх! Вот это да! Вышел сценарий. Он дает достаточно полное представление о фильме, хотя фильм намного выше.



Всю неделю был болен – тяжелейший грипп, такого никогда не было, при температуре 38 градусов я буквально терял сознание от интоксикации. Дойти до туалета было, как до Саратова. И что хуже всего, после этого увеличилась моя печень, и я не в своей тарелке. Так страшно, что могла повториться история, бывшая лет десять назад! Но, кажется (тьфу-тьфу!), обошлось.

Пиши. Целую. Очень люблю.

Пиши подробнее, уже почти месяц я ничего о тебе не знаю.

08.06.74.

Юрочка!

Из Москвы я вернулась успокоенная. Ты меня успокоил. Когда очень долго никто не понимает ничего в моей жизни, начинаешь чувствовать себя кошмарно, неуверенно во всем. Рождается и нарастает ощущение огромной непоправимой ошибки, какой является будто бы вся моя жизнь и ее частности. Конечно, я поехала в Москву затем, чтобы все восстановить. Меня поражает, что ты даже до мелочей можешь истолковать мои поступки и прощать их. Я успокоилась ровно на неделю. Сегодня один из заочников, которого почему-то считала несколько отличным от всей массы, спросил, замужем ли я. Ответила «нет». Он начал удивляться и подозревать, что я лгу. А если не замужем, то была. И этот разговор, наверное, один из тысячи на подобную тему, опять вывел меня из равновесия. Умом я понимаю, что ничего не смогу объяснить этим людям и поступить как-то иначе, но продолжаю подчиняться этому конформистскому угару, и опять просыпается ощущение грандиозного «не так». Настроение испортилось до того, что я не смогла дождаться следующей

лекции, захотелось уехать, сесть в свой угол и курить. Я пишу об этом потому, что изо дня в день нагнетается отчаяние. Ты прав, я не смогу подчиниться этой толпе, но мне не хватает чего-то, чтобы внутренне противостоять напору всеобщего удивления, взгляду на меня как на несостоявшегося человека. Когда ты был здесь, положение внешне не отличалось от настоящего, но все же было легче. Само твое присутствие внушало мне уверенность. Не полную, конечно, но все же большую.

Когда я села в самолет, пришло в голову словесное оформление того, что, может быть, совсем успокоило бы меня. Если бы ты пообещал, что, в конце концов, когда с Москвой ничего не получится, то есть не удастся соединить ее и меня, ты смог бы уехать оттуда. А сейчас в моем представлении ты настроен так, что именно Москва для тебя главное при любых условиях.

Кстати, о конформизме. Он становится поистине глобальным. То, что всегда стараются одеваться, думать, вести себя совершенно как все, уже не удивляет. Но вот какая вещь. Я в кафетериях заказываю двойной кофе без сахара и без молока. И неизменно вижу на лицах, слышу из уст удивление. Сегодня продавщица объявила меня алкоголичкой. Ты представляешь? Только на том основании, что она не пьет такого кофе.

До свидания. Целую. Жду писем.

13.06.74.

Ларочка!

Ты знаешь мой эмоциональный «заряд» и склонность к длительному последующему «пережевыванию» происходящих событий. Но я прошу тебя впредь не искать никакого подтекста в моих переживаниях и сомнениях,

которыми я делюсь с тобой, ибо носить в себе это невыносимо, а кому кроме тебя я могу рассказать о том, что внутри болит и ноет?

Если бы ты знала, какой для меня кошмар, когда ты из этого делаешь «свои выводы».

Лара! В нынешней ситуации, которая продолжается с прошлой осени, меня пугает твоя бессмысленная озлобленность, непонятная (не объясняемая обстоятельствами, а потому непонятная) истеричность, нетерпеливость.

Самое ужасное, что в этот твой приезд я уже не чувствовал, что ты меня любишь. Да ты и словесно выразила: «это не имеет значения».

Так вот: для меня это имеет значение, причем перво-степенное. Я не считаю, что на мне есть какие-то обязательства перетащить тебя сюда, чего бы это ни стоило. Я взялся это сделать только во имя нашей любви. И если ее не будет, все это бессмысленно. Хотя ради любви я готов был принести в жертву очень многое – полагаю, тебе не нужно объяснять, что именно. Пойми, Ларочка! После стольких лет сложившихся отношений, после твердого между нами уговора теперь ты посеяла во мне такое отчаянье, из которого я не вижу выхода, по крайней мере, до тех пор, пока не пройдет или пока я не услышу разумные слова, объясняющие твое поведение. Не думай, что если я понимаю тебя, я перестаю быть человеком с нормальными обычными чувствами и могу сквозь пальцы смотреть на твои выходки. Может быть, именно на меня они действуют особенно болезненно.

Я не вызываю тебя на скандал. Мне очень плохо. Я жду от тебя чего-нибудь, что действительно могло бы меня успокоить.

Целую. Люблю.

17.06.74.

Господи Боже!

Если бы ты только могла представить, как страшно, как безнадежно я люблю тебя!

Целую. Получил твое письмо.

14. 08. 74.

Моя милая, глупая!

Вчерашний разговор по телефону мог быть, с одной стороны, смешным. Если бы не мое неустойчивое состояние. Хотя таких острых эпизодов, как тогда в «Сокольниках», больше не повторялось, но в метро мне ездить крайне неприятно. Все время тянет прыгнуть с высоты, если я где-то на высоком этаже у раскрытого окна.

Твои сомнения во мне нелепы. А твой тон может только обострить мою нервозность.

Ты все воображаешь, видно, что «я витаю в облаках» и представления не имею о «реальной жизни» и о том, как тебе трудно. Да мне, черт возьми, не легче!

Я люблю тебя, и если ругаю, то ругаю любя. Это нужно понимать. Зато меня не оставляет страх, что ты с твоей душевной неустойчивостью опять что-нибудь выкинешь.

Я очень скучаю о тебе.

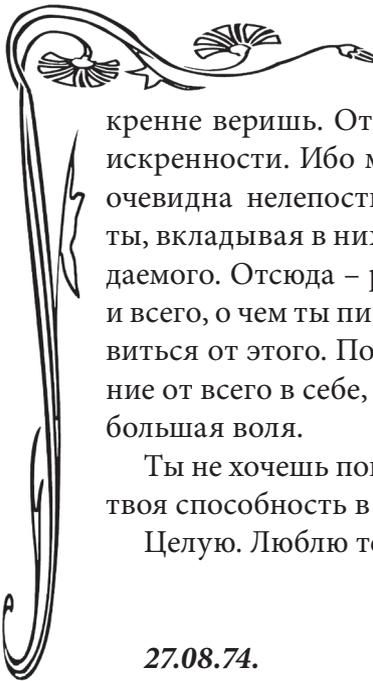
Целую.

Не веди себя так глупо. Это только нам обоим усложняет жизнь. И пиши, пожалуйста.

Очень люблю.

18.08.74.

Я иногда пыталась показать тебе, что твой оптимизм построен на ложных предпосылках, в которые ты ис-



кренне веришь. Отсюда все мои подозрения о твоей неискренности. Ибо мне, как человеку другой психопатии, очевидна нелепость твоих надежд, предположений. Но ты, вкладывая в них все эмоции веры, не получаешь ожидаемого. Отсюда – развитие нервозности, неуверенности и всего, о чем ты пишешь. Я не знаю, сможешь ли ты избавиться от этого. Потому что это почти означает избавление от всего в себе, и чтобы проделать это самому, нужна большая воля.

Ты не хочешь понять простой истины, что меня пугает твоя способность в тридцать семь лет быть «как дети».

Целую. Люблю тебя. Лара

27.08.74.

Должен сказать, что я даже для самого себя устроен более чем странно и неудобно. С одной стороны, для меня огромное значение имеет (в принятии решений, складывании мнения оценок и т.д.), в каком настроении я нахожусь в данный момент, с другой – состояние твоего духа и, наконец, «эффект отставленной реакции». Это во мне самое неприятное из всего. Ты, может, уже замечала это. После какого-нибудь твоего поступка или серии поступков спустя много времени вспомнив об этом, я могу дать соответствующую реакцию, которая внешне может и не выразиться, а тайно влиять на мой выбор. Я не могу избавиться от этого и не имею права скрывать: должна же ты лучше представлять, с кем имеешь дело...

Я, должно быть, ненормален, в чем сомневаюсь все меньше и меньше.

Теперь, когда перспектива твоего «броска» сюда радужнее, чем когда бы то ни было, мне вдруг, без видимых причин, начинает передаваться твой пессимизм на этот

счет, и в нелепой ситуации даже мелькает еще более нелепая мысль: ничего из этого не выйдет.

Я понимаю, что роднее тебя у меня никого нет, что ты единственный человек, с кем я могу почувствовать себя раскованно (необходимость постоянно вести – хотя бы для приличия – двойную жизнь весьма тягостно сказывается на мне), но в то же время: «ничего из этого не выйдет!!!» – бьет откуда-то из подсознания. Надеюсь, ты понимаешь, что это действует только на мое настроение и что решения я не переменяю?

Только ты можешь «вернуть меня на стезю» душевного равновесия, так как, по всем данным, игра выходит на последнюю прямую. Может быть, это и есть самый трудный участок пути. Целую. Люблю. Пиши.

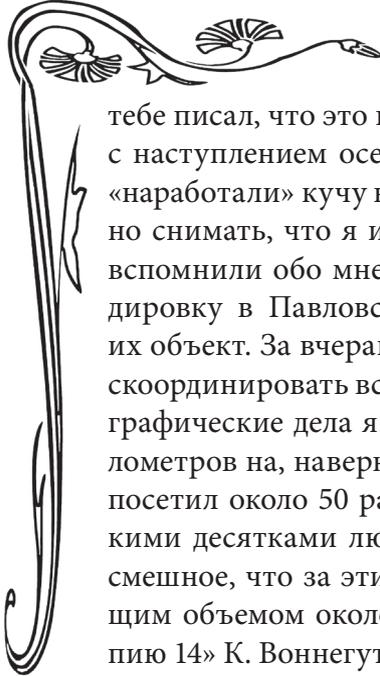
11. 09.74.

Лара!

Меня огорчил зауспокойный тон твоего письма. Разумеется, никаких «нареканий» с моей стороны быть не может, и напрасно ты раньше воспринимала мою реакцию как «нарекание». Все, чем я делюсь с тобой (все мое «нытье»), есть не что иное, как обычная интеллигентская рефлексия, не имеющая никакого отношения к конкретным действиям.

Мне сейчас лучше. Может быть, я обязан этим тому невероятному круговороту, в который попал в начале сентября. До восьмого работал на трех работах (все-таки я добился своего!).

В этом осточертевшем мне диспансере меня буквально умоляли остаться до восьмого мая, так как там полный штатный крах. Но со второго сентября я уже зачислен как консультант в еще одну больницу, месяца два назад



тебе писал, что это планируется. Кроме того, объявились с наступлением осени мои художники, которые за лето «наработали» кучу картин, и теперь все это надо экстренно снимать, что я и делаю. В «Вокруг света» тоже вдруг вспомнили обо мне и (опять-таки срочно!) дают командировку в Павловский Посад, где есть интересующий их объект. За вчерашний и сегодняшний день в попытке скоординировать все многочисленные врачебные и фотографические дела я проехал по Москве около 300 (!) километров на, наверное, десяти разных видах транспорта, посетил около 50 разных «точек», встретился с несколькими десятками людей, и все на одном «заводе». Самое смешное, что за эти же два дня я прочел три книги, общим объемом около 600 страниц. Из них выделю «Утопию 14» К. Воннегута, которую раньше не читал. Большущий мастер! Уже пять дней сплю без снотворного.

Прошу тебя, не унывай и не вгоняй меня в новый невроз. Я считаю, что все идет нормально.

Целую. Очень люблю.

Твой Юра

P. S. Наснимал кучу (!) цветных пейзажей. Жалею, что не могу тебе их послать сейчас. Просматриваю их через проектор и сам балдею от цвета и композиций. Все говорят, что я «поэт» фотографии. Чудно!

12.11.74.

Не знаю, понял ли ты меня в прошлом письме? Я хотела сказать, что на прежнем уровне продолжение наших отношений невозможно и в этом никто не виноват. Я больше не имею ни сил, ни желания принимать все необходимые, на твой взгляд, условия. Ты же не в силах выдержать мою реакцию на эти условия.

Ты прав в том, что можно ждать и пять, и десять лет. Но для этого необходимы условия: слепая вера, не требующая и не побуждающая к анализу, или ситуация, которая выдерживает любую критику, или, наконец, сознательная установка.

Мне казалось, что ты меня не любишь, если я до сих пор не стала твоей женой. А мне ведь только это и нужно было. Самую малость. Ну разве я хотела невозможного?

Я верю, что ты по-своему любил меня, когда был здесь. Когда же ты уехал, я все меньше и меньше стала занимать тебя. И не последнюю роль в этом сыграло, пусть лишь подсознательно, что возможность быть вместе утеряна навсегда. Конечно, абстрактная существует. Но если объединить все обстоятельства, все причины (твой характер и прочее), то становится ясной невозможность изменить что-либо к лучшему.

С моей стороны было бы предательством, конечно, оставить тебя, не имея надежды на лучший исход, если бы я слепо верила в твою непогрешимость. Однако я считала и раньше считала, что ты должен был отказаться от всего, чего бы тебе это ни стоило, если бы ты любил меня, и остаться со мной. Ведь нигде же не записано, что роль жертвы должна была сыграть я, а не ты. Но произошло так, к моему сожалению.

Я старалась быть исчерпывающе откровенной, и письмо получилось чрезвычайно резким.

Ты можешь быть уверен в том, что я ни в чем не обвиняю тебя сейчас. Я не думаю о тебе плохо. Вспоминаю о голубом периоде нашей связи. Без злобы. Можешь быть в этом уверенным. Даже напротив. Тем более, что сердце мое все еще свободно.

Всего хорошего. Лара



Вселенная



Из дневников и записных книжек

06.05.73.

Если бы можно было освободить все дымные свивающиеся клубки, все грандиозные напластования, бродящие в раскаленной бездне души, и выплеснуть их словами наружу, – не только бумага, но и любой металл горел бы от начертанных на нем речений: Господи! Благослови меня! Благослови и прости! Я человек и сын человека!

08.10.73.

«Вы приписываете себе знание моих клапанов. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее чудный тон, и, тем не менее, вы не можете заставить ее говорить. Что же вы думаете, что со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно инструментом,

вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя».
Шекспир

17.02.76.

О бесправии психических больных.

20.02.76.

Эгоистические мотивы поведения проистекают в основном от двух причин: от сытости и от голода, разумеется, в самом расширительном толковании. Сытость влечет за собой равнодушие, голод – кровожадность. Поэтому легче всего поддерживать народ в полуголодном состоянии. И видимость прогресса сохраняется, и революцией не пахнет: российский народ воспитан рабски и доволен малым.

21.02.76.

Несколько дней обдумываю, каким должен быть фильм, как избежать трафаретов, как сделать работу, в которой оригинальность идет изнутри, она не есть самоцель, а лишь средство; как сделать фильм, который по звучанию был бы подобен взрыву в мировой кинематографии, какой материал взять, какую форму?

Фильм должен быть жестким, как канадский хоккей, нежным, как поэзия раннего Блока, мудрым, как музыка Баха, ироничным, как литература Михаила Евграфовича, по композиции стройным, как эллинские богини, по напряженности действия, как детективы Сименона. И каждую из этих ипостасей надобно рассчитать с машинной точностью.

Каким материалом нужно наполнить сценарий? Прежде всего, вечными человеческими инстинктами: к жизни, к любви, даже к еде. Развить идею вечного состояния конфликта между этими инстинктами и реальностью, причем с самыми уродливыми ее формами, самыми уничительными проявлениями – нищенство, голод, разврат; стремление к свободе духа и невозможность реализоваться из-за элементарного отсутствия денег и рабского положения перед властью и хлебом имущими. Материал должен быть взят из сегодняшнего дня советской Москвы и «прочесать» все слои общества, от ультраинтеллигентов до боссыков. Представители власти, сама власть – закадровые, но немаловажные участники действия. Однако материал не должен оставить впечатления, что речь идет только о сегодняшнем дне: вот где уместна баховская мудрость и щедринская ирония! Материал должен подаваться как результат насильственной попытки переустройства общества, как результат «обыкновенного фашизма». И говорить о том, что не просто одна такая попытка не удалась, но что любая попытка (какую революцию в истории ни возьми, каждая оборачивалась трагедией) закончится так же, или, скорее, еще хуже и что на то – перст Божий.

Самые святые, самые человеческие из всех возможных желаний ущемлены, унижены, попораны.

Этот фильм должен стать прелюдией к серии фильмов об истории человека на Земле: его происхождении, философии его земного существования и вечном стремлении вернуться туда, откуда пришел, откуда возник. Отсюда: у гомо фабер – стремление к созданию летательных аппаратов, у гомо сапиенс – стремление к самопостижению, к постижению своего микрокосмоса и через него – начала всего сущего. А потому красная нить всей серии – любовь, жизнь, смерть. Война, движение.

26.02.76.

В том, какую внешность пытается себе придать человек, сказывается то, кем он хочет себя видеть.

01.01.76.

Похоже на страшный сон: преподавателей мединститута проверяют на опьянение. Реакция Раппопорта проводится до и после занятий, то есть трезвым ли преподаватель явился на занятие, и если да, то трезвым ли он с занятия уходит – не выпил ли со студентами (штрих к фантастическому роману).

11.03.76.

Приводил в божеский вид брошенный в 1968 году роман («Полгода»). Пришлось сделать экстракт, получилась мало-мальски удобоваримая новелла, все ужасно сыро. Идея, кажется, грандиозная, но выполнение убогое. За деревьями не видно леса. Хотя образ леса и вообще природы в новелле должны нести нагрузку немалую. В природе – истина, вера, Бог, сущность человека. Момент отторжения чужой нравственности (герой совершает поступок, который повергает его самого в ужас, настолько этот поступок черен и «гадок» в свете прежних представлений). Он испытывает боль унижения. Но этот поступок дает ему новый свет: все от Бога, а что от людей, то и ложь. И он понимает, что лес, в который он вошел слепцом, дал ему новое зрение: дал свет и веру. Но не слепую веру, а веру, наполненную постижением: его поступок не от сатаны. Бог заставил его согрешить, чтобы сделать зрячим... И открывается человеку: его Вчера будет его Завтра. И во веки веков. Но не то Вчера, что ослепляло

его людской моралью, но что озарило духовным светом Высшей Силы. Бог заставил его согрешить, дабы не возомнил смертный о своей безгрешности, но свято чтит то, что дано ему в меру его сил.

« Вот о чем я думал, вступая в Лабиринт, и мысли, что я должен переступить через свои убеждения и помыслы, были мучительны, невыносимы, и во мне столкнулись в смертельной схватке привычное благородство и непонятное, смутное, властное и чем-то уже неотвратимое влечение к этой женщине. Мысль, что тебя, моего самого дорогого и любимого, я должен предать, приводила меня в бешенство.

Но Закон Отбора был беспощаден и глух. Раскаленная трясина застыла где-то совсем рядом, и я стоял, бессильный перед ней, как перед сменой дня и ночи.

Ведь я же просто человек, говорил я себе. Я живу среди людей, равных мне, и все присущее им и мне присуще.

В безумном порыве, гоня от себя предчувствие неизбежности, я придумал первое показавшееся: в этой женщине что-то дьявольское, страшное, недаром она так тебя приворожила, и я во что бы то ни стало должен показать ей, что шуточки с любовью даром не проходят. Я решил собрать все свои силы и дать ей бой».

Прозрение от слепоты героя «Солнца» наступит как развязка при повторении лейтмотива «Солнце коснулось...». Сначала ему представляется, что солнце – это грешная любовь, снизошедшая на него. Но Дух Святой выводит слепца из Лабиринта, и тогда его глаз действительно касается солнца. Как смутен сначала в герое этот Дух, как блуждает он впотьмах. Как за движение Духа принимает предошущение любви.

Впервые по действию это появляется в первом телефонном диалоге: он рассказывает о своем предошущении.

Потом, во время «падения», Дух является все яснее, и оттого меркнет – нет, не меркнет, а становится ненавистным ее облик: Солнце, которое из Вчера (начало Царствия Божьего) приходит в Завтра (отход к Пославленному Духу). Хотя грешная любовь уходит не сразу.

Даты нет.

Любовь и Вера – не только чувства, но и поступки; и размер их, глубина и ширь – только оттого, насколько велик сам человек; чем больше слеп он земной моралью, тем мельче любовь; чем ближе к Началу своему, тем любовь величественнее. Ибо: «откуда пришел, туда и вернешься» (Иоанн).

09.04.76.

Вызовы в отделения бывают иногда анекдотическими. Вчера, например, вызвали к больной, которая перепутала этажи своего отделения. А так как на всех этажах помещения расположены до одурения стереотипно, то она зашла в аналогичную палату этажом выше, где лежали мужчины. Отупев от неожиданности, она всплеснула руками:

– Господи! Всего пятнадцать минут ходила, а уже мужиков положили.

Те ее, конечно, матом.

– Да вы что, ребята, я только свою баночку возьму!

И лечащий врач решил вызвать к ней психиатра!

13.01.77.

Тут необходима та изумительная всеохватность взгляда, которая от природы свойственна многим большим

философам, музыкантам, поэтам. Эта всеохватность служит нам приглашением в страну Гармонию, другое имя которой – реальность.

Но как просто согласиться, что жена, дети, работа – мишура, вода, текущая между пальцами.

Алкая любви, признания (то есть комфорта), мы схватываем пальцами предмет – он тает и исчезает. «И так до тех пор, – говорит Вивекиавенди, – пока в той же погоне наш Дух не приходит к единственной и совершенной Любви – к Богу. Но этот путь долог: колесо рождения и смерти. Индусская наука обнаружила его на несколько тысячелетий раньше, чем наши психофизиологи заговорили о пресловутой «памяти предков». Даже оружие Фрейда оказалось кустарным, хотя временами очень полезным инструментом для проникновения в лабиринт Духа.

19.03.77.

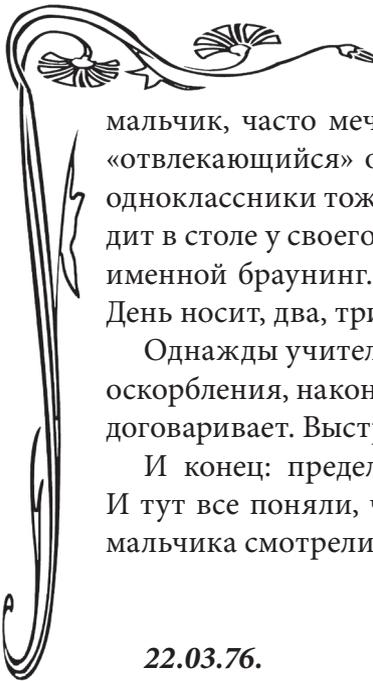
– Но отчего ты любишь меня? Как будто кто-то заставляет. Зачем?

– Нежность. Сентиментальная нежность к той, давно ушедшей юности, далекой, заставленной кариатидами памяти.

Даты нет.

Рассказ «Стенд а...»

Сюжет. Тривиальная ситуация в четвертом классе школы. Учитель-самодур, издевающийся над учениками, только что не бьет палками. Манеры психопата. Одна из причуд: вместо «встать» орет детям «стенд ап!» Объект наибольших издевательств – щуплый интеллигентный



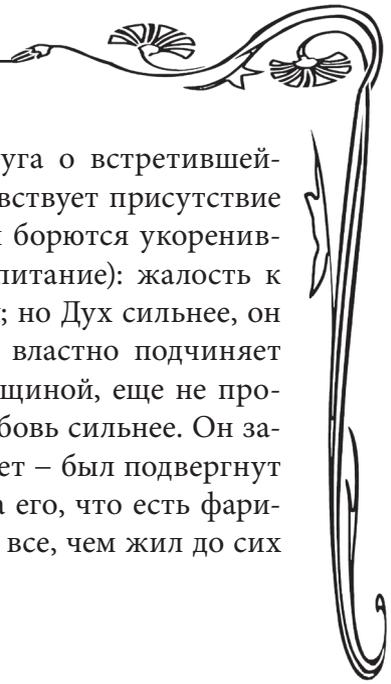
мальчик, часто мечтательно смотрящий в окно, то есть «отвлекающийся» от происходящего на уроке. Впрочем, одноклассники тоже над ним издеваются. Мальчик находит в столе у своего давно умершего деда-революционера именной браунинг. Зачем-то приносит с собой в школу. День носит, два, три...

Однажды учитель снова за что-то придрался, орет ему оскорбления, наконец, свое знаменитое «стенд а...», но не договаривает. Выстрел, учитель падает.

И конец: предельно просто, буднично, например: «И тут все поняли, что сказка кончилась. И только глаза мальчика смотрели по-прежнему пусто и одиноко».

22.03.76.

В плане дискуссии о литературе. Для меня литература всегда на уровне фактологии. В конце концов, обобщение, выводы – следующий элемент, который является почти целиком заслугой читателя. И когда мне говорят, что литература – прежде всего слово, во мне все против этого восстает. Мне тесно в такой литературе, мне не хватает слова, мне нужен синтез, пусть и выраженный через речевую ткань. Только так! Дабы слово стало плотью! Пусть называют это как угодно, пусть считают, что это не «литература» – тем лучше. И все же это искусство. Время и талант должны показать, имеют ли они право на существование, и если да, то на какое. А возможно, что и более высокое, чем так называемая литература, ибо в этом синтезе я чувствую прямое продвижение к заветной цели – возврату туда, «откуда исшел». И все, что на благо этой цели, свято.



23.05.76.

Схема «Солнца». Из рассказа друга о встретившейся тому женщине герой узнает и чувствует присутствие Духа, когда-то ему знакомого. В нем борются укоренившиеся фарисейские привычки (воспитание): жалость к другу, преданность и любовь к нему; но Дух сильнее, он на протяжении действия все более властно подчиняет себе героя. Герой встречается с женщиной, еще не прозрев и потому думая, что земная любовь сильнее. Он завладевает женщиной и тут прозревает – был подвергнут искушению, чтоб дошло до рассудка его, что есть фарисейство и истинный Дух. И познает: все, чем жил до сих пор, есть прах и плесень.

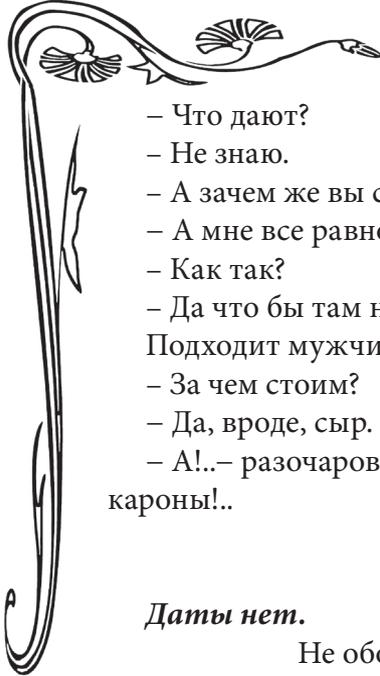
Даты нет.

Гениальная работа Зигмунда Фрейда «Я и Оно» сбросила с очей человечества первые шоры, скрывающие бездну, кроющуюся в нашем подсознании. А ведь столько намеков и прямых свидетельств во всей истории рода двуногих! Даже не очень внимательное чтение Ветхого и Нового Завета! А иконы святых! Вспомним: вокруг головы каждого – ореол, аура! Поднесите ладонь к своему лицу, не дотрагиваясь. Вы ощутите тепло. В 1937 году советские инженеры, супруги Кирлиан открыли способ фотографирования этой ауры. Существуют снимки и даже цветная видеопленка, на которой видны голубые «нити, текущие из пальцев».

06. 09. 89.

Сегодня. Химки.

Очередь. Подходит женщина:

- 
- Что дают?
 - Не знаю.
 - А зачем же вы стоите?
 - А мне все равно.
 - Как так?
 - Да что бы там ни давали, все нужно. Нет ничего.
- Подходит мужчина.
- За чем стоим?
 - Да, вроде, сыр.
 - А!.. – разочарованный взмах рукой. – Я-то думал, макароны!..

Даты нет.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным –
Мне безразлично, на каком,
Непонимаемой быть встречным.

М. Цветаева

А Влад Заманский когда-то рассыпался мне в благодарности, что я ему «открыл» Цветаеву декламацией ее стихов Я очень подчеркивал при прочтении четкость поразительной стихотворно-музыкальной ритмики. И это при том, что сам он чтец изумительный, с абсолютным вкусом. Последнее, в моем понимании, всегда и бесспорно важнее всего.

07.09. 89.

В одно из воскресений бабьего лета 1959 года, выйдя вдвоем с братом из фотомагазина (на углу улиц Радищева и Ленина) в Саратове, мы свернули вниз к Волге, в сторону давно выросшего в Приютскую (ныне Комсомольскую)

улицу бывшего дома графа Нессельроде --дома, в одной из двухэтажных построек которого мы оба родились и выросли. Говаривали: та пристройка, где наша семья занимала верхний этаж, а семья деда Николая – нижний, принадлежала дворецкому графа.

Итак, мы направились в сторону дома. Проходя мимо двери соседнего с фотомагазином продмага, известного всему городу под названием «Пассаж», мы вспомнили, что мама просила купить сыр. Исторический анахронизм (точнее, трагикомизм) этого названия как нельзя лучше подходил к старинному, обветшавшему, облезлому кирпичному зданию, где в незапамятные времена стояли веселые, суетливо кишачие муравейники торговых рядов. Впрочем, сняв очки и перейдя на противоположную сторону, к Суворовскому училищу, близорукому человеку с развитым воображением можно было достаточно отчетливо представить контуры строения, имевшего некогда совершенно индивидуальную архитектурную физиономию.

Скуден язык мой, и знания архитектуры дилетантские для описания, в чем именно индивидуальность этого здания, и рассказ не о том. От двери до двери двух магазинов нужно было пройти шагов двадцать-тридцать, но и сейчас, спустя тридцать лет, стоит перед глазами этот кусочек прозрачного осеннего дня; носящиеся в воздухе, пронизанном косыми матовыми лучами остывающего к зиме солнца, возможные только здесь, в этом волжском городе, густые ароматы преющей листвы, нефтяной паровой сырости – вперемешку с кисло-сладкой смесью запахов помидоров и яблок, переспевающих в штабелях ящичков на пыльном асфальте; и тут же рядом горы арбузов и дынь, среди которых полтора-два десятка расколоты.

О саратовской осени, буйстве красок и запахов осеннего средневожского рынка надо писать отдельную прозаическую поэму.

19.09.89.

По крайней мере последние полгода меня неотступно одолевает идея цикла очерков о нашем сумасшедшем обществе. Сложился рабочий вариант названия: «Коммунизм как психоз» и дешифрирующий подзаголовок: «Отставленный эффект 1917 года» Есть в этом цикле размышления о всеобщем безумии, о пляске мертвецов, о чумном пиршестве, об алкоголизме, рэжете и наследственном слабоумии молодежи, есть баллады о бесплатной медицине и скорой помощи.

Даты нет.

Свистит сквозь десятилетия злой холодный ветер финала Бемольной сонаты Шопена, поют мои юнии, напевают и настукивают...

Бежит неумолчно жизнь.

Даты нет.

Жизнь – это не способ существования, не правило достигать или терять. Это не радость или горе. Даже не здоровье или болезнь. Это – мировоззрение. Ибо чем больше знаний, тем меньше веры. Но поистине велик тот, кто, приобретя знания многие, умножит веру свою.

24.10.89.

Как страшна и бесповоротна русская земля! Как невероятна жизнь в постоянной нищете! Объяснимся: нищета – не та, когда стоят с протянутой рукой. Голод – не тот, когда пухнут от дистрофии. Жизнь в постоянной недостаточности, когда не хватает кислорода, от чего мысль засыхает, не долетев до берега, когда не хватает дыхания от смрадного выхлопа всего, что вокруг, да и от тебя самого.

Нехватка и недостаточность пронизывают весь строй души человека страны Советов.

24.10.89.

08. Метро. По дороге «туда».

Мне сейчас (может, и не сейчас, а гораздо раньше, и только теперь четко назвалось) пришло в голову, что доминирующий психический генопортрет во мне от мамы. У Сергея больше от отца. Во мне мамина шляхетская нестигаемость, бескомпромиссность, хоть и не 100%-ная. Высокого, в собственном смысле, аристократизма не хватает. Отец, а вслед за ним и Сергей, мягче, уступчивее. Оттого и умер рано папа, что уступал трудным поворотам, а уступая, не имел, вероятно, философско-иронического осмысления. При остром юморе такая серьезность своих устремлений. Ту же копию наследует Сергей. Но эта хуже. Так отдать себя воле жены, отказаться от подлинно своего, так уверовать, что ее разум лучше!

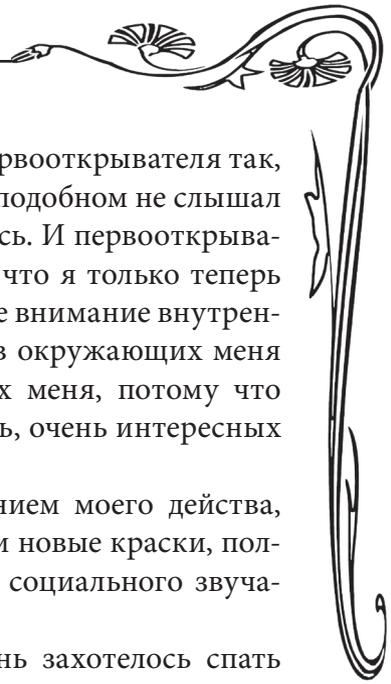
Есть такое слово: ассимиляция. Весь ее бездонный трагизм, и с самой его неожиданной стороны, мне открыла Фрида, когда виделся с ней 11.10.89, приезжала на три дня. Всегда я держался убеждения, что в семье бабушки и бабушки, а стало быть, в нашей семье, никогда не звучала

еврейская тема, потому что они выходцы из Риги, а дореволюционная Прибалтика – это Европа, и сами они люди вроде как вненациональные. Подтверждалось это и тем, что Бено (Бернгард Штерн) всю жизнь занимался изучением России, путешествовал по ней, написал много книг. Оказывается, все не так. Фрида рассказала, что именно в Прибалтике был сильно выражен еврейский национализм, свято блюлись традиции, из поколения в поколение это чтилось и уважалось, равно евреями и латышами. И только попав в 1901 году в Россию, в Саратов, связав с ней свою жизнь и жизнь своих потомков, то есть всех нас, дедушка и бабушка почему-то стали исповедовать идеи вживания в страну, пропитывались сами и пропитывали детей своей русской атмосферой, русской культурой, русским языком. И это не могло не сказаться на мировоззрении их самих, дяди, отца. Моя полупольская панночка, полунеизвестная кто мама, видимо, это поддерживала. И вот, вероятно, откуда неуместная папина гибкость, еще более неуместная личная несостоятельность Сергея и Бори. У меня же, как я считал всегда и считаю до сих пор, вовсе характер несколько не еврейский. А упрямство и негибкость – польские, пшецкие, как сказал бы Ланский... Может, что-то еврейское и очень сильное все же дремлет во мне?

Ассимиляция. Страх какой!

Даты нет.

Человеку в его земном облике не может принадлежать ничто. Все нам дано на время. Если это знать заранее, не так уж сложно избавиться от чувства собственности.



29.11.89.

Пишу с очевидной наивностью первооткрывателя так, как будто никогда в жизни ни о чем подобном не слышал и не подозревал, и сам себе удивляюсь. И первооткрывательство мое исключительно в том, что я только теперь отвел взгляд от поглотившего все мое внимание внутреннего действия и начал вглядываться в окружающих меня людей, несколько не интересующих меня, потому что они неинтересные. И как выяснилось, очень интересных своей неинтересностью.

Высвеченные и пронзенные сиянием моего действия, они, сами того не подозревая, обрели новые краски, полные психологической значимости и социального звучания.

Запись пришлось прервать. Очень захотелось спать (пишу на дежурстве).

Воспоминание.

В тот майский день, когда я приехал на «скорую» не в свою смену на подработку за ушедшего в отпуск Казначеева, прежде всего я, как обычно, спустился в подвал. В закутке, где находятся все наши личные шкафы для одежды и спальные принадлежности, сидели три фельдшерницы. На столе закуска: хлеб и колбаса на клочке газеты.

Середина дня. «Скорая помощь». Подвал. Рядовое дежурство. Три женщины. Клочок газеты. Грязь. Бутылка водки, наполовину опорожненная. Дежурство. Фельдшера. Подвал. Закуска. Все трое уже заведены.

30.11.89.

Сегодня я дежурю за заболевшего Сашу Капустина. Вышло так, что из трех психиатров остался я один. Каз-

начеев где-то учится на врача. У Кащеева гипертонический криз, и получается четыре дня подряд. Вчера работал за Казначеева шестнадцать часов, сегодня за Капустина – двенадцать. Завтра моя смена – сутки. Пусть думают, что я гонюсь за деньгами. А мне хочется понаблюдать за моими героями.

10.12.89.

Воспоминание.

Едем 60. Едем. Ползем.

– Виктор Алексеевич! Гони! Нет сил. Там беда! Можем не успеть! Давай, Виктор Алексеевич! – я все-таки не выдержал.

Виктор Алексеевич прибавляет газу. Машина мчится. Машина летит. Вот что Виктор Алексеевич делает с блеском. Умеет грамотно нарушать.

Душно. Жаркий майский вечер. Косое красноватое солнце на ветвях деревьев, на тротуаре. В кабине пышет от нагретого капота, хотя он покрыт толстой накидкой.

Жаркий вечер. Приедем мы когда-нибудь?

Мой фельдшер Андрей, такой всегда разговорчивый, словоохотливый, с вечными хохмами и анекдотами, с подробным пересказом какого-нибудь Михаила Задорнова (завидую его фотографической памяти) – Андрей сидит тихо и напряженно. Жадно дымит сигаретой. Пых... Пых...

С Андреем мне повезло. Врожденно интеллигентен. Сдержан, щепетилен, сметлив. Скрупулезен. Аккуратен в работе. Нравится женщинам своим негромким открытым обаянием. Не фельдшерское мышление. Понимает клинику. Самоучкой освоил ЭКГ и чтение кривых. О своих достоинствах никогда не говорит. Видя чей-то

промах, никогда не подчеркнет, что понял. Из себя выходит крайне редко. Но уж выйдя из себя, кипит настоящим гневом.

Даты нет.

По малейшим оттенкам подсознания (это как вид с птичьего полета) можно прогнозировать любую удачу или неудачу в жизни, счастливую или несчастливую панораму обстоятельств.

Недавно одна женщина обратилась ко мне, просила совета как преодолеть полосу неудач в бизнесе. Я ей, не осматривая: «Сначала избавиться от камней желчного пузыря, гастрита и воспаления поджелудочной железы. Перестать глотать лекарства и снотворное. Поголодать. Изменить питание. Наконец порвать с надоевшим мужчиной». Женщина изменилась в лице: мы виделись впервые (я и фамилии-то ее не знал). Сбежала, сказав, что «я слишком много знаю». Жаль! Я мог бы ее многому научить. Я через все прошел. Лично.

15.12.89.

В магазине.

Нет продавца в секции кооперативных колбас. Утро. Идет 26-я минута с момента открытия. Подхожу. У прилавка терпеливо стоит пожилой человек.

- Что, отошла наша девушка?
- Отошла? – переспрашивает он. – Да нет. Она еще не приходила.
- Давно стоите?
- Давно.
- Обращаюсь к продавщице соседнего отдела.

– Скажите, где девушка из этого отдела?

Молчание.

– Извините, я к вам обращаюсь. Где девушка из этого отдела?

– Я за прилавком стою.

– Я это вижу, но, может быть, вы ответите на вопрос. Я спешу. Я на работе.

– Да что вы меня с утра дегустируете?

– Что-что? – я даже чуть не подпрыгиваю, – вы понимаете значение слова «дегустировать?»

– Понимаю.

– И что же оно означает?

И уже на истерическом визге:

– Да что вы меня дегустируете?!!

04.08.2000.

4. 20 утра.

Итак, в этом «действе» несколько возможных, в данном случае сугубо индивидуально трактуемых тем.

Так ли, что все, что не от Бога, то от нечистого? Если да (так, по крайней мере, учит нас церковь), то правильно ли, что все происходящее с нами так уж однозначно сформировано по законам Природы? И правильно ли, что все случившееся в нашей жизни здесь, сейчас, на этой земле мы объясняем только обстоятельствами? Или подчиняемся мнению окружающих нас людей? Как же, так делают все. Так надо. А почему надо т а к?

Смотри: ты расстаешься с любимым (любимой), так как нет возможности изменить не зависящие от вас обоих условий (например, у него или у нее семья, которую нельзя бросить, или нет материальной возможности). Но действительно ли это мотив расставания?

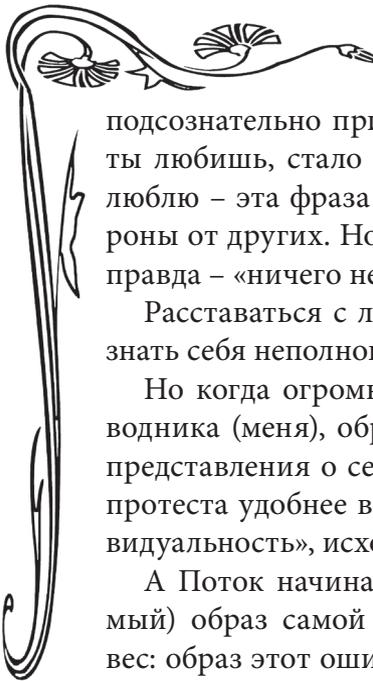
А может быть, это Господь Бог, соединив вас на время, дал вам обоим испытание? Сможете ли вы сохранить любовь (а что любовь от Господа, никто возражать не станет, если он не полный дурак и слепец).

Далее: подлинный мотив расставания – ослабление или исчезновение того, что вы оба принимали за любовь. Хотя правда лишь в том, что было взаимное притяжение на основе страсти. И нет ли у тебя ощущения, что он (она) просто не дотягивает до тебя?

Так или иначе, обоюдное ощущение в числе прочих жизненных линий, прямого отношения к этой любви не имеющих, сформировали в тебе образ себя самой (самого), и ты вроде бы знаешь, кто ты и что ты можешь и хочешь, а что – нет. А он знает? Что ему нужно?

Но будь внимательнее: многие твои представления о себе – не от тебя. Они (представления) невольно сформированы окружающими, тем, что в их (окружающих) понимании хорошо, а что плохо, и как надо, а как – не надо, что «приличествует», а что – нет. Но разве Бог создал твою биологическую и духовную индивидуальность наподобие ксерокопии с других? Разве Господь Бог не дал тебе волю и свободу ума различать – откуда что? Почему же ты не пользуешься этой способностью? Разве не величайший грех считать (впрочем, искренне), что семья без любви лучше, чем любовь без семьи? Разве не от ходячих штампов исходит, что нужнее, надежнее, приличнее иметь семью, чем не иметь? И если у человека нет семьи, то он вроде бы неполноценен. Пример: у Баха была семья и шестеро детей, а Бетховен всю жизнь прожил холостяком. Есть, впрочем, миллионы примеров менее значительных. И что? Все эти бессемейные неполноценны?

И вот теперь: трах-тибидах! В сформированном тобою собственном образе (ты оказалась способной на это) ты



подсознательно приближала себя к Богу. Ты наполнена, ты любишь, стало быть, полноценна. Я все еще его (ее) люблю – эта фраза работает как попытка круговой обороны от других. Но прежде всего от себя. Изнутри лезет правда – «ничего нет»!

Расставаться с любовью – так или иначе значит признать себя неполноценной. Это больно и трудно.

Но когда огромный Поток, пролившийся через проводника (меня), обрушивается на тебя, разоблачая твои представления о себе, возникает протест. Мотивы этого протеста удобнее всего объяснить вторжением в «индивидуальность», исходящим от проводника.

А Поток начинает разрушать прежний (такой любимый) образ самой (самого) себя и приоткрывает занавес: образ этот ошибочен. А смириться с такой ошибкой ох как непросто, любовь (или страсть, принимаемая за любовь) возвышает тебя в собственных глазах, а Поток «раздевает» тебя. И твой протест – это не протест тебя, созданной Богом, а протест образа представления о себе, в значительной мере слепленного ходячими штампами, что хорошо и что плохо, а в действительности – только то, что удобно, а что нет, как мягкое или твердое.

Даты нет.

Без свободы ничто не имеет цены.

12.02.01.

Учили ли нас истине? Учили ли непосредственности? И поскольку непосредственность составляет прямой антагонизм любым амбициям, выясняется: выпячивать свою личность, свои врожденные или нажитые, истин-

ные или мнимые достоинства (с кавычками и без оных), оставаясь непосредственным, невозможно. Какое там! Будь волевым! Добивайся своего! Кто был ничем, тот станет всем! Добро должно быть с кулаками! Очевидность такого добра бесспорна, как бесспорна его безнравственность.

И отважмся, наконец, на детективное путешествие в самого себя. Зададим себе первый вопрос: такая ли уж, в самом деле, это правда, что логика лучший инструмент в оценке позиции, фразеологии, композиции, впечатлений? Как с этим инструментом подойти к «Джоконде»? К «Метаморфозе» Кафки? «Доктору Живаго»? Кинотрилогии Кшиштофа Кисловского? Сколько же мы обнаружим там логических нестыковок!

Даты нет.

Великий наш А. С. Пушкин заметил как-то, что есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения. Что ж! Вполне определено! Конечно, наша медицина столь славна, что современного врача вряд ли можно заподозрить в недостатке чувств и мыслей. По этому поводу напрашивается другая цитата. Антон Рубинштейн, великий пианист (и посредственный композитор), сказал после концерта очередного виртуоза: «Все теперь научились хорошо играть на рояле!» То есть играть чисто и правильно, быстро и четко, написанное в нотах. Он тем самым хотел сказать, что почти никто не умеет играть музыку.

То же самое и у нас. У врачей. Теперь все научились хорошо лечить. Все знают современные препараты, все

овладели сложнейшими методиками исследований, все мыслят болезнь, чуть ли не на молекулярном уровне. Но почти никто не вникает в душу больного.

03.07.01.

В столичной клинике я испытал буквально шок от узкой специализации врачей. Эта самая узкая специализация, на мой взгляд, противопоказана медицине. Она растаскивает человека на составные части, как некий механизм, в то время как человек – существо живое. Ни сердце, ни почки, ни легкие сами по себе вдруг не заболят. Это цепная реакция от одного больного органа к другому. Именно поэтому лечить каждый отдельный орган нерационально. Нужно искать причину. А это современная медицина делать разучилась. Может быть, поэтому люди стали меньше верить врачам.

Я глубоко убежден, что человеку может помочь только комплекс лечебных мероприятий.

Уезжая в Америку, я точно знал, что вернусь. Именно поэтому ни одного дня из прожитых там у меня не было ностальгии. Вернувшись в Россию, я занялся тем, что начал мой дед, – естественным оздоровлением организма. Практически все, что я сегодня рекомендую своим пациентам, испытано на себе. Поэтому мне бы хотелось пожелать того, в чем, на мой взгляд, современники особенно нуждаются – здоровья и терпенья.

23.08.01. (интервью)

Практически психоанализом и научным толкованием сновидений я начал заниматься в 1965 году, когда только за упоминание имени Фрейда в положительном смысле можно было мгновенно вылететь с работы на кафедре (я

был ассистентом). Литературу (изданную у нас в начале века и неизданную) доставал правдами и неправдами.

Моя первая пациентка Лида К. после тяжелой травмы (была в поле изнасилована четырьмя пьяными трактористами) давала бурные истерические припадки с потерей сознания. Не называя вслух имени Фрейда, я стал проводить послойное психоаналитическое снятие фрагментов припадков, рисунок которых, как выяснилось, в точности повторял сцену изнасилования. Помогло. Лида выздоровела. Сохранились фотографии моих сеансов, которые я даже для своих коллег называл популярной в те годы «рациональной психотерапией». Я не подозревал, что это мое изобретение, когда с самого начала, модифицировав Фрейда, я стал проводить психоанализ в гипнозе.

Наше подсознание – универсальное, всеобъемлющее хранилище информации. Кстати, далеко не только о нас самих – не только о нашей душевной жизни и физическом состоянии.

01.10.01

Некоторые главные причины непонимания между людьми.

1. Эгоистическое желание настаивать на своем, желание (стремление) утвердить (и непременно!) правомерность своей точки зрения, своего видения обстоятельств или конкретности предмета разговора.

2. Наивное, а то и вовсе безнравственное неумение или узколобое нежелание видеть правомерность мотивировки поступков другого человека.

3. Утверждающее стремление поучать, делать замечания, читать нотации и т.д.

4. Грубое снижение (или полное отсутствие) самокритики.

5. Повышенное и вряд ли правомерное критическое отношение к действиям других людей.

6. Типовая некритическая позиция типа «я так привык», «я так привыкла», «да кто ты такой, чтоб меня учить? Что ты мне нотации читаешь?»

7. Автоматическое и бессознательное перенесение своих недочетов и недостатков на «супостатов» и тех, кого они критикуют.

8. «Рельсовое» мышление. Трамвай не может свернуть в переулок, где для него не проложен рельсовый путь. То есть неумение и нежелание мыслить и воспринимать вне установленных привычек.

9. Склонность к обидам в ответ на менее наивные и узколобые попытки со стороны окружающих внести коррективы и недостатки «рельсового» мышления, объяснить неправильность установок рельсомыслящего, так как в этих попытках они видят только намерение подорвать их авторитет, унижить. В чем же основа этих ошибок? Их много. Но прежде всего – одностороннее воспитание, начинающееся с раннего детства, с ясельного, семейного, затем дошкольного привития соответствующих установок: «Учи и усваивай то, чему тебя учили. И выполняй уроки». Но не только, разумеется. Здесь и разные уровни образования и развития человека и личностных интересов, и индивидуальность формирования характера, обстоятельственные и возрастные изменения личности, изменения характера, развившиеся под влиянием многочисленных болезней, как физических, так и нервных и гормональных, сознательное и бессознательное ощущение своих недостатков.



ПРЕССА

«Известия» 15.12.96.

«Возвращение доктора Штерна – симптом общего выздоровления»

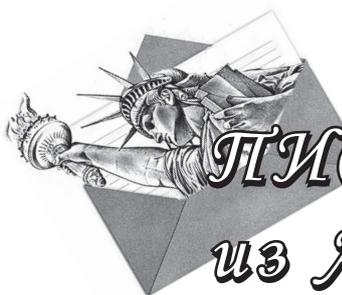
Ю. В. Штерн – ученик знаменитого профессора Кутанина, большую часть жизни лечил людей в Москве. Теперь он в Саратове. Круг заболеваний, за который берется Юрий Викторович, во многом схож с теми, что пользовал когда-то в своей частной клинике его знаменитый дед. Правда, методы несколько другие. Внук называет себя натуропатом, или врачом, лечащим без применения лекарств. В современной практике доктора Штерна тесно соседствуют методы психотерапии, психоанализа, йога-терапии, диетологии, тибетские методы очищения организма и т.д.

«Губерния», июль 2001 г. № 7 (19)

«Звездная династия Штернов».

Выпускник Саратовского мединститута Юрий Штерн вошел в кабинет к своему отцу – рентгенологу с мировым именем, собрался с духом и сказал: «Нет, папа! Я не буду рентгенологом. Мне нравится психиатрия...» Профессор отложил газету, не торопясь допил утренний кофе, снял очки и внимательно посмотрел на сына... Наконец он произнес: «Да, теперь я понял: рассказы о том, что психиатры от общения со своими пациентами сами становятся ненормальными – полная чепуха. Я по тебе вижу, что в психиатрию идут люди с уже имеющимися психическими отклонениями».

С такого напутствия начался творческий путь одного из представителей известнейшей медицинской династии Саратова, кандидата медицинских наук, врача-психотерапевта Юрия Викторовича Штерна.



ПИСЬМА из Америки и в Америку

02.03.92.

Дорогие Боба, Наташа и дети!

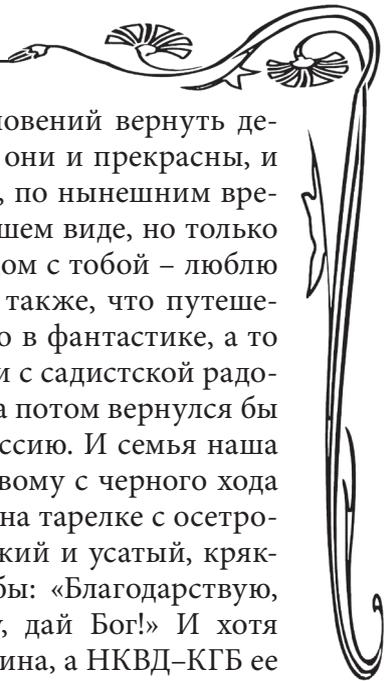
Сегодня второе марта, вчера Сережке исполнилось пятьдесят и вчера, наконец, пришло от вас долгожданное и – сразу скажу – самое информативное, самое дорогое и нужное письмо. Оно шло почти два месяца! Но – дошло. Читаем и перечитываем.

Мы здесь как на необитаемом острове – информация о России по жалким клочкам, только из слухов, скудных официальных сообщений по TV, тем более что у нас обычное, кабельное для нас пока дорого. Коротковолнового приемника нет, а практически все производящиеся в США имеют только длинные и средние волны, Европу не ловят. На хороший японский нужно около 100 долларов, а пока не утвердилось материально, имеем право тратиться на еду и другие элементарные вещи вроде туалетной бумаги, за которой, правду сказать, в очереди стоять не приходится, даже есть небольшой выбор, сортов этак 80–90. В общем, покушал, отнес в унитаз, а тут туалетная бумажка на ролике висит мяконькая такая, в четыре слоя

складывать приходится, чтоб ненароком палец в ... не сунуть. С... не хочу!

Вообще, чтоб покончить сразу с клозетно-гигиенической темой, скажу, что за четыре с лишним месяца наблюдения и имея кое-какую предварительную информацию (не на другую же планету собирался, интересовался, что и как), я вывел, что американцы в целом – большие и милые засранцы во всех переносных, а заодно и в прямом смысле. Чрезвычайно высоко развита культура бизнеса и вообще добывания денег (честным способом). Культуры в нашем понимании (духовность, широкая образованность в отраслях знаний, не имеющих прямого отношения к твоей профессии, глубинность философского и сатирического (!) осмысления реальности, знание искусств) не то чтобы нет совсем. По-настоящему глубоко и широко образованные люди и у нас в России не слишком часто, мягко говоря, попадаются, раз, два – и обчелся, здесь же – культура, которая свойственна 99,9999% американцев, – на уровне даже не медного, скорее, начала каменного века. Синантропы! Австралопитеки! Попадают, однако, и неандертальцы – все чуть-чуть ближе к нам. Эти любят слушать канал классической музыки по радио, ничего в ней не понимая.

Если же осмыслить окружающий нас заскорузлый волчий мир чистогана и достижений цивилизации не в категориях выгребных ям, ватерклозетов и других гигиенических ухищрений, то заявляю честно и открыто, как истинный коммунист: американцы – замечательные ребята. Честные, приветливые, участливые, тактичные, по-своему тонкие и... ужасно наивные. Опекают нас почему зря. Заботятся, интересуются, как продвигаются дела, не нужно ли чего-нибудь, дают тысячи вариантов советов – что сделать, как поступить, куда пойти, кому позвонить. И все это весьма полезно и своевременно, так как мы в здешних системах взаимодействия пока что совершенные тюфяки.



Боря! Что касаемо твоих поползновений вернуть дедушкину лечебницу, то, само собой, они и прекрасны, и благородны, и дай тебе Бог! По идее, по нынешним временам все должно получиться в лучшем виде, но только когда? Очень жаль, что меня нет рядом с тобой – люблю подраться и побить негодяев. Жаль также, что путешествия во времени существуют только в фантастике, а то я бы смотал прямехонько в 1869 год и с садистской радостью кастрировал Ульянова (тайно), а потом вернулся бы в наше время – в процветающую Россию. И семья наша была бы богата, и все так же городовому с черного хода выносили бы рюмку «смирновской» на тарелке с осетровым бутербродиком, а он, краснорожий и усатый, крикнув, выпив и вытерев ус, отвечал бы: «Благодарствую, здоровье хозяйшки, как детки? Ну, дай Бог!» И хотя ВКП(б) была партией товарища Сталина, а НКВД–КГБ ее «кружком», все-таки это было уже потом. Сначала был товарищ Ленин. Хапнул миллиончик – ну, положим, не один – и скрылся, каторжанин, юродствовать в Мавзолее мумифицированным идолом, олицетворением заветных чаяний о коммунизме, свободе, равенстве и б...

Боря! Что касается лозунга «Полный вперед», то тут ты неправ. Сначала – полный п., а уж потом полный вперед! Правда, у них получилось все наоборот. Потеха! По существу же: «здешние» юристы (с некоторыми знаком) весьма квалифицированы в своей области, но в российских законах ни хрена не понимают. Тут нужны Кони, Плевако, Александров, Пороховщиков. Могушественных евреев в Америке, как понимаешь, не один и, по-моему, даже не два. Никакого отношения к возвращению награбленного подлинным владельцам и их потомкам они не имеют. Я со столь далекого расстояния мог бы помочь тебе финансами, если б они у меня были. Собственно, если б были, я не посчитался бы ни с чем, сел бы в самолет и за пару месяцев (с помощью денег-то!) мы нашу лечебницу себе

вернули бы. Месяца два на ремонт, чтоб даже духу вонючих коммунистов не осталось, а через пару лет лечебница (на современном уровне, с зарубежным оборудованием и специалистами, обученными для работы именно в этой лечебнице) стала бы приносить доход, А больным как хорошо-то было бы!

Но это все – если бы да кабы, да росли бы во рту грибы... А моральная моя поддержка – вот она! Читайте, завидуйте – я гражданин, слава Богу, бывшего Советского Союза. До гражданства США осталось всего пять лет.

Я с тобой, Боба! Сигналь, держи в курсе дела, жизнь идет вперед, может, что и изменится, может, что-то еще и придумается. Мы – поколение терпеливых. Спроси у своего сына, он тебе подтвердит: шахматные фигуры размениваются и постепенно уходят с доски. Опять же вспоминается Евсей Григорьевич.

Заканчивается день. Только что вернулся из магазина, принес чай, бананы и хлеб, всем остальным забит холодильник. Сегодня пришлось переставить регулятор на два деления – стоит жара. Днем +27, продукты могут испортиться. Ночью, правда, столбик термометра опускался до +10, но весна идет уже пару недель. Распустились набухшие почки, всюду цветут диковинные деревья – сиреневыми, красными, лимонными и оранжевыми цветами. Невиданные кусты густо усеяны молоденькими яркочерными листочками, вечерами малиновые цикадные концерты – так, что в ушах чешется. Немного похожие на скворцов черные птицы с фиолетовыми хохолками и зелеными хвостами поют свою весеннюю песню. Два раза слышал соловьев, в воздухе носятся одуряющие весенние запахи, ночами снится Волга, и, как в молодости, хочется чего-то необыкновенного, волнующего и нежного. Чуть не сказал (прости, Господи!) – большого, чистого и светлого. Тогда пришлось бы опять помыть слона, и оставал-

ся бы только один вечно не выясненный вопрос: почему светлого? Ведь светлое будущее уже наступило. Как говаривал мой любимый Станислав Ежи Лец: «Снилась мне действительность. С каким облегчением я проснулся».

В отличие от Сережки – никаких симптомов ностальгии у меня нет, и никакие умиленные воспоминания меня не терзают. Саратов, Волгу вспоминаю с нежностью, но вернусь не скоро, видимо, через несколько лет – главным образом, к родным могилам. А если ты отстоишь клинику, а у меня будут деньги, могли бы закрутить общее дело.

Москву последних лет вспоминаю с отвращением и ненавистью. А вообще, в принципе – нет. Ничего Москва. Неплохой городишко.

Ефимиус Фемистокюлос меняется с каждым днем. Смешон, хулиганист, драчлив, бьет детей на две головы выше себя – не берет в голову. Но вообще детей любит, с американцами общается без комплексов языкового барьера, девчонок дергает за косы и шлепает по попе, а те смеются (видимо, от удовольствия). С неослабевающим упорством продолжает свои технические изыскания и совершенствование. При входе в Медицинский Центр Техаса (куда мы привезли его на профилактический осмотр), не успели мы отвернуться, чтоб спросить дорогу в нужный кабинет, а он уже отключил и заблокировал автоматические стеклянные двери центрального входа. Вызвали техника. А народ скапливается, недоумевает, но скандала, сам понимаешь, никто не затевает – публика неквалифицированная, на базар и свару не натасканная – смеются, подшучивают.

Пришел техник – огромный пожилой дядька с буденовскими усами, засмеялся, все мгновенно наладил, дал Ефиму монету в четверть доллара, похлопал меня по плечу: «Большой инженер растет»!.. С помпой справили трехлетие, было тринадцать детей – десять русских и три

японских. Можешь себе представить, во что они превратили квартиру! Им была предоставлена полная свобода и куча сладостей. Ковры! Стены! Везде конфетти, декоративный мусор – в ковер въелось, не отчистить. Все заляпано мороженым, кремами и шоколадом. Страшный сон!

На прошлой неделе ему сделали операцию под наркозом на зубах (на молочных!). Тринадцать зубов запломбировали и покрыли металлическими коронками. У «нас» на молочные зубы и внимания не обратили бы...

На днях Ефим опять пойдет в садик (ходит в еврейский детский садик при синагоге, платит община, своих денег на это пока нет). Странный садик, но об этом как-нибудь после.

Я пока не работаю. С работой крайне трудно (имею в виду хорошо оплачиваемую), а на неквалифицированную работу не берут. Я в их понятии – профессор, мне об этом прямо сказали.

За фотографии спасибо. Если нетрудно, начинай потихоньку присылать по несколько штук в письме. В первую очередь семейные – дедушку, папу, маму, двойных и тройных экземпляров полно. И напиши, в какой или в каких тарах тебе достался архив.

В магазине, где все продавцы меня знают, один спрашивает: «Как по-русски будет «Шаббат шалом?». Я смеюсь и отвечаю: «Шаббат шалом». Он вздевает брови: «О! Правда? Это замечательно!».

Засим целую, привет всем. Наташу и детей целую.

09.01.93.

Дорогая моя Фрида! Прости, что не сразу отвечаю тебе, закрутился совсем, сейчас такое время – только работаю и сплю, и это письмо пишу тебе урывками в машине, пока жду своей очереди в аэропорту.

Поздравляю тебя с прошедшей Ханукой, с Новым годом и с днем рождения, о котором не забыл. И уже совсем

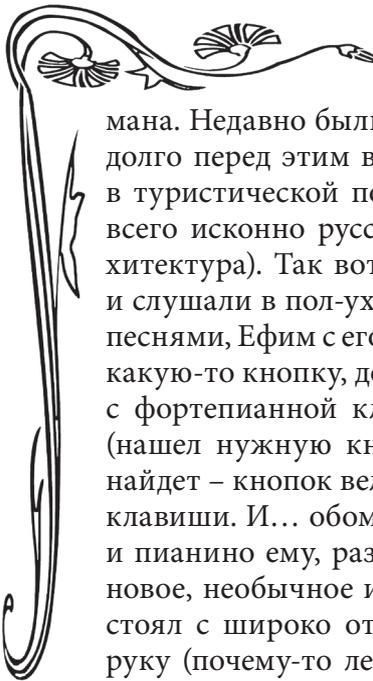
было собрался дать телеграмму, да завалился куда-то конверт с твоим адресом, хоть тресни.

Ну да, слава богу, ты догадалась написать сама. Поэтому, пользуясь случаем и накопившейся информацией, отвечаю тебе максимально подробно, с отступлениями, так что в этом письме ты увидишь не только факты.

И не бери с меня пример, не задерживайся с ответом. Нам все интересно. И не забудь в ответе сообщить свой телефон. А также адреса и телефоны Бори и Левы.

Хочу тебе сказать, что сведения о России у нас очень скудные и не очень достоверные, так что по-прежнему твоя информация и редкие письма, прорвавшиеся от Бобы, – самое ценное и правдивое, что у нас есть. Не удивляйся! Мы же не в Нью-Йорке и не в Чикаго. Техас – провинция, и ничего русского здесь нет. Знакомым нашим прислали несколько августовских номеров «Московского комсомольца» и «Коммерсанта». Впечатление удручающее. Читать противно и страшно. Порой возникало ощущение, что возвращаются времена удушения прессы и никакой свободы слова нет. Доходят (урывками) сведения о голодных детях, собирающих объедки, о пухнувших от голода стариках. Правда ли это? Если да, то остается только благодарить Бога, что нас унесло оттуда и мы, по крайней мере, хоть и живем нелегко, но не думаем о том, чем накормить Ефимку.

А Ефимка – молодец! Проказник и обормот, конечно, но, похоже, растет очень способным. Болтает на английском свободно, оживленно, за словом в карман не лезет, бойко отвечает, если к нему обращаются, а на днях в отделе игрушек с важным видом давал пояснения какой-то благообразной старушке: «Что же ты хочешь, чтобы она (машина) работала, там же внутри батарейки нет. Вставь батарейку, она поедет» (та, видимо, выбирала подарок внуку). Рисует очень примитивно, но выразительно, делает занятные коллажи на больших листах цветного ват-



мана. Недавно были в гостях у пожилой женщины, незадолго перед этим вернувшейся из России, где побывала в туристической поездке (конечно, пишет кипятком от всего исконно русского – церкви, музеи, старинная архитектура). Так вот, пока мы были заняты разговорами и слушали в пол-уха магнитофонную пленку с русскими песнями, Ефим с его страстью ко всему, где можно нажать какую-то кнопку, добрался до электронной фисгармонии с фортепианной клавиатурой. Умудрился ее включить (нашел нужную кнопку, которую и взрослый не сразу найдет – кнопок великое множество) и стал нажимать на клавиши. И... обомлел: «Кнопки» издают звуки!» (Рояли и пианино ему, разумеется, знакомы, но – здесь! Что-то новое, необычное и органное звучание). Он постоял-постоял с широко открытыми глазами и ртом, протянул руку (почему-то левую, хотя не левша) и... заиграл. Заиграл совершенно ритмически осмысленную мелодию. И именно русскую! Откуда? Музыка вокруг, конечно, много, но русской нет. Все мы были поражены. Жаль, что его хватило на пару минут. «Игрушка» ему надоела, и он решил, что интереснее «играть» с телевизором, нажимая одну за другой 200 кнопок кабельного телевидения.

Учится Ефимушка, как я уже писал, в еврейской «предшколе», чему я очень рад. Дело в том, что в еврейских школах испокон веков уделялось большое внимание общей культуре и образованности. Ефим общается с интеллигентнейшим молодым раввином, который в игровой форме каждую пятницу учит детей основам еврейской, а, стало быть, и мировой истории, в лицах показывает им сцены из Ветхого Завета. Почти каждый день красочные мультфильмы из древней жизни, которые, благодаря полудетективным и приключенческим сюжетам, смотрятся легко и интересно не только детьми. Ежедневные игры (на английском, естественно), очень остроумно построенная система поступенчатого интеллектуального раз-

вития. Раввина этого дети обожают. Приходим как-то на «профсоюзное собрание» эмигрантов. Эмигрантов – кот наплакал, сорок-пятьдесят человек, но в большом зале собирается вся еврейская община (она является спонсором всех эмигрантов из СССР в Остине). В основном эмигранты – евреи, это человек 350–400. Выступают люди, что-то говорят. Доходит очередь до «нашего» раввина. Ефим, недолго думая, срывается с места и через весь зал бегом, с разбегу прыгает на раввина и висит у него на шее. Зал, естественно, грохочет от хохота, воет от восторга. Так раввин с Ефимом на руках и закончил свое выступление. Уж эта непосредственность!

Учителя очень хорошие. Занятия, игры проходят на полу, на коврах. Учителя веселятся и резвятся с детьми на равных. Спят дети во время тихого часа на личных матрацах, их каждую неделю отдают родителям стирать.

Физически Ефим очень сильный, может быть и забиякой, и тогда «обижает» даже шестилетних, а ему еще и четырех нет. Но вообще это не характерно, он добрый, открытый мальчик, любит детей. Дети, к сожалению, разные. Как и взрослые.

Мы смеемся: Ефим у нас самый богатый человек в семье. Игрушек столько, что они заполнили всю его комнату, понятно, что покупаем ему игрушки, удовлетворяя собственное чувство недостаточности, ведь никогда не было возможности иметь столько всего. Ефим и самый обеспеченный транспортом. Своя машина, для того чтобы привести ее в движение, нужно ногами перебирать по полу – дна нет, и велосипед – настоящий красавец, черный с золотыми рулем и золотыми ободами. А сколько у него игрушечных автомобилей: вездеходы, грузовики, легковые, гоночные, полицейские, самосвалы, пожарные, уж и не помню всего. И все это движется, тарыхтит, сигналиит, объявляет в рупор металлическим голосом: «Будьте осторожны! Рефрижератор тяжело нагружен!»

Характер у Ефима неровный, но по-настоящему капризничает редко. Очень общителен, но, предоставленный самому себе, может часами сидеть у себя в комнате на полу среди вороха обезьян, бегемотов, медведей, собак, пистолетов, ружей, автомобилей и конструкторов, что-то строить. Построил как-то «для папы» башню, напоминающую пизанскую. Когда я вошел в комнату, она еще стояла, но сделал шаг – и рухнула. Или возьмет свой игрушечный телефон и говорит длинные монологи на английском, потом переходит на диалог, сам себя спрашивает, сам же себе и отвечает, причем широко варьируя интонации: от снисходительно-одобрительных до явно порицающих. И смех и грех. Но забавно.

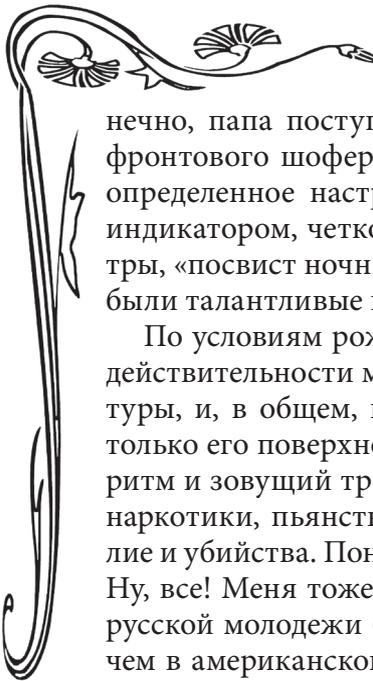
Недавно купили японский телевизор с хорошей видеоприставкой (наконец-то!). Это, скажу честно, серьезно пробило брешь в нашем бюджете, так что еще и теперь, спустя месяц с лишним, отстаем от своего «графика». Самый главный «смотрящий», конечно же, Ефим. Купили ему несколько диснеевских мультфильмов, так он теперь от экрана не отлипает. Бесконечно смотрит «Маугли» и «Алису в стране чудес». Но есть на что посмотреть. Какая красота! Какое изящество, какая выразительность! Какие краски! Мы смотрим русские (на русском языке): шедевры Тарковского, Рязанова, Захарова, Абуладзе. Достали (тьфу, купили) десятка полтора кассет и смотрим ночами, как водку втихаря пьем.

Американское телевидение преимущественно скучное, фильмы примитивные, очень много рекламы. Рекламируют в основном жратву, автомобили, косметику, противозачаточные средства, развлечения, спортивные приспособления. Помешаны (по крайней мере, техасцы) на американском футболе, массовой музыке, в которой стандартно комбинируются шесть – восемь аккордов и десять – пятнадцать ритмов. Рок, которым увлекаются в России, – удел местных «интеллектуалов». Можно себе

представить! Теперь мне это уже не кажется странным.

Символ Америки, яркая демонстрация «морального разложения», «капиталистического загнивания», мишень сосредоточения злобного критического огня бывших комсомольских запевал! Рок классический (Челентано, Элвис Пресли), металлический или тяжелый – искусство. Это искусство надо понять, а для того чтобы понять, нужны мозги, нужна культура. Ну, уж если не мозги и не культура, то хотя бы чувство сопереживания, ибо в основе своей современный рок (последние лет пятнадцать) – это искусство крика боли, любви, ненависти. Допустим, мне далеко не все нравится в роке. И что? Мне все подряд нравится в классической музыке? Допустим, это искусство не самое мне близкое, но я понимаю, что эти ребята хотят сказать. Именно в силу своей природы (обнаженной, часто – исступленной рок и завоевал такую широкую популярность в российской среде, особенно у молодежи, от рождения лишенной всего, куда можно вложить потребность в любви, ненависти и... нежности. Нам повезло. Мы с детства слышали только классическую музыку, и даже оперетта (в нашей семье) считалась «искусством второго сорта». Думаю, что и это – перегиб. Нас старались отвратить от популярных песенок Марка Бернеса и Леонида Утесова. Помню, папу как-то «занесло». Он считал, что мы, дети, должны воспитываться на «прекрасном» – Пушкине, Толстом, Чехове, Бетховене, Чайковском ...

А меня дернул черт принести домой только что вышедшую пластинку (78 об.) с «Песенкой фронтового шофера» в исполнении М. Бернеса. Ну нравилась она мне! «Объезжая мины, мы вели машины...» Папа остервенел, раскричался: «уличные песни» пусть распевают «пожарники и кухарки» и «свинарки и пастухи». А в нашем доме, ничего подобного быть не должно. И пластинку разбил на мелкие кусочки. Я был маленький, расстроился. Ко-



нечно, папа поступил глупо, тем более что и «песенка фронтового шофера», и другие песни тех лет выражали определенное настроение эпохи и были своеобразным индикатором, четко реагирующим на злые холодные ветры, «посвист ночных пуль» и «ужас «чрезвычайка». И это были талантливые песни!

По условиям рождения, воспитания и омерзительной действительности молодежь, лишенная и мозгов, и культуры, и, в общем, настоящего чувства «хватает» в роке только его поверхностную, завораживающую структуру: ритм и зовущий тревожный пульс. Отсюда и крайности: наркотики, пьянство и прочие прелести, включая насилие и убийства. Понятно, я имею в виду не всю молодежь. Ну, все! Меня тоже понесло! Хотел только сказать, что в русской молодежи больше настоящего, больше глубины, чем в американской, а угодил в сети собственного резонанса... Бывает. Глупею.

Итак, вчера минуло пять месяцев моей работы в качестве извозчика. Я все тот же № 55 Ryes taxi. Я уже писал о том, как попал в таксисты, как с треском провалился в свой первый день, как меня обманул счетчик бензина, показавший полбака в то время, как я уже использовал весь бензин, и мотор заглох на незнакомой пустынной дороге, а в салоне у меня сидел в этот момент не очень молодой мужчина с молодой любовницей, перед которой все старался пылить выщипанным хвостом. В хвосте, правда, еще оставались кой-какие перья. Так... в основном, пегушиные, но еще два-три павлиньих сохранилось. Кондиционер тоже вырубился, на улице 42 градуса в тени. А мы встали на солнышке. И вокруг ни деревца, ни кустика. Любовница оказалась с норовом, все свое презрение обратила на него, «вотравил» ее в эту историю. Он, конечно, спустил всех собак на меня. Я половины не понимаю из того, что они говорят, час орал по радию о помощи. Осна-

щение – одна плохонькая карта, местоположения своего толком объяснить не могу. Наконец через два часа приехал другой таксист, забрал эту публику. Было очень весело. Не заплатил ни цента.

Наука подобного рода действует быстро.

В тот день я не только ничего не заработал, но и выложил из своего кармана последние двадцать два доллара: плата за аренду автомашины такси пятьдесят долларов в сутки, а что «сверх» заработал – то мое. Оправившись после нескольких часов полнейшей растерянности и разочарования, я озверел, явился в компанию и потребовал замены автомобиля. Он не годился не только из-за неправильного бензомера. Когда мне отказали, я повернулся, хлопнул дверью (фигурально) и на следующий день стал арендовать машину у частного лица, которому тоже принадлежит несколько машин этой компании. Это оказалось намного лучше и легче, компания – безликая контора советского образца, которой наплевать на условия, в которых ты работаешь, лишь бы приносил доллары. Хозяин – дело другое. Ты в нем заинтересован, а он – в тебе. С ним постепенно складываются личные, иногда – приятельские отношения. Ты платишь ему те же пятьдесят долларов, но можешь потребовать от него выполнения своих условий: немедленного исправления любых поломок, а то и выдачи другой машины на период ремонта твоей, снижения платы за аренду, если ты теряешь время из-за неисправности машины. Короче, с хозяином иметь дело и проще, и приятнее. Вот с восьмого августа я вожу машину этого хозяина. С моим иметь дело оказалось вдвойне легче, он беженец, хоть и эфиоп (стало быть, от генерала Менгисты), и ко мне относится с особым пониманием. Живет он в Америке шесть лет, начинал с нуля, теперь у него полтора десятка машин в двух разных компаниях. Я плачу ему, компании за каждую машину платит он. Крутится, как белка в колесе. По-

ловину неисправностей устраняет сам (что может). Я неоднократно вызывал его и на дорогу, и к себе домой. И он, не гнушаясь ничем, как миленький, лежал под машиной, весь перепачканный, снижал мне плату за аренду на этот день и в заключение стеснительно просил разрешения воспользоваться умывальником в моей квартире, чтобы вымыть руки. А эфиопское имя его по-русски звучит поразительно: З э к! Америка!..

О работе таксиста можно рассказывать много. Во-первых, много любопытного и забавного. С моим всегдашним интересом к людям, к новым (пусть поверхностным) встречам работа моя вдвойне, втройне поучительна. И нравится она мне во многих отношениях. Нужно быть м н о й, чтобы так далеко уйти от всех своих, казалось бы, проторенных путей, профессий и навыков (далее меня от своих профессий никто из здешних эмигрантов не ушел). Полагаю, еще надо учесть, маловероятно, чтобы наши эмигранты обладали в своих профессиях квалификацией моего уровня – я вижу этих людей. И я не просто далеко ушел от своей профессии (врача, фотографа). Я испытываю удовольствие от того, что делаю, наслаждаюсь чувством свободы от всего и от всех, зарабатываю деньги (очень, правда, маленькие пока), учу язык, стиль и страну, общаясь с пассажирами, и делаю то же самое дело, которое делаю всю жизнь, чем бы я ни занимался: изучаю людей. И очень хорошо понимаю, что всю свою жизнь оставшуюся я рулить в такси не буду. Придет время вернуться к чему-то более существенному. Америка!..

Люди здесь гораздо проще и нагляднее делятся на «слои» и «категории».

Например, пешеход потенциально всегда опасен. Раз он пешком, значит, у него нет машины, раз нет машины, значит, он беден и у него нет образования, раз пешком, скорее всего битник (если человек работает – где бы он ни работал, у него достаточно денег, чтобы купить ка-

кую-нибудь машину и быть «человеком»); раз битник, то, вероятнее всего, наркоман или алкоголик, и ему необходимы «легкие деньги», которые можно добыть только преступлением. Конечно, это низкий сорт преступника, который за десятку-другую запросто может и убить. Ни морали, ни сдерживающих побуждений. Добыть десятку! А как – какое это имеет значение! Таксист, сажающий ночью на улице пешехода, – безумец, дурак или такой же, как этот пешеход, у него никаких других принципов, кроме как заработать лишнюю копейку, нет. Я работаю или от аэропорта, или от отелей. Редко-редко я беру днем на улице пассажира, и то, если вижу, что он хорошо одет, с портфелем или с чемоданами (то есть собирается в аэропорт). Как-то посадил женщину с маленьким ребенком. Люди, летающие на самолетах, для таксиста безопасны. Если среди них и есть преступники, то другого ранга. Им ограбить таксиста, у которого в кармане редко больше полутора-двух сотен, интереса нет. За редким исключением пассажиры, прилетающие из других городов и штатов, или бизнесмены (на несколько часов, несколько дней), или семьи, возвращающиеся с отдыха. С учетом этой несложной «математики» пассажир, который подходит к твоей машине, «вычисляется» в первую очередь.

Садящиеся ко мне в машину люди (американцы, если иностранцы – все иначе) моментально отличают во мне европейца по акценту (вы будете смеяться, но акцент у меня... норвежский!). Иногда я заставляю их играть «в угадки»: «Откуда вы?»

– «Попробуйте угадать». Европейца угадывают сразу. Но: «Француз». «Немец». «Югослав». «Северная Италия».

И только один пожилой мужчина из Северного штата на днях поразил меня. Обычно спрашивают, откуда я.

Этот не спрашивал.

– Простите, вы русский?

– Да, а как вы угадали?

– Вы хорошо воспитаны, у вас в машине уютно, хороший запах, и... потом, ваш приемник настроен на канал классической музыки. Да ведь вы, наверно, не таксист?

– Спасибо, конечно, но причем тут классическая музыка?

– Только русский водитель такси будет слушать классику, да еще... Но ведь это Второй фортепианный концерт Шопена?

– Фа-минор. Старая запись. Рубинштейн. 1958 год.

– Вот видите. Вы знаете даже пианиста Артура Рубинштейна, сэр.

– Извините, сэр, откуда вы так хорошо знаете музыку?

– Теперь у меня проснулось любопытство.

– Я живу в Америке около сорока лет. А вообще-то я – поляк. Вы знаете польский?

– К стыду своему, нет, хотя мама моя была полькой, но из обрусевших. Тоже язык не знала. И это правда, я действительно не таксист. Это только мой способ изучения Америки и языка. Мои пассажиры, знаете, не только платят мне деньги за мою работу, но и учат меня английскому. Вот вы разговариваете сейчас со мной. Я учусь.

– Я понимаю вас, сэр, вы выбрали замечательный путь. А кто вы? Я имею в виду по профессии?

Прилетает как-то молодой, толстый, слегка одышливый чернявый розовощекий парагваец. Тоже бизнесмен. Дело под вечер. По-английски говорит или как я, или немного лучше.

– Ты знаешь какой-нибудь хороший отель?

– В Остине много хороших отелей. Какой ты хочешь?

– Очень хороший.

– «Дрискил», «Холидей», «4 сезона».

– Самый лучший.

– Ну, если самый лучший, то это, конечно, «Стоуффер». В горах, в лесу, рядом озеро, птички. Обслуживание на высшем уровне.

– Очень хорошо. Вези.

Надо пояснить, что поездка до первых трех отелей стоит шесть-семь долларов, до «Стоуффера – восемнадцать». Для меня это – огромная выгода.

– Поехали.

По дороге спрашивает, далеко ли до центра города от «Стоуффера», есть ли хорошие рестораны, ночные бары с «девочками» (то есть со стриптизом). Попутно надо сказать, что полный стриптиз законом Техаса запрещен. Артистке разрешается остаться в бикини – в таком прозрачном, что это все равно как полный стриптиз. Америка!

Приезжаем. «Стоуффер» – действительно роскошный отель. Вышколенные швейцары, лакеи, оклады у них профессорские, и ведут они себя соответственно. Здание красивое, площадка обозрения, везде деревья, цветы, вылизанные дорожки, широкие лестничные марши и пр. Мой парагваец замер, открыл рот, молчит, потом поспешно:

– Э-э, нет! Это слишком дорогой отель! Моя компания не будет за это платить (номера 300–500 долларов в сутки). Едем обратно к аэропорту!

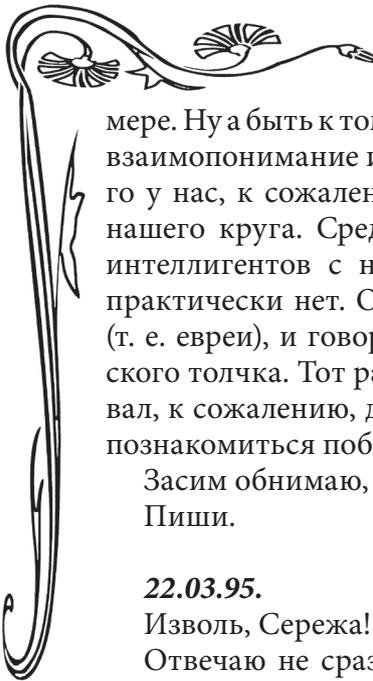
– Почему нет? Едем.

Мне что! На счетчике уже 17,50, да обратно долларов 15–16. Шикарно. За какие-то 40 минут! Иные за тридцатку восьмичасовой рабочий день отстукивают.

Кончилось тем, что он выбрал самый дешевый (фактически для студентов) мотель, заплатил мне 35 долларов и расплылся в благодарнейшей улыбке. Америка!

Фрида!

Конечно, очень огорчительно, что ты сломала руку, да еще при таких обстоятельствах. Но я надеюсь, теперь уже все в порядке, и ты можешь вести полноценную жизнь. Я рад, что ты чувствуешь себя относительно комфортно. Быть на свободе – мы теперь тоже оценили это в полной



мере. Ну а быть к тому же и «среди своих», когда находишь взаимопонимание и сочувствие, вдвойне важно. Вот этого у нас, к сожалению, нет. Публика вокруг чужая – не нашего круга. Среди знакомых американцев истинных интеллигентов с настоящим «нашенским» кругозором практически нет. О том, какие подобались тут русские (т. е. евреи), и говорить нечего – низкопробщина с одесского толчка. Тот раввин, о котором я немного рассказывал, к сожалению, далеко, и мы не настолько знакомы. А познакомиться поближе – не доходят ни руки, ни ноги.

Засим обнимаю, целую, желаю всех благ.

Пиши.

22.03.95.

Изволь, Сережа!

Отвечаю не сразу. Постараюсь быть кратким, хотя и так понятно, что быть кратким порой не просто невозможно, но и нелепо. Говоришь дефинициями, а на тебя смотрят, как на умалишенного.

В одном из писем ты указывал мне (ерничал), что Лена из другого детдома, полагая, видимо, что этот очевидный факт является твоим блестящим открытием...

Я тебе писал, что жена меня предала (имею в виду не супружескую измену, понятие предательства много шире), а ты напоминал мне, как я развлекался в молодости.

Я тебе писал, что жена, стоя за моей спиной, фактически вероломно столкнула меня в пропасть и бросила погибать в нищете, духовном вакууме и отчаянии. Ну, конечно, я писал это другими словами, отвлекаясь на разговоры о бизнесе и о тexasской природе, но Штерну не прочесть между строк – значит, либо безнадежно овластеть, либо не быть Штерном.

Я почти умолял тебя (брата!) хотя бы о небольшой сумме, которая могла бы меня спасти, но твою нетребовательную мысль увели в сторону и обманули мои бизнес-

идеи. Ты не слышал, занимался мелочами своей жизни и... присоединился к Лене.

Мои письма (если сохранились, перечти новыми глазами) были наполнены тоской и отчаянием и попыткой найти если не деньги, то хотя бы родственный отклик в человеке одной крови. Но ты читал мне нравоучения: все вокруг видели, что такое Лена, и только я не видел.

К слову: я видел больше всех. Никогда еще в жизни меня не ослепляла влюбленность. И совсем отдельный вопрос, почему все-таки, несмотря на это, я пошел своей дорогой.

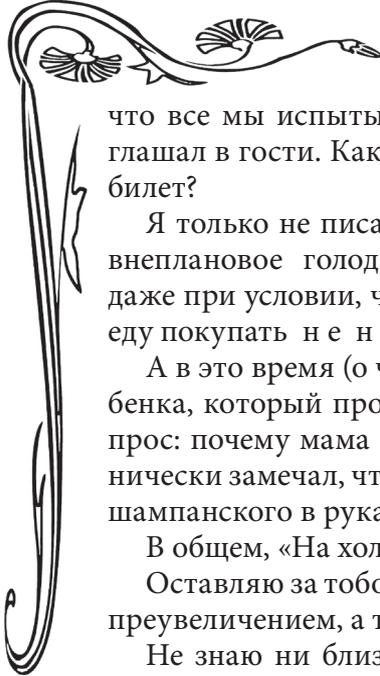
Да! Я видел. Я знал. Я «читал» эту рентгенограмму.

Но даже я (не говоря о тех, кто, вроде бы, уже все видел и обо всем догадался) не мог предполагать, что в моей жене сидит маленькая Миледи, жаждущая предательства и испытывающая от него страстное наслаждение. Я ожидал всего: охлаждения, измен, развода, тяжб из-за Ефима. Только не этого. Лена – особый и редкостный женский тип (по-своему талантливый). Масштаб, конечно, не тот, не кардинальский, труба пониже и дым пожиже – бобруйского разлива. Но весь стиль, программа и целенаправленность характера абсолютно та же, что описаны у Дюма.

Удар из-за спины был настолько внезапен и силен, что я – человек отнюдь не слабой воли – чуть не погиб.

Я тебе писал, что мне не всегда хватает на прожиточный минимум (читай, и на еду тоже!), но ты, по-видимому, считал это аллегорией и описывал мне прелести пейзажа за окном и благотворность шведского климата. Я тебе посылаю сигнал SOS, а ты говорил о достоинствах новой квартиры и как удачно вы ее приобрели.

Я тебе писал, что прикован к аэропорту, так как даже несколько часов моего отсутствия там могут стоить мне выселения из квартиры (за душой ни копейки, и скопить ничего невозможно, все сжирают расходы), а ты отвечал,



что все мы испытываем финансовые трудности, и приглашал в гости. Как ты себе представлял, на что я куплю билет?

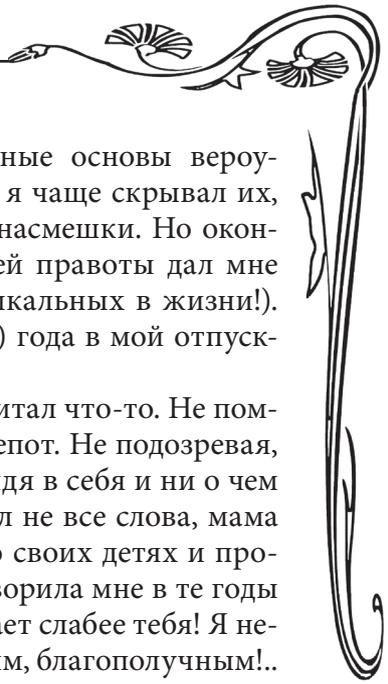
Я только не писал, что временами вынужден идти на внеплановое голодание (хорошо, организм приучен!), даже при условии, что еда в Америке стоит копейки, мне еду покупать н е н а ч т о!

А в это время (о чем я писал) Лена бросает на меня ребенка, который просыпается ночами, будит и задает вопрос: почему мама не идет? Но ты (сонное сердце!) иронически замечал, что смотреть на луну с шестым бокалом шампанского в руках много приятнее, чем мыть посуду.

В общем, «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»

Оставляю за тобой твое обычное право считать все это преувеличением, а то и художественным враньем.

Не знаю ни близкого, ни далекого примера в жизни, когда человек, оказавшись на моем месте, не попытался бы сразу что-то предпринять, пресечь. Но я – другое дерево. Ты всегда по глупости высмеивал мое тяготение к христианским идеям, будучи сам далек от евангельского понятия жертвенности и выстраданного сознания, навязывающего донести свой Крест до своей Голгофы. Для меня это не было ни жеманной игрой, ни одеванием в красивые философские метаморфозы: я знал, что мне дана эта Судьба, и я должен вынести и это испытание. Это одна из главных причин, почему я все-таки взял Лену в Америку (была возможность уехать одному и даже вдвоем с Ефимом). Другьям, которые провожали меня в Шереметьево, я это сказал. Они поняли. Меня провожали несколько человек. Среди них была и Лиля Кондрашенко. Ей я подарил свое маленькое зеленое Евангелие и тетрадочку с моими исследованиями некоторых глав Евангелия от Иоанна (вопрос о предательстве Иуды оказался совсем не так прост и однозначен, как он трактуется Догмами).



Однако к баранам!

Христианские идеи и нравственные основы верования бродили во мне всю жизнь, и я чаще скрывал их, натываясь на тупое непонимание и насмешки. Но окончательный толчок к осознанию своей правоты дал мне пронзительный случай (один из уникальных в жизни!). Это произошло летом 1984 (м. б. 85?) года в мой отпускной приезд в Саратов.

Я сидел на кухне, то ли ел, то ли читал что-то. Не помню. И вдруг я услышал из туалета шепот. Не подозревая, что ее могут слышать, или просто уйдя в себя и ни о чем не думая, мама молилась! Я разбирал не все слова, мама шептала очень тихо. Она молилась о своих детях и просила у Бога помощи – тебе! Мама говорила мне в те годы много раз, что из нас двоих она считает слабее тебя! Я недоумевал. Ты казался таким успешным, благополучным!.. Но мама – материнским сердцем – оказалась дальновиднее...

Мама молилась долго, перемежая молитвы неизвестными мне стихами.

Откуда это взялось? Смутное предощущение, что лишь дремало во мне, в одно мгновение сильно и ясно высветлило и выстроило все на места.

То, что мама была глубоко (и скрыто!) религиозна, не было для меня секретом и раньше. Это прорывалось и в невольных фразах, и во всем строе ее мышления и чувствований, в высоком, нравственном отношении к жизни, к людям. Чего стоит одно ее завещание! Но чтобы так!..

А думал ли ты, что наша мама была подлинной аристократкой? Папа был мягкий интеллигент. Но мама!..

Для меня эта молитва в туалете была как освежающий душу и продувающий мозги шок.

И в этот момент я (откуда-то, как из прошлой жизни) вдруг увидел, ощутил то невидимое и тонкое, что про-

тягивается неслышными нитями от родителей к детям. Голос крови.

Помню, я не мог прийти в себя более часа. А после, не умея придумать ничего лучшего, вышел из дома, сел в машину и съездил за бутылкой.

Одна здешняя Ленина подружка, преданная моей вероломной женой, поняла все и сказала, что я выбрал слишком жестокий для себя путь.

Не думал я об этой стороне дела. И ничего не выбирал. Я просто принял это, как данность, как необходимое и продиктованное свыше испытание. Я прошел его.

Не потерянное еще природное здоровье, воля, упрямство (не сдать!), любовь к Ефимке – маминему внуку, а также поддержка немногочисленных преданных друзей, их неослабная вера в меня подняли меня. Другими словами, Вера в целом, как таковая.

И я благодарен Судьбе за это данное мне Богом испытание. Не пройдя его, я никогда не стал бы тем, что я теперь.

И – увы, Сережа! Это не я и Лена, а ты и я оказались из разных детдомов.

Так случилось. Прощай.

Твой единоутробный брат Юра

После развода и не позже, чем через три недели, я покидаю Остин навсегда. Если повезет – с Ефимом.

Все.

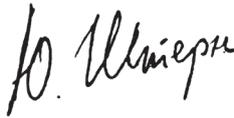
04.04.95.

Лена!

Мне лень писать письмо по-английски, оно может быть тобой легко переведено.

Это письмо – мое официальное разрешение на развод, мне уже все равно, на каких условиях. Я высказал единственное условие: ты должна отказаться от фамилии Штерн. Дальше – живи, как тебе позволит совесть.

В зале суда меня не будет.
Можешь вздохнуть с облегчением.
Юрий Штерн



04.04.95.

Мой милый, милый Ефимкин! Мой дорогой мальчик!
Так случилось, что мы с тобой теперь сможем увидеться не очень скоро. Невыносимо трудные обстоятельства (или условия, если ты еще не знаешь слова «обстоятельства») моей жизни заставляют меня изменить ее, чтобы сделать еще одну попытку остаться жить. А то ведь несколько раз за последнее время я уже чуть не умер. Но ты ни о чем этом не знаешь. Не знает и твоя мама, а я не говорил.

Смотри мой фильм, который я тебе подарил на день рождения. Он для тебя на долгие годы. Помни, что я люблю тебя больше всех на свете.

До свидания, мой любимый. Если все будет в порядке, мы с тобой опять увидимся через некоторое время, и нам вдвоем опять будет так хорошо! Целую тебя крепко-крепко. Твой папа Юрий Штерн

21.04.95.

Мой милый, мой дорогой мальчик!
Мой Ефимкин! Мой Ефимиус Фемистоколюс!
Солнышкин!

Поздравляю тебя с великим нашим весенним Праздником – Праздником Православной Пасхи! Это веселый праздник, Ефимушка! Пусть твоя мама объяснит, кто такой Господь наш Иисус Христос, как Он был убит и распят неверующими слепыми злодеями – фанатиками и как Он воскрес и восстал из гроба на третий день после смерти. Пусть мама также скажет тебе, что даже название дня недели – воскресенье – дано в память о Воскресении Господа нашего, которое произошло 1962 года тому назад.

Ефимка! Я желаю тебе в этот веселый весенний день всего самого-самого, что только можно пожелать с любовью и добротой в сердце, тем более своему любимому сыночку – тебе!

Мой славный мальчик! Если бы ты только знал, как я о тебе скучаю! Как сильно!

Но я сейчас, впрочем, как и всегда, очень много работаю и не могу прийти к тебе так скоро, как нам обоим хотелось бы! Злая упрямая сила разлучила нас. Но помни, Ефимушка: добрая сила рано или поздно побеждает, и мы опять будем вместе!

Рад тебе сообщить, мой маленький, что я, благодаря Богу, уже больше не работаю в такси, я тебе говорил много раз, что я не таксист! Теперь делаю то, что действительно умею делать хорошо. А умею я хорошо писать стихи и рассказы, хорошо лечить людей от разных болезней, хорошо фотографировать. А также недавно выяснилось, что я умею снимать фильмы. И выяснилось это после того, как я снял фильм «Сегодня и всегда» к твоему дню рождения.

Сейчас я, правда, очень много работаю и стараюсь заработать как можно больше денег, которые нам очень и очень понадобятся. Теперь я не один, мой маленький! Меня окружают добрые, честные и талантливые люди, настоящие друзья, которые поняли меня, и мы делаем эту работу вместе.

Передай твоей маме, мой мальчик, что я ее хорошо помню. А также передай, что я здоров, хорошо сплю, чего и ей желаю. Целую тебя, мой родной, мой любимый!

Твой папа Юрий Штерн

06.11.95.

Москва

Дорогие Гера и Фаня!

Вы и не представляете, как я был рад слышать вас наконец после столь затянувшегося периода неизвестности!

Время – странная штука, а человеческая память – еще страннее, как субстанция, субъективно, как в кривом (или не очень кривом) зеркале отражающая это самое время и его реалии.

Когда я вспоминаю теперь свой остинский период, он смотрится на «фотографическом снимке» моей жизни как артефакт, как нечто инородное, не свойственное ни мне лично, ни логической цепи развития предшествующих и, неизбежно, последующих событий.

Было бы преувеличением считать, что это – как дурной сон или нечто подобное, как привыкли выражаться люди. И нет для меня никакого внутреннего противоречия в том, что я сказал за первым бокалом сухого вина у вас в квартире 29 октября 1991 года: мы никогда не станем американцами (с чем ты, Гера, немедленно согласился), и тем, что я не считал и не считаю свой побег из России ошибкой.

Все много сложнее и... проще в одно и то же время!

И это между друзьями либо понимается сразу, на интуитивном, почти подсознательном уровне, либо любые объяснения бессмысленны!

Итак, я в Москве. Странное чувство! Я даже спокойнее был в Саратове в августе, а этот город меня всегда волновал много больше, чем Москва. Это как если через десятилетия ты, бродя бесцельно по улице, вдруг «случайно» встречаешь свою первую любовь. Завязывается разговор. Вы оба постарели, помудрели, но... в какой-то момент разговора обнаруживается, что оба вы – те же, что были и сорок лет назад.

Нет! Никакой ностальгии! Это – другое!

В первый приезд – уже в конце апреля, через двадцать дней, как вы проводили меня на автовокзал в Остине, я ходил по московским улицам как человек, только что оправившийся от тяжелой, изнуряющей болезни. Осто-

рожно, неуверенной походкой, готовый опереться на несуществующую палку. Главным моим времяпрепровождением был телевизор. Меня не могли оторвать от экрана – такой ошеломляющий контраст в сравнении с тем, что мы видели в Остине, даже по кабельному. Впечатление было, что на экран хлынуло то, что десятилетия хранилось где-то под спудом. Что ни передача, что ни кадр, что ни фильм (художественный или хроникальный) – во всем был хмельной разгул таланта и ничем не сдерживаемой свободы. Я сидел в кресле, лежал на диване, по двадцать часов переключая «ящик» с канала на канал (их теперь тут шесть), и не мог остановиться, как в запое. Какая же унылая серость – американское телевидение! Потом выяснилось, что это не только мое впечатление. То же происходит с некоторыми интеллектуальными американцами, когда они попадают сюда (из тех, конечно, кто знает русский). Но каково же было мне – коренному россиянину, глядя на экран, узнавать и не узнавать свою страну! Резонно и точно заметил один приятель, старый телеоператор и саратовец по происхождению: «Ты уезжал из одной страны, а приехал в совершенно другую!» И это правда. Все – другое. Но главное – образ мышления, выражение лиц и даже язык. Слова те же, привычные с детства, но часто они значат нечто, совсем отличное от заученного смысла.

Не смейтесь, ребята! В России – жуткий бардак и неразбериха. Я тоже еще далеко не все понимаю в общественной и политической жизни – очень отстал, но в одном могу поклясться совершенно твердо: Россия сейчас – вольная (местами даже слишком вольная), свободная страна истинного плюрализма, а Америка – жандармская, полицейская держава, где воистину: не пойман – не вор, но если поймали, а ты не вор, то все равно – вор. Полиции дана слишком большая власть. Америка по-своему интересна и была для меня прекрасной школой, но жить

в Америке я больше не буду, хоть и рассчитывал на это, как на «запасной» вариант, ибо тогда, в 91-м, никаких надежд питать было нельзя.

Но что происходит с Россией в отношении к евреям! Конечно, антисемитизм остался и нет-нет, да и даст себя знать в какой-нибудь желтой газетенке, но слышали бы вы, какие слова говорят в адрес «одной из самых передовых стран мира» – Израиля. Какие говорились слова, с каким неподдельным гневом, с экрана телевизора об убийстве Ицхака Рабина! С рекламных плакатов, в бесчисленных газетных и телевизионных объявлениях Израиль называется одной из престижнейших стран для туризма, «дикого» летнего отдыха, как база повышения квалификации бизнесменов. Цены на туристические путевки уже взвинчены, а поток желающих (всех национальностей, особенно почему-то украинцев и белорусов) посетить страну обетованную, «родину мировой культуры и Иисуса Христа», все растет. Простые и не очень простые люди, работающие в компании, кто уже съездил на лето в Израиль, «писают кипятком» от красоты, приветливости страны, от того, как там относились к их детям. Умопомрачительный, не укладывающийся ни в какие рамки случай произошел в Химках. Администратор крупной больницы с треском вылетел со своего места (без права дальнейшего устройства по административной линии) за то, что отказал в приеме на работу двум евреям (было доказано, что отказал именно по признаку национальности), как рассказали мои бывшие сослуживцы. Теперь такие вещи решаются через суд, куда любой человек имеет право подать иск без страха быть за это ущемленным. Само собой, есть и перегибы. В общем, ребятки, это как говорилось в бессмертном фильме (бессмертном по изумительным актерским работам) «Семнадцать мгновений весны», это информация к размышлению. Есть и тревожные нотки – очень сильны коммунисты, и Ельцин

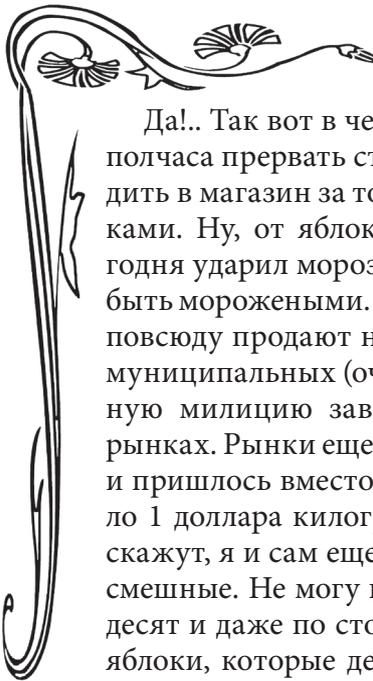
открыто сказал в интервью, о чем написали все газеты, что четыре года назад была допущена трудно исправимая ошибка, когда запретили Коммунистическую партию, в то время как нужно было запретить коммунистическую деятельность вообще!

В порядке курьеза, из «перегибов свободы»: по телевизору часто демонстрируют голых людей (в Америке я видел только в порнофильмах, в специальных кинотеатрах). А по ночам показывают эротические фильмы, близкие к порнографическим, далеко не всегда выдержанные в рамках хорошего художественного вкуса. Я считаю, что художник имеет право касаться любой темы и стороны человеческих отношений, но он должен это делать талантливо, бережно, без попытки шокировать публику оголтелым эпатажем. А этого, к сожалению, много и очень обидно на фоне общего высокоталантливого уровня. На этом о телевидении все, но мне казалось нужным уделить ему столько внимания, Ти-Ви, хотим мы того или нет, стало очень важным индикатором, своего рода лакмусовой бумажкой того, что делается в стране. А это, не без основания полагаю, вам должно быть интересно.

В порядке краткого лирического отступления: единственное светлое пятно в Остине для меня (исключая Ефима) – встреча с вами, Гера и Фаня, и зубовно-скрежетное сожаление, что мерзостные условия нашей жизни там не позволили мне общаться с вами более тесно. Даже вы – самые близкие мне там люди – не знаете обо мне почти ничего, ибо с вами общался не я – не тот Юра Штерн, которого знает мое окружение. Кое-кто из друзей, знающих и понимающих меня (или думающих, что понимающих) считает, что женитьбу на Лене мне «нужно простить». Этот безумный поступок, хоть и вполне «встраивается» в мой, «местами экстравагантный стиль», но даже с учетом «всех непредсказуемых особенностей моей личности» должен быть признан «из ряда вон выходящим».

Вот как меня разделали, проецируя последние восемь лет моей жизни на всю предыдущую! Что ж! Надо признать, что малая толика резона тут есть! Критику-то я к себе не утратил и всегда не то чтобы был рад, но, во всяком случае, готов посмеяться над своей незадачливостью...

Делаю отступление – еще одно, и вот по какому поводу. Квартира, где я сейчас сижу и где так тихо и мирно, и единственный шум – стук моей машинки, – особая квартира. Здесь незримо все эти годы «витают мой дух». На стенах все так же висят когда-то повешенные мною фотографии, часть из которых выставлялась на моих персональных. На полках лежат мои книги, в особых ящиках – мои стихи и проза. Когда я, приехав, неожиданно посетовал, что не захватил с собой тренировочной пары для бега, из шкафа неожиданно была извлечена когда-то оставленная мной рубашка. С фотографий смотрят на меня лица моих покойных родителей, моих друзей, моего сына от первого брака (я с ним досадно разъехался в несколько дней, он приезжал из Израиля в Саратов). Хозяйка печет пироги с капустой и с мясом, со сливовым джемом (тоже домашнего приготовления), из кухни доносятся дразнящие запахи, и не висит надо мною Дамоклов меч, что я все время чего-то не успеваю, что не подкрути я вовремя бесконечное чертово колесо – и все обрушится. Так я жил в Остине, так я жить больше не хочу. Так можно и подохнуть, а я еще льщу себя уверенностью, что скоро пригожусь – весьма пригожусь Ефиму, но об этом чуть позже. Одним словом, вокруг меня надежные друзья, которые никогда не забывали меня и того, что было. Для кого впечатления нескольких дней и даже нескольких лет не в состоянии перечеркнуть основного, незыблемого – того нестигаемого стержня, на котором все мы держались с юности. Лена, слава Богу, ничего и никогда об этой струе моей жизни не знала,хватило у меня ума сберечь и не открывать хотя бы эту святыню.

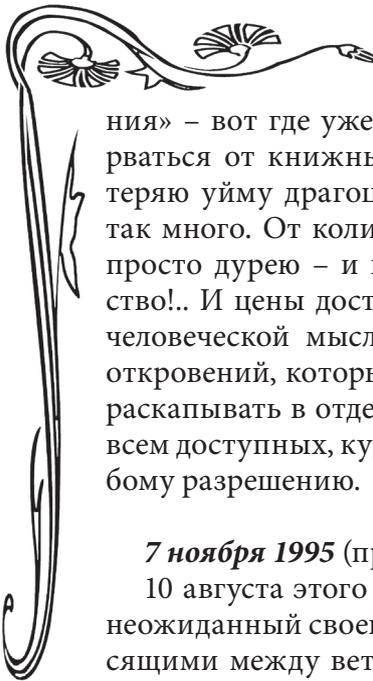


Да!.. Так вот в чем отступление мое. Мне пришлось на полчаса прервать стук машинки, хозяйка попросила сходить в магазин за топленным молоком, кефиром и за яблоками. Ну, от яблок пришлось временно отказаться: сегодня ударил морозец, и есть опасение, что яблоки могут быть морожеными. А хитрость в том, что фрукты и овощи повсюду продают на улицах – на импровизированных и муниципальных (очень модное слово, даже муниципальную милицию завели, в отличие от государственной) рынках. Рынки еще не успели переехать «под крышу». Вот и пришлось вместо яблок купить бананы. Бананы – около 1 доллара килограмм – цены в рублях вам ничего не скажут, я и сам еще не вполне их понимаю. Деньги очень смешные. Не могу привыкнуть – купюры по пять, пятьдесят и даже по сто тысяч рублей. Сравнительные цены: яблоки, которые действительно одурающе пахнут яблоками, особенно антоновка, симиренко, штрефель, 1 доллар за килограмм, груши – около 2 долларов. В магазинах прилавки завалены. В обычных магазинах все есть, но в небольшом ассортименте. Но теперь очень много специальных магазинов и супермаркет, где, без преувеличения, не хуже, чем в «Рэндалсе», а по качеству на порядок выше, так как товары европейские и российские. Датские сыры, французские сыры, немецкие колбасы, голландские паштеты, норвежские и английские печенья... Цены для бедной части населения кусаются, но ниже американских. Я не в состоянии перечислить сорта сотен (!!!) водок, наливов, вин – российских, крымских, болгарских, немецких, французских коньяков, виски в таких умопомрачительно красивых бутылках – марочных и ординарных! Ветчины и окорока. В магазинах запах свежего (красивого на вид и высококачественного – без гормонов и прочих хим. добавок) мяса. Но особый шок я испытал в Саратове на рынке в рыбных рядах, где продавалась только что выловленная в Волге стерлядь, осетрина, севрюга, копченая белуга, ба-

лыки копченые, соленые и вяленые, прозрачные, с теми самыми, запомнившимися с детства, просвечивающими кровяными жилками, с капающим светлым жиром – белорыбьи балыки. Свежая, в деревянных ведерках, белужья и севрюжья икра, паюсная – в деревянных же ведерках. Самый дорогой балык – 22 доллара за килограмм, самая дорогая – особым, сугубо волжским способом засоленная паюсная икра, по-особому спрессованная в дубовых прессах – 28 долларов. Вообще в Саратове с жратвой лучше (и раза в полтора дешевле), чем в Москве.

Что касается шмоток – наоборот, чуть беднее и дороже, чем в Москве. Человеку бедному заходить в ГУМ нельзя – становится дурно от изобилия, красоты и качества европейской одежды и обуви. Кожаные куртки – сотни полторы фасонов и разной выделки, английская и итальянская обувь – можно сдохнуть, особенно после Америки, где хорошую обувь еще нужно поискать, и стоит она под сотню, а совсем хорошая – под две сотни долларов. Другой вопрос, что я за этим никогда не гонялся, меня всегда устраивала просто приличная и не слишком дорогая одежда. А вот за хорошую книгу я был готов выложить любые деньги.

С книгами, журналами и самыми ранее невозможными изданиями в Москве и Саратове еще лучше, чем с едой и шмотками. На каждом шагу уличные развалы, на которых можно найти все что угодно – от бульварной порнографической и дешевой детективной литературы до изданий Владимира Соловьева и Карамзина. Ранее редкие, а то и вовсе никогда не печатавшиеся издания Мережковского, Бердяева, Успенского, Гурджиева. Книжки по черной и белой магии (на полном серьезе – научные исследования), по колдовству. Книжки с подробным описанием, что такое «порча» и «сглаз», книжки по гаданию и астрологии, серьезнейшие исследования «таинственных явлений человеческой психики», по психологии «овладе-



ния» – вот где уже мне становится дурно. Не могу оторваться от книжных прилавков, в книжных магазинах теряю уйму драгоценного времени, которого у меня не так много. От количества и разнообразия литературы я просто дурею – и ценных, хороших книг такое множество!.. И цены доступны! И все хочется купить! Сливки человеческой мысли, драгоценные алмазы гениальных откровений, которые раньше приходилось по капелькам раскапывать в отделах редких книг – в отделах еще и не всем доступных, куда я проникал лишь по благу и по особому разрешению.

7 ноября 1995 (продолжение)

10 августа этого года, в день тишины, день и вправду неожиданный своей предосенней дымной тишиной, с висющими между ветками, еще густо усеянными листвой, тонкими солнечными лучиками; в тихий августовский этот день, день рождения отца, день, который никогда не забывался в семье, я стоял на Воскресенском кладбище в Саратове. Красивый строгий памятник из черного лабрадорита. Дедушка, бабушка, отец... Мощный, никем не сдерживаемый ствол американского клена пророс заброшенную могилу, покорежил решетку ограды... Люди умерли, иные поразъехались, убирать могилу некому.

– Что это было? Сны? Куда, зачем мы бежим?

– Ничего, ничего не было, все мерещилось! Забудь, забудь! Пойдет снег, и наши следы заметет...

Этими словами заканчивается булгаковский «Бег». И символические, созвучные писавшемуся в те же годы «Мастеру»: «Кони роют землю!»

День тишины!.. День молчания. День вопросов, которые я так и не успел задать умирающему и уже потерявшему сознание отцу. Вопросов, на которые я все же получил ответы уже после его смерти. От него! Явственного и ощутимого.

О взаимопереплетенном, тесном органическом единстве рождения, жизни и смерти не сразу научишься думать со спокойным приятием факта неотвратимости. Тогда чутко внемлешь тихой поступи этого единства, инстинктивно воспринимаемого поначалу как беспорядочную хаотическую броуновскую игру молекул в опалесцирующей взвеси. Откуда я? Где я? Откуда бредет по миру моя душа? Куда идет?

Откуда Ефимка? Где? Не дать! Не упустить! Вернуть!

Передо мной, прямо под кареткой машинки, его глаза, личико, подпертый ручонками подбородок: «Папа! Где ты? Почему ты не идешь?»

10 ноября (продолжение)

Автобусная остановка. Среди поджидающих своего номера трое очень хорошо одетых мужчин – всем по виду около сорока. Дубленки, кожа, хорошие меховые шапки, дорогая обувь. У одного в руке початая бутылка «Кремлевской» (дорогие водки в фигурных бутылках расплодилось сотнями, в «нашем понятии» – не знаю, как и сказать, но литр очень хорошей водки, местной и импортной, стоит 6–10 долларов). Мужики веселятся, разливают в пластмассовые стаканчики, разбирают из бумажного кулька (типично по-русски) бутерброды с красной икрой, с вареной курицей. Не знамение времени, конечно, но штришок безусловный. Алкоголь – любой – продается круглые сутки в бесчисленных палатках. По-моему, даже в лучших магазинах Остина я не видел такого разнообразия «зеленого змия»: любые вина, коньяки, любое пиво, баночное и бутылочное, со всех концов света.

Пьющих на улицах можно видеть постоянно, но, как ни странно, пьяных, как раньше, немного. Изменилась картина отечественного алкоголизма. Почти исчезли с улиц опустившиеся жалкие пьяницы, в наркологических больницах есть пустующие койки, появилось огромное

число пунктов и частных «контор» по выведению из запоев, всевозможных новых хитроумных способов лечения алкоголизма. Пьянства больше никто не стесняется, очень сильна «струя» нормального отношения к этому явлению как к болезни, а не как к пороку или криминалу.

Вернувшийся из Израиля с похорон Ицхака Рабина Виктор Черномырдин (премьер) посетил выздоравливающего Ельцина в больнице (инфаркт или приступ сердечной недостаточности). Обоих показали по телевидению. Оба в разных выражениях, но едино по смыслу заявили, что в лице Рабина потеряли большого искреннего друга.

Так много любопытного и интересного вокруг, что не очень хочется писать о себе самом, хотя и моя жизнь наполнена сейчас пусть не вполне законченным (без Ефимки), но глубоко дышащим движением, тем содержанием, которого мне так не хватало в Остине. Поймите меня правильно, ребята! На фоне всего вся эта серая беспросветность, какую я жил там, может показаться «временем, выброшенным под хвост бездомной собаки». Нет, нет и нет! Я жил плохо, я жил неправильно, я жил, будучи подневольно поставленным в невыносимые моральные условия. И все же время это для меня не потерянное. Тяжкая школа. Недурственно было бы пройти ее лет этак на тридцать пораньше. Но это уж так Богу было угодно. Стало быть, так мне было на роду написано.

Моя огромная и естественная просьба к вам. Мой контакт с Ефимкой утрачен по не зависящим от меня обстоятельствам. Теперь предстоит, прежде чем я приеду, огромная работа по его восстановлению. Вы можете в этом мне помочь: любая информация даст мне очень много. Есть ли у Вас возможность выйти с ним на прямой контакт? Если да, то к следующему письму я подготовлю «пакет» для него, возможно, с магнитофонной записью и фотографиями. Не забыл ли он окончательно русский?

Отсутствие Ефимки – единственная, но огромная зияющая в моей жизни дыра, и никакими словами этой тоски не описать. Думаю о нем постоянно, придумал и спланировал, чтобы дать ему все, чего он сейчас лишен и что никто не даст ему, то, что может дать продолжающаяся в нем – через меня – штерновская ветвь и штерновская особенность внутрисемейных отношений, так явственно переживавшаяся нами обоими в последние месяцы (особенно), когда мы с ним оставались вдвоем. Из суеверия, однако, не раскрываю подробностей: как именно и где я собираюсь ему все это дать, но это есть, это существует и только ждет соответствующей моей финансовой кондиции.

Стараюсь не болеть, много забочусь о своем здоровье, мне теперь нельзя болеть, здоровье очень нужно для Ефима.

Если увидите его, выясните осторожно его настроение, а при благоприятных обстоятельствах передайте привет и поцелуй и найдите какие-нибудь слова. Он может думать, что я забыл его. Подготовьте его, что он получит мое письмо через вас. Вообще, кратенько опишите людей остинских, особенно Златкиных. Что подельывает Алик?

Целую вас обоих, желаю вам всего-всего. Не теряйтесь из виду, ответьте!

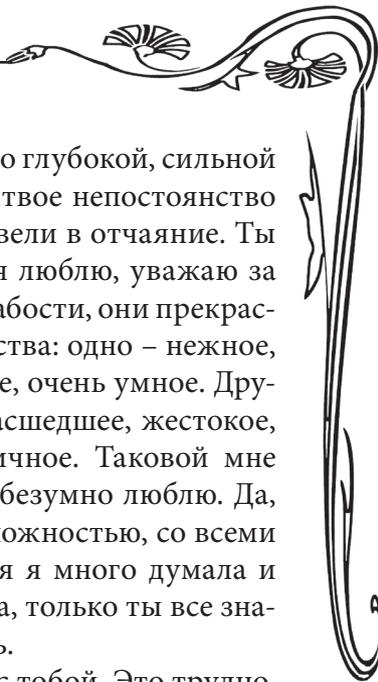
Ваш Юра

*Вместо послесловия**

Жан Батист!

В тебе сотни недостатков, но в глубине души ты добр. Ты добр, я это прекрасно знаю. Ты просто чудак. Ты дашь пиццу для душевного трепета, непрерывного, божественного восторга. Твоя душа, твой ум, твои достоинства – все это я люблю в тебе. Никто не говорит так, как ты, ни у кого нет такого голоса, такого смеха, склада ума, такой манеры писать, способности видеть вещи со своей точки зрения. Пусть не мешают мне любить. Я знаю, кто ты и чего ты стоишь! Твои недостатки, слабости – я их знаю. Твои пороки? О! Для кого-то они значат много. Но ведь все созданы порочными и не знают этого или боятся признаться себе. Порок! И этому придавать значение? Злобные дураки! Да, моя привязанность к тебе вызывает недовольство, и хотя это открыто не высказывается, я вижу осуждение на лицах. Ты всегда будешь мне дорог. Когда любят, не обвиняют ни в чем. Не сердись, что я это говорю тебе. Ты научил меня, что жить надо согласно законам природы, слушаться голоса своих страстей и, главное, любви. Быть может, это смешно, что я так говорю, но я люблю тебя. Сначала я думала, что излечусь, если буду видеться с тобой запросто. В твоем характере есть многое, что могло бы вылечить меня, я пыталась убедить себя в этом. Но мне слишком дорого обходятся те минуты, которые я провожу в твоём обществе.

* Письмо из архива автора.



Я люблю тебя, как ребенок.

Ты мечтатель. И я знаю, ты мечтал о глубокой, сильной и верной любви, и мне кажется, что твое непостоянство оттого, что тебя разочаровали и привели в отчаяние. Ты все время в поиске. О, Штерн, я тебя люблю, уважаю за это еще больше! Я влюблена в твои слабости, они прекраснее всех достоинств. В тебе два существа: одно – нежное, восторженное, наивное, добродушное, очень умное. Другое – вспыльчивое, заносчивое, сумасшедшее, жестокое, недоверчивое, себялюбивое, эгоистичное. Таковой мне представляется твоя натура, но я ее безумно люблю. Да, я люблю тебя вместе со всей твоей сложностью, со всеми твоими причудами. Последнее время я много думала и пришла к выводу: только ты – защита, только ты все знаешь и понимаешь, и можешь утешить.

Но нас трое. Я решила расстаться с тобой. Это трудно, но неизбежно. Ведь когда трое, третий понимает, что двое других – сообщники, а он в стороне. Теперь я знаю, что это такое. Мы должны поговорить с тобой откровенно и нежно проститься, подав друг другу руку, обещая уважение, в глубине сердца продолжая любить. Гете сказал: «Начало всегда приятно, именно на пороге надо останавливаться».

Нежно любящий тебя Солдат

Содержание

Весы	5
Солнце коснулось... ..	129
Письма. Переписка с Л. С.	191
Из дневников и записных книжек	241
Пресса	265
Письма из Америки и в Америку	267

Публикации

Ю. Штерн. Сквозь июни. М. Изд. содр. А. Богатых и Э. Ракитской, 2007.

Ю. Штерн. Избр. стихи. Ж. «У», № 5, 2007. Изд. содр. «ЭРА», № 5, 2007.

Ю. Штерн. Избр. стихи. М. Всерос. лит. альманах «Муза», № 11, 2007; № 9, 2008.

Ю. Штерн. Документы, статьи из российской и иностранной прессы, фотографии из архива автора. — В кн. А. Флорковской «Малая Грузинская, 28». М., 2009.